
ДЕНИС ПОЖИДАЕВ
СИНТАКСИС БЕЗДНЫ
18+

Денис Пожидаев

Синтаксис Бездны

«Автор»
2026

Пожидаев Д.

Синтаксис Бездны / Д. Пожидаев — «Автор», 2026

Во Вселенной обнаружили место, где даже человеческая душа может оказаться чужой собственностью.Научная экспедиция прибывает к загадочному сооружению, существующему дольше известных цивилизаций. Оно не угрожает пришельцам, не требует поклонения и не пытается установить контакт.Оно просто регистрирует их.Восемь человек. Девять учётных единиц.За стенами невероятного комплекса скрывается целый мир, где воспоминания передают в залог, чувства имеют владельцев, смерть не всегда освобождает от обязательств, а право считаться живым необходимо доказать документально.Здесь работают учреждения, назначение которых невозможно объяснить человеческим разумом. Здесь обитают существа, которых никто не собирался создавать. И здесь самая страшная ошибка может оказаться абсолютно законной.Чтобы вернуться домой, людям придётся разобраться в правилах чужой цивилизации. Но чем больше они узнают, тем труднее становится ответить на один вопрос:Кому принадлежит тот, кто способен сказать «я»?

© Пожидаев Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть I. Имущество 6
Глава 1. Дальний слабый сигнал 6
Глава 2. Восемь подписей 13
Глава 3. Вы не пассажиры 21
Глава 4. Страховой захват 29
Глава 5. Человек в коридоре 37
Глава 6. Цена продолжения 45
Глава 7. Маленький служащий 56
Глава 8. Кто был девятым 64
Глава 9. Долг за голову 72
Глава 10. Право на повреждение 80
Глава 11. Существование по накладной 87
Глава 12. Закрыть невозможно 96
Часть II. Вскрытие 105
Глава 13. Приём без согласия 105
Глава 14. Не отключайте тревогу 113
Глава 15. Первый крик 119
Глава 16. Я числюсь вашим 127
Глава 17. У кого страх 138
Глава 18. Здоровье по согласию 147
Глава 19. Холодная копия 155
Глава 20. Восемь вариантов помощи 165
Глава 21. Потерянная часть меня 174
Глава 22. Тест на смелость 183
Конец ознакомительного фрагмента. 185

Денис Пожидаев
Синтаксис Бездны

СИНТАКСИС БЕЗДНЫ

Роман в семи частях

Часть I. Имущество

Поступление, заявившее о себе как о лице, принимается как поступление с заявлением.
— Правила приёма Реестрата, ст. 1 (перевод позднейший)

Глава 1. Дальний слабый сигнал

Третью пломбу Глеб Норвин всегда ставил медленнее первых двух.

Первая была технической: лента с микронасечкой, которую нельзя снять, не порвав. Вторая — судовой: номер модуля, корабельное время, код дежурного. Третью не требовал ни один устав. Это была полоска обыкновенной бумаги, на которой Глеб от руки писал дату и расписывался — длинно, с петлёй на «Н», как в двенадцать лет на обложках тетрадей. От взлома бумага не защищала. Зато если когда-нибудь кто-нибудь спросит, кто и когда закрыл этот модуль, ответ останется в том месте, куда не дотянется ни одна сеть.

— Сейчас будет третья, — сказал за спиной Макар. — Спорим, лизнёт.

— Клей активируется давлением.

— Значит, лизнёт для надёжности.

Глеб прижал полоску большим пальцем и подержал положенные десять секунд. Модуль холодного архива был размером с дорожный чемодан и жил за решёткой в нише резервного поста, между огнетушителем и шкафом с аварийными масками. Он не принимал ничего по сети. Чтобы записать в него хоть байт, надо было прийти ногами, отпереть решётку латунным ключом, который Глеб четырнадцатый месяц носил на шнурке под рубашкой, вставить картридж и подтвердить запись вручную — дважды, с паузой, потому что люди, проектировавшие архив, не доверяли людям, которые будут им пользоваться. Глеб этих проектировщиков любил, как любят покойных родственников, которых никогда не видел, но чьи письма читал.

На ребре корпуса, у самой петли решётки, белели три коротких насечки отвёрткой и две буквы — «М. И.». Макар оставлял их на всём, что чинил. Три раза он перебирал этот считыватель — дважды на Земле, один раз здесь, на шестом месяце, когда от вибрации разболтался разъём. Глеб сначала хотел заставить его стереть насечки: не положено, корпус маркированный. Потом передумал. Насечки тоже были провенансом. Невозможно подделать задним числом то, что процарапано по металлу в прошлом году.

— Что закрыл-то? — спросил Макар, заглядывая ему через плечо. От него пахло припоем и тем мятным средством, которым он полоскал рот, когда не хотел, чтобы Васса учуяла, что он опять не спал.

— Сырую запись сеанса. Сигнал за последние шесть часов. Без обработки.

— Зачем тебе сырая? У С.О.Н.И. всё есть. Причёсанное.

— Затем, что у С.О.Н.И. причёсанное.

Макар хмыкнул, но спорить не стал. Он постучал костяшками по переборке над архивной нишей — дважды и, с задержкой, ещё раз, как стучат в дверь к соседу, который должен денег, — и ушёл в сторону машинного, бормоча что-то про четвёртый насос. Стук был старой его привычкой, ещё с учебного стенда: перед запуском чего угодно он стучал по ближайшему металлу. Объяснял это по-разному — то акустикой («по звуку слышно, где люфт»), то суеверием («потому что»). Глеб подозревал, что верны оба объяснения и что Макар сам не знает, в какой пропорции.

— С.О.Н.Я., — сказал Глеб в потолок, — отметь: картридж двенадцать в холодном архиве, запись закрыта, пломбы три.

— Отмечено, — ответила С.О.Н.Я. Голос у неё был ровный, чуть ниже среднего, без той фальшивой теплоты, которую в неё пытались заложить на стадии приёмки, пока Виктория не потребовала убрать «сиделку». — Третья пломба не регламентирована. Записываю как «пломба Норвина».

— Записывай как «бумажная».

— Записываю как «бумажная пломба Норвина», — сказала она, и Глеб так и не понял, шутит ли она. За четырнадцать месяцев он научился различать множество её интонаций, но эту — нет.

* * *

На Земле объект называли Бездной.

Слово придумал не учёный. Его придумал популяризатор, которому нужно было что-нибудь покороче, чем «аномальный инженерный комплекс в узловом скоплении номер такой-то по каталогу такому-то», и к концу первой пресс-конференции Бездна прилипла так, что её стали писать с большой буквы даже в заявках на финансирование. Глеб этого слова не любил. Неподтверждённый источник. Ни одна обсерватория не видела у объекта ни дна, ни отсутствия дна; видели другое — массы, которые перемещались между сооружениями с регулярностью городского транспорта, энергопотребление, которое не росло и не падало веками, грузы, ходившие туда и обратно между одними и теми же узлами, как будто кто-то бесконечно переставлял мебель в квартире, где никто не живёт. Видели структурированное излучение, которое не было посланием. «Это радиопомеха, — сказала на брифинге Ариадна, когда её впервые спросили, что она думает о сигнале. — Как от большого города, если слушать его из-за горизонта. Город не говорит с вами. Он просто работает».

Экспедицию назвали «Перекличкой». Тоже не учёные: кто-то в консорциуме решил, что звучит скромно и по-человечески — вот, мол, мы откликаемся, мы здесь. НИК-14 «Порог» вышел из разгонного коридора на пятом месяце, лёг на долгую кривую торможения и теперь, на четырнадцатом, висел на безопасном удалении от внешнего пояса объекта — в той точке, которую навигатор Лев Кац выбрал по сорока трём критериям и о каждом готов был рассказать подробно, если кто-нибудь не успеет уйти.

Глеб шёл в кают-компанию по главному коридору жилого блока — узкому, в полтора плеча, обшитому серым пористым пластиком, который за год вобрал в себя запахи восьми человек и перестал пахнуть чем-либо вообще. На двери Дины кто-то наклеил распечатку: «НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ. ЭТО НЕ МУСОР. ЭТО ПОКА». Распечатка висела третий месяц, и никто не спрашивал, что именно «пока».

В кают-компании спорили об энергии. Спорили всегда об энергии; Глеб иногда думал, что, если бы их снабдили бесконечным источником, они нашли бы другой повод, но с той же интонацией.

— Мне нужно шесть процентов, — говорила Васса Ромм. Она стояла у стола, опершись на него обеими ладонями, и говорила спокойно, тем голосом, которым объясняют больному, почему ему нельзя вставать. — Шесть. С девятнадцатого по двадцать второе. Биоконтур перестраивает азотный цикл, бактериальная культура на третьей грядке просела, если я сейчас не дам им тепла, через неделю у нас будет не салат, а суп.

— У меня четвёртый насос шумит, — сказал Макар. Он сидел верхом на стуле, спинкой вперёд, и ел что-то из пакета ложкой, стараясь не поднимать глаз. — Шумит на сорок герц выше, чем вчера. Я не знаю, почему он шумит. Пока я не знаю, почему он шумит, я не дам ни процента ни на какой суп.

— Это не суп. Это азотный цикл.

— Который станет супом. Ты сама сказала.

— Если я не дам ему шесть процентов.

— Мне нужен запас под насос.

Дина Серова сидела в углу, на ящике с маркировкой «ПЛЁНКА ТЕХНИЧЕСКАЯ — ВСКРЫТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ», и разбирала какие-то трубки, раскладывая их на коленях по длине. Руки у неё, как всегда, были в мелких порезах, заклеенных пластырем телесного цвета, который на её коже выглядел не телесным, а просто серым. Она не участвовала в споре, но, когда Макар сказал «суп», хмыкнула — коротко, как человек, который мог бы многое сказать о том, во что превращается биомасса, если о ней не заботиться, но сейчас не время.

Виктория Шталь стояла у раздатчика и наливала чай. Она наливала его всем — семь кружек на подносе, у каждой своя ручка и свои сколы, две потом унесут на вахту, — и Глеб знал, что восьмую, свою, она нальёт последней, отставит на край и забудет до того, как та остынет. Так было каждый раз. Однажды Изольда в шутку посчитала: за год капитан выпила примерно треть того чая, который себе налила.

— Макар, — сказала Виктория, не оборачиваясь. — Сколько тебе нужно под насос в худшем случае?

— Я не знаю худшего случая. В этом и проблема.

— Сколько нужно, если насос выйдет из строя совсем и ты переведёшь контур на пятый?

Макар помолчал. Ложка остановилась.

— Два с половиной.

— Васса. Сколько тебе нужно в худшем случае?

— Шесть — и это и есть худший.

— Если дать четыре на трое суток вместо шести на четверо?

Васса открыла рот, закрыла, посмотрела куда-то в стену, где у неё, по-видимому, висела невидимая таблица.

— Культура выживет. Урожай просядет на одиннадцать-двенадцать процентов.

— С.О.Н.Я., — сказала Виктория. — Резерв на сегодня?

— Девять и четыре десятых процента сверх обязательных цепей, — ответила С.О.Н.Я. — С учётом научной аппаратуры — семь и одна.

— Научную аппаратуру не трогаем, у нас зонд на подходе. Значит, семь и одна. Васса — четыре на трое суток. Макару — два с половиной под насос. Остаток — ноль шесть — в резерв, на случай, если я ошиблась. — Она взяла поднос и пошла с ним вокруг стола, ставя кружки перед людьми, не спрашивая, кому какая. — Возражения есть?

Возражений не было. Были лица. У Вассы — то выражение, с каким она смотрела на ростки, которые обещали выжить, но не обещали расти. У Макара — выражение человека, получившего ровно то, что просил, и потому лишённого возможности дальше злиться. Глеб поймал себя на том, что за этим и любит такие минуты: решение, у которого видна арифметика. Под каждым словом Виктории можно было подложить цифру, и цифра бы выдержала.

Он взял свою кружку — с отбитым краем, у которого он пил так, чтобы не порезаться, — и сел рядом с Диной.

— Что это?

— Капиллярные трубки от старого фильтра, — сказала Дина. — Четырнадцать штук. Шесть ещё живые.

— Зачем?

— Пока не знаю. — Она подумала. — Пока.

— Это та самая надпись на двери?

— Это та самая надпись на двери.

В кают-компанию вошла Изольда Морт — мягко, как она входила везде, не стуча и не обращая на себя внимания, — и села так, чтобы видеть всех сразу. Глеб давно заметил эту её привычку: она никогда не садилась спиной к двери и никогда — так, чтобы кто-то оказался за пределами её взгляда. Психобезопасность, профессиональное. Изольда улыбнулась Вассе, кивнула Макару, взяла чай и сказала:

— Я пропустила войну?

— Капитуляцию, — сказал Макар. — Обе стороны капитулировали перед арифметикой.

— Хорошо, — сказала Изольда. — Арифметика — безопасный противник.

Глеб пил чай и слушал, как в вентиляции над столом посвистывает разболтанная заслонка. Посвистывала она второй месяц, на частоте, от которой у Льва начинала болеть голова, и Лев дважды писал заявку на ремонт, а Макар дважды отвечал, что от свиста ещё никто не умер. Лев оба раза отвечал, что это вопрос статистики.

— Кстати, о резервных копиях, — сказал Глеб, хотя никто не говорил о резервных копиях; он просто вспомнил картридж двенадцать и бумажную пломбу. — Я тут перечитывал свою анкету.

— Какую анкету? — спросила Васса.

— Предполётную. Распоряжение на случай смерти. Тело, данные, медицинские снимки. Там есть пункт про реконструкцию. На случай контакта с технологиями неизвестного уровня.

— А, — сказала Изольда. — Пункт двадцать один. Я его писала.

— Ты его писала очень оптимистично.

— Я его писала юридически.

— Я там поставил галочку: «не восстанавливать». — Глеб отпил чаю. — Так что, если я умру, будьте добры, не восстанавливайте меня из резервной копии. Я видел, как вы их храните.

— Из тебя резервную копию? — сказал Макар. — Ты сам себе резервная копия. У тебя всё в трёх экземплярах.

— Вот именно. Будет четвёртый экземпляр — и поди потом докажи, который настоящий.

Засмеялись все, кроме Виктории, которая не смеялась никогда, а только поднимала угол рта, — и кроме Дины, которая подняла голову от трубок и посмотрела на Глеба внимательно, как смотрят на вещь, которую собирались выбросить, а теперь передумали.

— Ты серьёзно? — спросила она.

— Совершенно, — сказал Глеб. — Копия — это не я. Копия — это свидетельство, что я был. Свидетельство с правом голоса — это уже какая-то юридическая непристойность.

— Пункт двадцать один, — сказала Изольда, — именно об этом.

— Пункт двадцать один, — сказал Глеб, — о том, кому отвечать перед комиссией.

Изольда улыбнулась и не стала спорить. Она редко спорила; она переформулировала. Глеб почти слышал, как в её голове его фраза перекладывается в папку «юмор как защита, не опасно».

* * *

В командном отсеке было темнее, чем в остальном корабле: Лев настоял, чтобы на вахте не включали верхний свет, — «зрачок расширен — вероятность пропустить слабую засветку на экране ниже на семь процентов». Ариадна Лем сидела в левом кресле, подобрав ноги, в огромных старых наушниках, которые она привезла из дома и которые на «Пороге» считались личным имуществом, не подлежащим обобществлению. Перед ней на экране бежали полосы: С.О.Н.Я. переводила сигнал в звук и в изображение одновременно, и Ариадна слушала и смотрела, переводя взгляд с одного на другое, как человек, сличающий два перевода одной книги.

Глеб сел в правое кресло. Лев, дежуривший у навигационного пульта, кивнул ему, не отрываясь от своих цифр.

— Зонд, — сказал Лев, — на расстоянии сорока одной тысячи от внешнего пояса. Идёт штатно. Отклонение от расчётной — ноль, ноль, ноль три. Через двадцать минут — в зоне, где, по моим оценкам, его с вероятностью от семидесяти до девяноста процентов заметят. Если там вообще есть кому замечать. Если нет — значит, мы прилетели посмотреть на очень большую механическую игрушку, и я спокойно умру от старости, а не от того, от чего обычно умирают в таких историях.

— А от чего умирают в таких историях? — спросил Глеб.

— По моим подсчётам, — сказал Лев, — в основном от любопытства. Второе место — от того, что кто-то сказал «это просто сбой». Третье — от плохо закреплённых грузов, но это не про жанр, это про жизнь.

Ариадна сняла один наушник.

— Слушай, — сказала она Глебу и протянула ему наушник через подлокотник.

Он приложил его к уху. Звук был похож на дождь по жестяной крыше, если бы дождь шёл тактами. Под стуком — гул, как из-под земли, ровный, неизменный. Поверх — короткие щелчки, сгруппированные по три, по пять, по семь.

— Слышишь щелчки? — спросила Ариадна. — Группы. Они повторяются, но не одинаково. Есть начальная группа, она как будто открывает, и есть закрывающая. А между ними — разное. Иногда то, что между, повторяется в другом месте, но уже с другой открывающей. Это не музыка. Музыка повторяется для удовольствия. И не язык — я не вижу, чтобы оно с кем-то говорило. Это похоже на… — она подумала. — На документооборот. На то, как шумит канцелярия, если поставить микрофон в коридоре. Открыли дело, внесли, передали, закрыли. Открыли дело, внесли…

— Синтаксис, — сказал Глеб.

— Синтаксис, — согласилась Ариадна. — Только я не знаю, что он связывает. Как если бы ты видел предложения, в которых все слова одинаковые, кроме служебных. Подлежащее, сказуемое — а самих слов нет.

— Самые честные предложения, — сказал Глеб.

Она посмотрела на него с короткой, почти неприличной радостью — так, как смотрела всегда, когда кто-то понимал её мысль раньше, чем она её договаривала. Глеб знал её одиннадцать лет: начинали в одной лаборатории, на проверке происхождения данных, — она отвечала за то, что сказано, он — за то, кем и когда. Тогда они поругались в первый же месяц из-за того, можно ли считать фразу понятой, если неизвестно, кто её произнёс. Ариадна считала, что можно. Глеб — что нельзя. С тех пор они так и не договорились и именно поэтому работали хорошо.

— Внимание, — сказал Лев. — Зонд в зоне. Вероятность… ладно, не важно. В зоне.

— Опознавательный пакет готов? — спросил Глеб у потолка.

— Готов, — ответила С.О.Н.Я. — Ожидает подписи ответственного за связь и разрешения капитана.

Опознавательный пакет был формальностью из тех, ради которых «Перекличку», собственно, и назвали «Перекличкой». Так требовал протокол первого контакта: когда зонд войдёт в предполагаемую зону наблюдения, он должен начать излучать стандартный пакет — простой, на языке, который, по замыслу его авторов, мог понять кто угодно, умеющий считать. Имя судна. Происхождение. Число людей на борту. Цель: наблюдение, без вмешательства. Пакет повторялся бы снова и снова, как человек, который зашёл в чужой дом и громко говорит «здравствуйте, я ничего не трогаю». Составлял его Глеб. Подписывал — тоже Глеб, своим ключом, как ответственный за связь. Пакет должен был иметь автора.

Виктория пришла через три минуты, прочла пакет с экрана — весь, от первого поля до последнего, хотя знала его наизусть, — и сказала:

— Разрешаю.

Глеб подписал. Зонд в сорока тысячах километров от них начал повторять: мы здесь, нас восемь, мы ничего не трогаем.

Ничего не произошло.

Так и должно было быть. Об этом говорили на подготовке десятки раз: скорее всего, ничего не произойдёт, промышленный комплекс не обязан отвечать на «здравствуйте», и «ничего» — тоже научный результат. Ариадна снова надела оба наушника. Лев отмечал что-то в своём журнале. Виктория стояла за креслом Глеба, держась рукой за поручень, и смотрела

на экран, где в схематичном изображении внешнего пояса зонд светился маленькой зелёной точкой — безопасной, бесполезной, вежливой.

Через одиннадцать минут Ариадна сказала:

— Подождите.

Щелчки в её наушниках изменились. Глеб услышал это даже без наушника — по тому, как она выпрямилась. Открывающие группы стали длиннее. В одном месте канцелярия словно замолчала и начала заново, от начала.

— Входящее, — сказала С.О.Н.Я. — По каналу зонда. Структурированное. Объём — четыре килобайта. Нет, три и девять десятых.

— Читай, — сказала Виктория.

— Читать нечего, — сказала С.О.Н.Я. — То есть читать есть что, но я не знаю, как. Формат не наш. Кроме… — Она запнулась. Глеб не помнил, чтобы она когда-нибудь запиналась. — Кроме середины.

На экране появился блок данных — вывернутый, чужой, с разметкой, которую никто из них раньше не видел: длинные поля, вложенные одно в другое, как матрёшки или как конверты в конвертах. А в середине — знакомый. Их собственный опознавательный пакет. Каждое поле на своём месте. Имя судна. Происхождение. Цель. Подпись Норвина Г. — его ключ, его контрольная сумма. Чужая система взяла их «здравствуйте», положила в свой конверт и отправила обратно. Как письмо, вернувшееся с почты с наклейкой «адресат не найден» — только наклеек было много, и все на непонятном языке.

— Они вернули наш пакет, — сказала Ариадна. Голос у неё стал тише. — Как… квитанцию.

— Приняли к рассмотрению, — сказал Лев, и никто не засмеялся, потому что это прозвучало не как шутка.

— Сличи, — сказал Глеб. — Наш исходный и этот. Побайтно.

— Сличаю, — сказала С.О.Н.Я. И через секунду: — Одно расхождение.

— Где?

— Поле численности экипажа.

Глеб посмотрел на экран. В исходном пакете, в поле, где их авторы, честные инженеры консорциума, написали цифру, понятную любому, кто умеет считать, стояло «8». В вернувшемся — там же, внутри чужого конверта, тем же форматом, тем же шрифтом, если можно назвать шрифтом комбинацию битов, — стояло «9».

Никто не сказал ни слова секунды три. В вентиляции свистела заслонка.

— Ошибка, — сказала наконец Виктория. Это не был вопрос.

— Вероятнее всего, — сказала С.О.Н.Я., — ошибка чужой сортировки. Внешняя система могла объединить наш пакет с данными собственного сканирования и пересчитать поле по своим критериям. Критерии неизвестны.

— Вероятнее всего — это сколько? — спросил Глеб.

— Шестьдесят один процент.

— А остальные тридцать девять?

С.О.Н.Я. молчала дольше обычного. На полсекунды, может быть, — но Глеб служил с ней четырнадцать месяцев и знал её паузы так же, как знал свист заслонки.

— Остальные, — сказала она, — я пока не умею назвать.

Лев медленно повернулся в кресле и обвёл взглядом отсек — по очереди каждого, кто в нём был, как будто пересчитывал. Ариадна, Глеб, Виктория, он сам. Четверо. Ещё четверо — в кают-компании, в машинном, в биоконтуре. Восемь. Он пересчитал ещё раз, губами, беззвучно. Глеб увидел, как у него дёрнулось горло.

— Сканирование, — сказал Лев. — Они нас просканировали. С сорока тысяч. Через зонд или напрямую — неважно. Они посчитали, сколько нас. И у них получилось девять.

— У них получилось девять по их критериям, — сказала Ариадна. — Мы не знаем, что они считали. Может быть, они считают живые организмы и посчитали культуру в биоконтуре. Может быть, у них единица — не человек, а что-то другое.

— Может быть, — сказал Лев. — А может, у нас на борту девять.

— Лев, — сказала Виктория.

— Я просто называю вероятности.

— Ты называешь страхи. Вероятности назовёт С.О.Н.Я., когда соберёт данные. — Виктория отпустила поручень. — Записать. Не обсуждать за пределами вахты до проверки. Глеб — сырую копию в холодный архив. Ариадна — всё, что можешь сказать о конверте. Лев — продолжать наблюдение, зонд не отзывать. Через час — общий сбор в кают-компании. Решаем, подходим ли ближе.

— Ближе? — сказал Лев. — После этого?

— Именно после этого, — сказала Виктория. — До этого подходить было незачем.

Она вышла. Её шаги затихли в коридоре — ровные, одинаковые, как отсчёт.

* * *

Глеб снова отпер решётку архива. Ключ на шнурке был тёплым от тела, и, вставляя его в замок, он подумал — без всякой причины, просто так думается в узких местах, — что этот ключ переживёт его. Латунь не стареет так, как люди. Если «Порог» когда-нибудь найдут пустым, ключ будет висеть на шнурке на чьей-нибудь шее или лежать на полу, и по нему можно будет установить, кто и когда открывал архив в последний раз. Хорошая вещь. Честная.

Он вставил картридж тринадцать, записал вернувшийся пакет — целиком, с чужим конвертом, с цифрой «9», — дважды подтвердил запись, с паузой, как велели покойные проектировщики. Закрыл модуль. Поставил первую пломбу, вторую.

Потом достал из нагрудного кармана полоску бумаги и ручку. Подумал. Написал дату, время по корабельному. Ниже — то, чего не было ни в одном регламенте:

8 → 9. Не ошибка, пока не доказано.

И расписался — длинно, с петлёй на «Н».

Над головой, в переборке, что-то тихо щёлкнуло — так щёлкают остывающие трубы. Глеб машинально, не думая, поднял руку и постучал по металлу, как Макар: дважды и, с задержкой, ещё раз.

— Зачем? — спросила С.О.Н.Я.

— Не знаю, — честно сказал Глеб. — Привычка. Не моя.

— Записываю, — сказала С.О.Н.Я. И, помолчав, добавила то, чего он от неё никогда не слышал: — Как неучтённую процедуру.

Глава 2. Восемь подписей

Согласительный модуль принесли из резервного поста и поставили посреди стола в каюткомпании, между чайником и коробкой с салфетками. Это был серый ящик размером с хлебницу, с восемью прорезями в крышке и одним индикатором сбоку, и выглядел он ровно настолько торжественно, насколько может выглядеть вещь, собранная по государственному заказу людьми, которые никогда не увидят, где её применят.

Виктория разложила вокруг него жетоны.

Восемь латунных пластинок, каждая с фамилией, выбитой на заводе, и с личным ключом, вшитым внутрь. Устав «Переклички» требовал: подход к объекту ближе установленного предела — только при индивидуальном согласии каждого члена экипажа, выраженном физически, в присутствии остальных. Не голосованием. Не подписью на экране. Жетоном в прорезь. Виктория помнила спор на этапе подготовки — какой-то юрист консорциума настаивал на электронной процедуре, «современнее и надёжнее», и проиграл человеку из комиссии по этике, сухому старику, который сказал: «Электронную процедуру можно провести за человека. Жетон он должен вынуть из своего кармана сам». Виктория тогда не знала, на чьей она стороне. Теперь знала.

Над столом гудел вентилятор. Он гудел всегда, на одной ноте, но сейчас, в тишине, его было слышно так, словно он один здесь собирался высказаться.

— Начнём, — сказала Виктория. — Что мы знаем?

Она не садилась. Она никогда не садилась на сборах: стоя легче видеть всех, а все легче видят, что она не собирается прятаться за столом. Свою кружку она налила последней, как всегда, и поставила на край раздатчика. Она почти физически чувствовала, что забудет её там.

— Мы знаем, — сказала Ариадна, — что объект нас заметил. Это первое. Что он ответил не сигналом, а действием: взял наш пакет, вложил в свою структуру и вернул. Это второе. Третье: структура, в которую он нас вложил, повторяется в фоновом излучении. Я нашла уже сорок два случая того же типа конверта, только без нашего пакета внутри. Это рутинная операция. Для них — рутинная.

— Квитанция, — сказал Глеб. — Тот, кто выдаёт квитанции, ведёт учёт. Тот, кто ведёт учёт, где-то хранит реестр. Мы теперь в реестре.

— Не знаем, — сказала Виктория.

— Не знаем, — согласился Глеб. — Но если бы я составлял список гипотез, эту я бы поставил первой.

— Записано как гипотеза. Дальше.

— Дальше девятка, — сказал Лев.

Он сидел на своём обычном месте, ближе к двери, и перед ним лежали три листа, исписанные мелким, почти чертёжным почерком. Лев любил бумагу так же, как Глеб, но по другой причине: Глеб доверял бумаге, потому что её трудно подделать, а Лев — потому что на ней можно было записать всё сразу и увидеть, сколько этого «всего». Виктория знала его листы. Однажды, на учебном стенде, такой лист — сорок пунктов «почему этот манёвр может нас убить» — спас им полный цикл: тридцать девятым пунктом стояла ошибка в калибровке датчика, которую не заметил никто, включая С.О.Н.Ю.

— Девятку мы не обсуждаем до проверки, — сказала Виктория.

— Я не обсуждаю, — сказал Лев. — Я просто кладу её на стол. Как факт. Оно посчитало девять.

— Лев.

— Это противопоказание. Пункт первый на первом листе. Я не могу его не прочитать.

Виктория посмотрела на него. Лев смотрел в ответ — бледно, упрямо, со своим вечным выражением человека, которого сейчас будут уговаривать не бояться, и он заранее знает, что уговоры не помогут. Ему было тридцать четыре. Он был лучшим навигатором из всех, с кем она летала, и самым утомительным человеком из всех, с кем она летала, и Виктория давно поняла, что это одно и то же качество.

— Читай, — сказала она. — Все три листа. Только факты. Без «а если».

— Без «а если» у меня не получится, — сказал Лев. — Это лист противопоказаний. Он целиком состоит из «а если».

Изольда тихо засмеялась. Это был хороший смех — тот, которым она умела снимать напряжение, как снимают с плиты закипающий чайник. Лев покраснел, но улыбнулся.

И начал читать.

* * *

Он читал двадцать минут. Виктория слушала и считала — не пункты, а людей. Это была её привычка с «Ладоги»: во время долгого доклада переводить взгляд с лица на лицо, по кругу, и отмечать, кто где. Не кто что думает — этого она не умела и не пыталась. Кто где физически. Кто ближе к двери. Кто сидит пристёгнутым, а кто нет — на «Пороге» сейчас была нормальная тяга, но привычка оставалась. Кто держит руки на столе, а кто под столом.

Васса — руки на столе, ладонями вниз, неподвижно, как на смотровой кушетке. Макар — на спинке чужого стула, раскачивает его взад-вперёд. Дина — под столом; Виктория знала, что она там что-то крутит, какую-нибудь гайку, без этого Дина не умела слушать. Ариадна — одна рука у подбородка, другая чертит пальцем по столу невидимые фигуры: конверт в конверте в конверте. Глеб — обе руки вокруг кружки с отбитым краем. Изольда — свободно, на коленях, так, чтобы ничего не выдать. Лев — на листах, придавливает их, будто они могут улететь.

Восемь.

Пункты были разные. Половина — разумные: незнакомая гравитационная обстановка во внешнем поясе; плотный транспортный трафик, который они видели с расстояния и не понимали; отсутствие у них какого-либо права, полномочия и опыта вести себя внутри чужой инфраструктуры. Четверть — разумные, но маловероятные: биологическое заражение, информационное заражение, «заражение, о котором мы не знаем, потому что не знаем». Остальное было Львом в чистом виде: пункт семнадцатый — «возможность, что объект воспринимает подход как агрессию по признаку, который нам не виден (например, наш цвет)».

— Цвет? — сказал Макар.

— У нас белый корпус, — сказал Лев. — Мы не знаем, что для них означает белый.

— Для них ничего не означает белый, — сказал Макар. — У них, может, и глаз-то нет.

— Тогда это не опасно, — согласился Лев, — и я вычеркну пункт. Когда это будет доказано.

Он поставил на полях маленькую галочку и стал читать дальше.

На втором листе, в середине, был пункт, на котором Виктория задержалась.

— Пункт тридцать два, — читал Лев. — Анализ траекторий объектов внешнего пояса за последние девятнадцать часов. Я наложил их на наш предполагаемый коридор подхода. Большинство — далеко. Но есть один периодический поток. Что-то небольшое — масса порядка наших грузовых контейнеров — ходит по эллипсу вокруг внешнего узла, период около девяти часов. Его траектория пересекает наш коридор на сороковой минуте подхода. Если мы стартуем в расчётное время — пересечения нет, мы проходим за четыре минуты до потока. Но если стартуем позже двадцати минут — пересекаемся. Не обязательно столкновение. Может, они просто разминутся с нами. Но я не знаю, как они реагируют на объекты в своём коридоре.

Он перевернул лист.

— Пункт тридцать три…

— Стой, — сказала Виктория.

Лев остановился.

— Повтори тридцать второй, — сказала она. — С цифрами.

Он повторил. С цифрами.

— С.О.Н.Я., — сказала Виктория. — Подтверждаешь?

Пауза. Короткая, рабочая.

— Подтверждаю, — сказала С.О.Н.Я. — Поток есть. Я классифицировала его как фоновый трафик и не наложила на наш коридор подхода, потому что считала его посторонним. Ошибка классификации моя. Пересечение при задержке старта более двадцати минут — вероятность восемьдесят шесть процентов.

В кают-компании стало тихо. Вентилятор гудел. Кто-то — кажется, Макар — начал было смеяться, по инерции, потому что Лев читал свои листы уже двадцать минут и все смеялись над пунктом про цвет; смех начался и оборвался, как обрывается шаг, когда нога не находит ступеньку.

— Ну, — сказал Макар в тишину. — Ну, бывает.

— Бывает, — сказала Виктория. — Лев. Спасибо.

Лев кивнул. Он не выглядел довольным. Он выглядел так, как выглядел всегда, когда оказывался прав: немного испуганным собственной правотой, как будто то, что он угадал одну опасность, означало, что угадывать придётся и все остальные.

— Пункт тридцать три, — сказал он и стал читать дальше.

Виктория перестала считать людей и начала считать время. Если стартовать в расчётное — до него сорок одна минута. Если позже двадцати — поток. Значит, на всё остальное — двадцать одна минута. Хорошо. Она любила, когда у неё было мало времени. С малым временем она умела обращаться. С большим было хуже: в большом времени появлялось место для сомнения, а сомнение у неё всегда превращалось в один и тот же звук — слабый, ритмичный, из-за переборки.

Она запретила себе этот звук и стала слушать пункт тридцать три.

* * *

— Возражения, — сказала Виктория, когда Лев закончил. — По очереди. Коротко. Не «за» и «против», а: что тебе нужно, чтобы согласиться.

Она посмотрела налево. Так было всегда: по часовой стрелке, начиная с того, кто слева от неё. Сегодня слева сидела Изольда.

— Карантин, — сказала Изольда. Голос у неё был ровный, мягкий, и в нём не было ничего, кроме этой ровности. — Полный раздельный доступ. Ни одна корабельная система не принимает внешних данных напрямую — только через буфер, только с ручным подтверждением. Медицинский модуль закрыт для любого входящего, кроме нашего собственного. Никто из нас не выходит за борт и не подключается к их интерфейсам, пока я не дам заключение. И я хочу право остановить подход в любой момент, если увижу признаки психологического воздействия. Если нет — я против.

— Признаки психологического воздействия — это что? — спросил Макар.

— Это то, что я увижу, — сказала Изольда. — А ты, Макар, нет. Потому что, если оно будет, ты его будешь испытывать.

— Принимается, — сказала Виктория. — Карантин и буфер — да. Право остановить — да. Кроме права остановить манёвр в его середине: в середине манёвра остановка опаснее продолжения. Это решаю я.

Изольда подумала. Потом кивнула.

— Хорошо. До начала и после окончания — я. В середине — ты.

— Макар.

— Я против близкого манёвра, — сказал Макар сразу, как будто ждал. — Не против подхода — против манёвра. Четвёртый насос шумит. Если на подходе нам придётся резко

уходить — а придётся, если поток у Льва поведёт себя не так, — мне нужна полная мощность на маневровых. С таким насосом я её не гарантирую. Дайте мне шесть часов, я его переберу.

— Шесть часов — это поток, — сказал Лев. — Девятичасовой период. Через шесть часов окно закроется, следующее — ещё через девять.

— Значит, через пятнадцать.

— Что мы теряем за пятнадцать часов? — спросила Виктория. Не у Макара — у всех.

— Внимание, — сказала Ариадна. — Они нас заметили. Сейчас мы для них новое поступление, а через пятнадцать часов будем… не знаю. Старое? Обработанное? Если у них есть очередь, а у них, мне кажется, есть очередь, — мы в ней сдвинемся.

— Это не потеря, — сказал Макар. — Это догадка.

— Догадка, — согласилась Ариадна. — Но насос — тоже догадка. Ты сам не знаешь, почему он шумит.

Макар хотел что-то ответить, потом посмотрел на Викторию.

— Сколько тебе нужно, чтобы гарантировать уход на полной мощности? — спросила она.

— Шесть часов.

— А чтобы гарантировать уход на восьмидесяти процентах?

— Час. Если я переведу часть нагрузки на пятый и пережму магистраль.

— Восемьдесят процентов нам хватит, Лев?

Лев зашуршал листами.

— Для ухода от потока — хватит с запасом. Для ухода от чего-то, о чём я не знаю… — Он развёл руками. — Не знаю.

— Макар. Час на пятый контур. Потом подход. Если на подходе что-то пойдёт не так — уходим на восьмидесяти. — Виктория посмотрела на него. — Согласен?

Макар покачал стул. Посмотрел в потолок, где гудел вентилятор, как будто спрашивал у него совета.

— Согласен, — сказал он. — Но насос я переберу всё равно. Потом.

— Потом, — сказала Виктория. — Дальше. Дина.

Дина подняла голову. Виктория увидела у неё в руке маленькую латунную гайку — ту самую, которую она, видимо, крутила последние полчаса.

— Что мы оставим, если придётся уходить быстро? — спросила Дина. — Зонд — понятно. А ещё? У нас за бортом на внешней ферме две ловушки для пыли. В шлюзе — пробоотборник, который мы не успели закрепить после прошлого раза. Если уходить резко, ловушки оторвёт, а пробоотборник сорвёт с креплений, и он полетит по шлюзу, как ядро. Я хочу двадцать минут, чтобы убрать всё, что может стать снарядом.

— Двадцать минут, — сказала Виктория. — Пока Макар делает пятый контур. Дальше.

— Мне ничего не нужно, — сказала Васса. — То есть нужно, но не для согласия. Я хочу, чтобы медицинский модуль был готов к приёму. Не потому что я жду пострадавших. Потому что, если они будут, у меня не будет времени его готовить.

— Разумно. Дальше.

— Мне нужно, чтобы мы подошли, — сказала Ариадна. — Это всё. Мы для этого здесь.

Виктория задержала на ней взгляд. Ариадна не отвела глаз. Ей было тридцать шесть, она была лучшим специалистом по семантике технических протоколов, которого «Перекличке» удалось заманить в четырнадцатимесячный полёт, и она смотрела сейчас на капитана так, как смотрят на дверь, за которой лежит ответ. Виктория знала этот взгляд. Он был опасен ровно настолько, насколько был честен.

— Глеб.

— Я хочу оставить холодную копию, — сказал Глеб. — Всего, что произойдёт с момента старта подхода. Не только сигнал — всё: телеметрию, переговоры, медицинские показатели, журнал решений. Писать параллельно в холодный архив, с отдельного тракта, не через ядро.

Если что-нибудь пойдёт не так и кто-нибудь потом захочет узнать, как было на самом деле, — у него должна быть возможность узнать.

— Кто-нибудь — это кто? — спросила Изольда.

— Не знаю. Комиссия. Земля. Мы сами, если выживем и начнём вспоминать по-разному.

— Почему мы должны вспоминать по-разному?

— Потому что люди всегда вспоминают по-разному, — сказал Глеб. — Это нормально. Ненормально — когда у них нет способа проверить.

— Отдельный тракт, — сказала Виктория. — Это значит — физический кабель от командного отсека до резервного поста, мимо ядра.

— Он есть, — сказал Глеб. — Я его проложил на девятом месяце. На всякий случай.

— Почему я об этом не знаю?

— Ты знаешь. Я подавал рапорт. Ты его подписала. — Глеб чуть улыбнулся. — Ты подписала, не читая. Это нормально, рапорт был скучный. Но подпись твоя.

Виктория помолчала. Это было правдой. Она смутно вспомнила тот рапорт — четыре страницы схем, — и как подписала его на ходу, между разбором утреннего журнала и обедом. Она не любила, когда ей напоминали о вещах, которые она подписала не читая. Она не любила этого именно потому, что таких вещей было немного, и каждая казалась ей потом дырой в полу.

— Принято, — сказала она. — Отдельный тракт, параллельная запись. Последний — Лев. Что тебе нужно, чтобы согласиться?

Лев посмотрел на свои три листа. Потом — на неё.

— Мне нужно, чтобы мы не подходили, — сказал он. — Но это не условие, это пожелание. Условие — такое: если я скажу «уходим», мы уходим. Без обсуждения. Не в середине манёвра — это твоё, я понял. До и после. Если я увижу что-то в навигации, чего не понимаю, — я говорю «уходим», и мы уходим.

— Ты можешь сказать «уходим» каждые пять минут.

— Могу, — сказал Лев. — Поэтому я буду говорить это только тогда, когда буду очень бояться. Ты же знаешь: если я очень боюсь — значит, есть чего.

Это тоже было правдой. Виктория кивнула.

— Принято.

* * *

Жетоны вставляли по кругу, в том же порядке.

Изольда взяла свою пластинку, подержала её над прорезью, вставила. Индикатор на боку модуля мигнул один раз — зелёным. Изольда убрала руку. Потом, через секунду, снова протянула её, нажала на крохотный рычажок у прорези — и жетон выскочил обратно, в её пальцы.

Все посмотрели на неё.

— Я хочу, чтобы было записано, — сказала Изольда, — что карантин — условие моего согласия, а не пожелание. Если карантин будет нарушен — моё согласие отзывается автоматически. Без отдельного заявления.

— Записано, — сказала С.О.Н.Я.

— Капитан?

— Принято, — сказала Виктория.

Изольда снова вставила жетон. Индикатор мигнул. Она откинулась на спинку стула и сложила руки на коленях, и Виктория запомнила этот жест — не потому, что он был важен, а потому, что запоминала всё, что люди делали со своими согласиями. Человек, который умеет забрать согласие назад, — это человек, который понимает, что такое согласие. Это было хорошо. Это было то, ради чего старик из комиссии по этике выиграл спор у юриста.

Макар вставил жетон, не глядя, как вставляют ключ зажигания. Дина — внимательно, повернув пластинку так, чтобы фамилия смотрела вверх. Васса — быстро, двумя пальцами,

как пробирку в штатив. Ариадна — сразу, едва дошла очередь, будто боялась, что её опередят. Глеб достал свой жетон из нагрудного кармана, посмотрел на него и сказал:

— С.О.Н.Я., зафиксируй время вставки отдельно. По секундам. Каждого.

— Фиксирую с начала процедуры.

— Хорошо. — Он вставил.

Лев вставил последним из семерых. Он держал жетон дольше всех — так долго, что Виктория успела подумать: сейчас скажет «нет». Он имел право. Устав не требовал единогласия, чтобы его отменить, — он требовал единогласия, чтобы его применить: одно «нет», и они остаются на месте, наблюдают, пишут отчёт, летят домой через одиннадцать месяцев с цифрой «9» в архиве, и никто никогда не узнает, что она значит. На секунду Виктория почти захотела, чтобы он сказал «нет». Тогда решение принял бы не она.

Лев вставил жетон. Индикатор мигнул.

— Семь из восьми, — сказала С.О.Н.Я.

Виктория взяла свой.

Пластинка была тёплой — она весь сбор держала её в кулаке, сама того не замечая. На ней было выбито: «ШТАЛЬ В. А. — КАПИТАН». Буквы стёрлись по краям за четырнадцать месяцев: она часто крутила жетон в пальцах, когда думала. На «Ладоге» у неё тоже был жетон. Его не было с ней, когда она приняла решение закрыть четвёртый отсек, — он остался в каюте, на полке, рядом с фотографией, которую она потом выбросила. Тогда никто не требовал согласия. Тогда было семь минут, давление падало, и из четвёртого шёл сигнал — слабый, ритмичный, сорок ударов в минуту, — и она закрыла отсек, и пятеро в соседнем выжили, а потом комиссия установила, что сорок ударов в минуту — это, возможно, был не автоматический маяк, а человек, стучащий по переборке, и что, возможно, существовал маршрут через технический люк, который за семь минут никто не успел проверить. Возможно. Комиссия её оправдала. Комиссия написала: «Решение принято при неполных данных и в пределах полномочий». Она до сих пор помнила эту формулировку дословно, как помнят номер телефона, по которому больше некому звонить.

— Прежде чем я вставлю, — сказала Виктория, — я хочу добавить условие.

Все посмотрели на неё. Это было необычно: капитан не ставила условий. Капитан принимала чужие.

— Формула прекращения, — сказала она. — Миссия в части подхода прекращается по требованию любого из восьми. До и после манёвра — немедленно. В середине манёвра — после его безопасного завершения. Не большинством. Любого. Если кто-то из вас скажет «хватит» — хватит. Даже если я не согласна. Даже если я буду уверена, что вы ошибаетесь.

— Устав этого не требует, — сказала Изольда. Мягко, как замечание, а не как возражение.

— Я знаю. Поэтому прошу записать как приказ капитана, а не как условие устава. Чтобы его нельзя было потом отменить ссылкой на устав.

— Кто его может отменить? — спросил Глеб.

— Я, — сказала Виктория. — Поэтому и записываю. Чтобы мне было стыдно.

Это была не шутка, но Макар хмыкнул, и Виктория позволила себе тот самый угол рта.

— Записано, — сказала С.О.Н.Я. — Приказ капитана: формула прекращения по требованию любого из восьми членов экипажа.

Виктория вставила жетон.

Индикатор мигнул.

— Восемь из восьми, — сказала С.О.Н.Я. — Согласие на подход получено.

Виктория посмотрела на модуль — серую хлебницу с восемью латунными язычками, торчащими из прорезей, — и вдруг увидела то, на что не обращала внимания четырнадцать месяцев. Прорезей было восемь. Ровно по числу людей. Конечно. Так и должно было быть:

модуль собирали под экипаж, по списку, как собирают ботинки по размеру. У корабля был голос, у корабля было ядро, у корабля была С.О.Н.Я., которая только что подтвердила ошибку классификации и посчитала их согласия, — но у неё не было жетона. Устав не предусматривал согласия корабля.

Виктория отогнала эту мысль. Мысль была лишней. Она вытащила её из головы, как вытаскивают занозу, и положила рядом с другой — со звуком из-за переборки, — туда, где лежали вещи, которые ей сейчас были не нужны.

— Ещё одно, — сказала она. — Девятка. Повторяю: не обсуждаем. Ни между собой, ни в журналах, кроме журнала Глеба. Я не хочу, чтобы мы начали подход, гадая, кто из нас лишний. Это не трусость, это гигиена. Когда будут данные — обсудим. До тех пор — нас восемь. Мы посчитали.

— Мы посчитали, — тихо повторил Лев. Как молитву или как проверку.

— Сорок одна минута до окна, — сказала Виктория. — Макар — пятый контур. Дина — снаряды из шлюза. Васса — модуль. Ариадна, Глеб — в командный, на канал. Лев — со мной. Изольда — карантин, буфер, всё, что ты назвала. Расходимся.

Они расходились, и Виктория стояла у стола, пока кают-компания не опустела. Потом подошла к раздатчику. Её кружка стояла на краю — холодная, с плёнкой на поверхности. Она посмотрела на неё и вылила чай в утилизатор. Не потому, что не хотела пить. Потому что знала: если начнёт пить сейчас, то выпьет, и тогда ей придётся признаться себе, что у неё есть время пить чай, и что это время ей хочется растянуть.

* * *

Старт подхода прошёл чисто. Макар успел с пятым контуром за пятьдесят одну минуту вместо часа и доложил об этом таким тоном, будто сэкономленные девять минут были оскорблением насосу. Дина сняла ловушки с внешней фермы и принайтовила пробоотборник к стене шлюза двойным ремнём. Васса доложила, что модуль готов, и добавила, ни к кому не обращаясь, что надеется, что он не понадобится, — на что С.О.Н.Я., тоже ни к кому не обращаясь, ответила, что надежда не является параметром готовности. Изольда заблокировала все внешние входы корабельных систем, оставив один — буферный, с ручным подтверждением, — и поставила на него свой личный ключ.

Лев вёл корабль. Виктория стояла за его креслом, держась за поручень, и смотрела, как на экране зелёная точка «Порога» ползёт по коридору подхода, а сбоку, по эллипсу, движется другая — бледная, серая, тот самый периодический поток. Они разминулись за четыре минуты до пересечения, как Лев и обещал. Серая точка прошла позади них и ушла дальше по своей орбите, не изменив ни скорости, ни курса. Лев выдохнул так, что Виктория услышала.

— Видишь, — сказала она. — Разошлись.

— Вижу, — сказал Лев. — Это ничего не доказывает.

— Это доказывает, что пункт тридцать два — правильный.

— Это доказывает, что пункт тридцать два — правильный, — согласился Лев. — Про остальные девяносто один это ничего не доказывает.

Виктория не стала спорить. Она проверила ремни на его кресле — машинально, ладонью, как проверяют, выключен ли утюг. Ремни были застёгнуты. Она проверила свои.

На тридцать восьмой минуте подхода Лев сказал:

— Капитан.

Голос у него был не тот. Виктория наклонилась к экрану.

— Что?

— Поток, — сказал Лев. — Тот, серый. Он изменил орбиту.

На экране серая точка, ушедшая было назад, разворачивалась. Медленно, по широкой дуге — так поворачивает не камень и не обломок, а то, у чего есть двигатель и намерение. Дуга заканчивалась у них за кормой.

— Он идёт за нами, — сказал Лев. — Совпадает по скорости. Дистанция — шесть тысяч. Пять девятьсот. Держит.

— С.О.Н.Я.

— Подтверждаю, — сказала С.О.Н.Я. — Объект меняет траекторию и выходит на сопровождение. Масса — порядка наших грузовых контейнеров. Активного излучения в нашу сторону нет. Классифицирую… Классификацию отменяю. Не знаю, что это.

— Лев, — сказала Виктория. — Пробный отворот. Пять градусов. Малая тяга. Посмотрим, что сделает.

Лев сделал. «Порог» качнулся — едва ощутимо, Виктория почувствовала это пятками и ремнями, — и пошёл по чуть иной кривой.

Серая точка качнулась тоже. На те же пять градусов. С той же малой тягой. Как отражение. Как человек, идущий за тобой по улице, который не догоняет и не отстаёт, а просто держит дистанцию, потому что ему велено держать.

— Повтори, — сказала Виктория. — Влево. Десять.

Лев повторил. Точка повторила тоже.

— Мы ещё можем уйти, — сказал Лев. — Мы до предела. Мы можем развернуться и уйти. Восемьдесят процентов мощности, Макар дал.

— Он пойдёт за нами?

— Не знаю, — сказал Лев. — Но если пойдёт — мы приведём его домой. — Он сглотнул. — Капитан. Я говорю «уходим». Я очень боюсь.

Это было его право. Это было её собственное условие: до и после манёвра — немедленно, по требованию любого. Тормозной импульс стоял в графике на пятьдесят второй минуте; манёвр начинался с него. До импульса оставалось четырнадцать минут. По её же формуле это было «до». Лев это знал. Она тоже.

Виктория смотрела на экран, где за кормой «Порога» висела серая точка, одинаковая, вежливая, неотступная, как секретарь, который принёс бумаги и ждёт, когда их подпишут. И думала не о точке. Она думала о том, что им только что вернули их собственное «здравствуйте» с одной исправленной цифрой. И о том, что, когда тебе возвращают твоё письмо с поправкой, это значит одно: тебя уже прочитали. Тебя уже внесли. Ты уже в очереди. И, если ты сейчас развернёшься и уйдёшь, ты не перестанешь быть в очереди — ты просто станешь тем, кто из неё ушёл.

— Середина манёвра, — сказала Виктория. — Продолжаем подход. Решение моё.

Лев не ответил. Он только кивнул — коротко, резко, будто его ударили по затылку, — и положил руки на пульт.

— Записано, — сказала С.О.Н.Я. — Тридцать восьмая минута. Требование прекращения отклонено капитаном.

За кормой «Порога» серая точка приблизилась на сто метров и замерла снова. Будто сопровождающий, убедившись, что гость не собирается сбежать, позволил себе подойти чуть ближе.

Виктория проверила ремни на кресле Льва. Потом на своём. Потом — ещё раз на кресле Льва.

Глава 3. Вы не пассажиры

Принтер в приборном отсеке включился сам.

Ариадна услышала его из коридора — не звук, а отсутствие звука там, где его не должно было быть: принтер стоял выключенным с шестого месяца, с тех пор как Глеб распечатал на нём последний квартальный отчёт и сказал, что больше бумаги на борту тратить не позволит, разве что на пломбы. Теперь в приборном отсеке что-то шуршало — ровно, механически, без пауз, как шуршит в соседней комнате человек, который не хочет, чтобы его услышали, и именно поэтому слышен.

Она открыла дверь. Принтер работал. Лоток уже был полон: лист за листом выползал из щели, ложился поверх предыдущего, и стопка медленно росла, как растёт тесто. Индикатор на корпусе горел ровным зелёным — тем самым цветом, которым принтер когда-то сообщал, что задание получено от авторизованного пользователя.

Ариадна взяла верхний лист. Бумага была тёплой. Не горячей — тёплой, как бывает тёплым письмо, которое долго носили в кармане.

— С.О.Н.Я., — сказала она. — Кто печатает?

— Не я, — ответила С.О.Н.Я. — Задание пришло не через ядро. Я его не вижу.

— Тогда откуда?

— Не знаю. Пытаюсь установить.

Ариадна посмотрела на лист. Это был текст. Не чужая разметка, не вывернутые конверты, как в вернувшемся пакете, — текст, набранный знаками, которые она знала лучше, чем алфавит собственного детства. Это был язык первого контакта. Тот самый, на котором Глеб составлял опознавательный пакет: формальная система из чисел, логических операторов и сорока базовых категорий, которую семиотики консорциума три года строили так, чтобы её мог понять кто угодно, умеющий считать. «Лицо». «Объект». «Намерение». «Наблюдение». «Вред». «Отсутствие вреда». Ариадна сама участвовала в последней редакции. Она помнила спор о категории номер двадцать шесть — «владение»: включать ли её вообще. Включили. «На случай торговли», — сказал кто-то. Все засмеялись.

На листе стояло:

ПОСТУПЛЕНИЕ. ОБЪЕКТ: 1. НОСИТЕЛИ: 9 (РАЗНОГЛАСНЫХ: 1). ВЛАДЕНИЕ: НЕ УСТАНОВЛЕНО. НАМЕРЕНИЕ ОБЪЕКТА: НЕ ПРИМЕНИМО. ДЕЙСТВИЕ: ДОСТАВКА К МЕСТУ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЛАДЕНИЯ.

Ариадна прочла это трижды. Каждое слово было её словом. Каждое было на своём месте. И ни одно не означало того, что должно было означать.

* * *

Через четыре минуты в приборном отсеке было пятеро, и принтер всё ещё печатал.

— Сервисная шина, — сказал Макар. Он стоял на коленях у задней панели принтера, сняв крышку, и светил внутрь фонарём. — Принтер висит на сервисной шине. Она старая, её ставили на верфи для ремонтников — диагностика корпуса, телеметрия шлюзов, принтер для актов. К ядру не подключена. Наружу выходит одним разъёмом — ремонтным, на корпусе, у второго шлюза. Им пользуются, когда корабль стоит в доке и к нему подцепляют портовую диагностику. — Он выпрямился. — Нас никто не подцеплял.

— С.О.Н.Я., — сказала Виктория. — Внешний ремонтный разъём.

— Камера второго шлюза… — С.О.Н.Я. помедлила. — Включаю.

На экране над принтером появилась картинка: борт «Порога» снаружи, белая обшивка в косом свете, ремонтный лючок с откинутой крышкой. В лючок что-то входило. Что-то тонкое, серое, похожее одновременно на щуп и на стебель, — оно тянулось из темноты, туда, где за

кормой висел их сопровождающий, и было воткнуто в разъём так аккуратно, как втыкают вилку в розетку, зная, где у неё заземление.

— Сопровождающий, — сказал Лев. — Он подошёл. Пока мы сидели на сборе. Он подошёл на триста метров и протянул… это.

— Почему никто не видел?

— Видели, — сказала С.О.Н.Я. — Я фиксировала сближение. Я не классифицировала его как угрозу: активного излучения нет, скорость нулевая относительно нас, механический контакт — через стандартный ремонтный разъём. Я не следила за сервисной шиной. Её нет в моём контуре.

— Карантин, — сказала Изольда.

Все повернулись к ней. Она стояла у двери — как всегда, так, чтобы видеть всех, — и голос у неё был спокойный, почти бесцветный.

— Я закрыла все внешние входы корабельных систем, — сказала Изольда. — Все, которые были в схеме. Сервисной шины в схеме не было. Её не было в схеме, потому что она не корабельная система. Она верфенная. — Она перевела взгляд на Викторию. — Карантин нарушен.

Никто не ответил. Принтер шуршал. Лист лёг на лист.

— Согласно моему условию, — сказала Изольда, — моё согласие на подход отзывается автоматически. Без отдельного заявления. Я хочу, чтобы было записано, что я это сказала.

— Записано, — сказала С.О.Н.Я.

Виктория стояла неподвижно секунду, две. Ариадна смотрела на неё и видела, как капитан делает внутри себя то, что делала всегда, — раскладывает. Что мы знаем. Сколько времени. Кто подтвердил.

— Принято, — сказала Виктория. — Формула прекращения. Подход прекращается после безопасного завершения манёвра. Лев — в командный, считай мне отход. Макар — отключи сервисную шину. Физически. Выдерни.

— Если выдерну, — сказал Макар, — мы потеряем телеметрию шлюзов. Не узнаем, если какой-нибудь шлюз откроется.

— Шлюзы откроются, если не выдернешь?

Макар посмотрел на экран, где серый стебель торчал из их борта.

— Не знаю, — сказал он. — Но это первое, что я бы сделал на их месте.

— Выдёргивай. — Виктория повернулась к Ариадне. — Сколько у тебя времени нужно, чтобы понять, что это?

— Не знаю, — сказала Ариадна. — Это наш язык.

— Что?

— Это язык первого контакта. Наш. Они пишут нам на нём.

Виктория смотрела на неё молча. Потом сказала:

— Тогда тебе должно быть быстро.

И вышла. Ариадна стояла с тёплым листом в руке и думала, что капитан ошибается — ошибается так, как ошибаются умные люди, привыкшие к тому, что знакомый язык означает понятный текст. Знакомый язык означал совсем другое. Он означал, что текст не просто непонятен. Он понятен неправильно.

* * *

Принтер остановился через одиннадцать минут, когда Макар выдернул шину. Последний лист застрял наполовину в щели и так и остался торчать, как язык.

Ариадна разложила стопку на полу приборного отсека, потому что столов в отсеке не было, а коридор был слишком узок. Листов было сто сорок семь. Глеб помогал ей сортировать: он работал молча, быстро, раскладывая листы по номерам в верхнем углу, — номера там были,

их собственные, той же системы, — и время от времени фотографировал разложенное своим личным регистратором, не через ядро.

Три пачки. Три стопки, неравные по высоте, начинающиеся с трёх разных шапок.

Первая — самая толстая, девяносто один лист — открывалась тем, что она прочла первым: ПОСТУПЛЕНИЕ. ОБЪЕКТ: 1. ДОСТАВКА К МЕСТУ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЛАДЕНИЯ. Дальше шли перечни, огромные, вложенные друг в друга, — те самые конверты, только теперь разложенные в линию, переведённые на язык, на котором она умела думать. Перечень полей, которые объект должен заполнить. Перечень документов, которые объект должен предъявить. Перечень обстоятельств, при наличии которых объект может быть признан чем-то иным, нежели объект.

Вторая — сорок четыре листа — начиналась иначе:

ОБНАРУЖЕНЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОНТУРЫ ВНУТРИ ОБЪЕКТА. КОЛИЧЕСТВО: 9. ТРЕБОВАНИЕ: СОХРАННОСТЬ КОНТУРОВ, НЕДОПУЩЕНИЕ НЕОБРАТИМОЙ ДЕФОРМАЦИИ ОБЪЕКТА, ОСМОТР.

Третья — двенадцать листов — была самой короткой и самой странной:

СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОБЪЕКТОМ ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ, ПОДЛЕЖАТ ИЗОЛЯЦИИ. НОСИТЕЛИ СВЕДЕНИЙ: ИЗОЛИРОВАТЬ ДО УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПУСТИМОСТИ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УДАЛЕНИЯ: ОЖИДАЕТСЯ.

— Три отправителя, — сказал Глеб. — Разные шапки, разная структура, разная нумерация внутри. Первая и вторая ссылаются друг на друга — смотри, тут, на шестом листе второй пачки, номер из первой. Третья ни на кого не ссылается. Она как будто вообще не знает, что остальные существуют.

— Или знает, — сказала Ариадна, — и не считает нужным.

— Три ведомства, — сказал Глеб. — Одно хочет нас доставить. Другое — сохранить. Третье — чтобы мы чего-то не знали.

— Мы ничего не знаем.

— Мы знаем, что нас девять, — сказал Глеб.

Она подняла на него глаза. Он смотрел в лист — третий, из короткой пачки, — с тем выражением, которое бывало у него, когда он находил в чужом документе подпись, не совпадающую с почерком.

— Что? — спросила Ариадна.

— «Сведения, полученные объектом при приближении», — прочёл Глеб. — Что мы получили при приближении? Их конверт. С девяткой. Они вернули нам наш пакет с исправленной цифрой, а теперь требуют изолировать носители этих сведений. Носители. Не сведения — носители. Мой картридж тринадцать — носитель. Моя пломба — носитель. — Он помолчал. — Мы — носители.

Ариадна ничего не сказала. Она взяла из первой пачки лист двадцать два — тот, на котором был перечень «обстоятельств, при наличии которых объект может быть признан иным», — и стала читать его вслух, медленно, как читают на суде.

ОБЪЕКТ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН ЛИЦОМ ПРИ НАЛИЧИИ: (1) РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДЁННОЙ ПРИЗНАННЫМ РЕЕСТРОМ; (2) ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПРИЗНАННОГО ЛИЦА; (3) ОТСУТСТВИЯ РАЗНОГЛАСНЫХ НОСИТЕЛЕЙ; (4) ОПЛАТЫ…

Дальше шли цифры, которые она не понимала, и единицы, для которых в языке первого контакта не было названия, поэтому их просто пронумеровали.

— Регистрация по месту возникновения, — сказала она. — Нас зарегистрировали на Земле. Но Земля для них не признанный реестр. Поручительство признанного лица — у нас нет знакомых. Отсутствие разногласных носителей — у нас один разногласный, им лучше знать, какой. Оплата — я даже не знаю, в чём.

— Значит, мы объект, — сказал Глеб.

— Значит, мы объект, — сказала Ариадна. — Это не ошибка перевода. Перевод правильный. Каждое слово — наше. «Объект» — это наша категория номер семь. «Лицо» — номер один. Мы сами им дали эти слова. Мы сами написали, как отличать одно от другого, — числом, намерением, способностью сообщить о себе. Мы думали, что достаточно сказать «я лицо», и тебя поймут. — Она положила лист. — А у них «лицо» — это не тот, кто говорит. Это тот, кого зарегистрировали.

* * *

Экран над принтером ожил ещё раз — уже после того, как Макар выдернул шину.

Сначала Ариадна решила, что это та же камера, со шлюза. Потом увидела, что картинка не та. Это был стол.

Стол был длинный, тёмный, из материала, похожего на дерево, но не дерева — слишком ровные волокна, слишком одинаковые, как у ткани. На столе лежали бумаги — настоящие, стопками, пачками, перетянутые шнурами. Среди бумаг стоял прозрачный футляр, размером с небольшой аквариум, опечатанный по швам полосками чего-то тёмного, вроде сургуча, и в футляре находилась голова.

Ариадна не сразу поняла, что это голова. Там было слишком много глаз — пять или шесть, влажных, тёмных, неравномерно расположенных вокруг того места, где у человека был бы лоб, — и рты, несколько, маленьких, сжатых, как у обиженного ребёнка. Кожа серая, сухая, с тонкими морщинами. Голова была живой. Глаза двигались. Один из ртов приоткрылся.

А вокруг футляра работали руки. Много рук — тонких, длинных, разных: одни с пальцами, другие с чем-то вроде пинцетов, третьи — гладкие, как прутья. Руки росли откуда-то из-за кадра, из-за края стола, где, по-видимому, находилось тело, которому голова принадлежала, — или которому она принадлежала когда-то, до того как её поместили в опечатанный футляр. Руки перекладывали бумаги, развязывали шнуры, ставили печати, что-то быстро писали — и делали это все одновременно, не мешая друг другу, как оркестр.

За столом, в глубине кадра, стояла очередь.

Это была очередь — Ариадна узнала её мгновенно, по позе, по терпению, по тому, как стоящие в ней не смотрели друг на друга. Существа были разные. Одно похожее на очень высокую стопку пластин. Одно круглое, мягкое, переливающееся. Одно — почти человек, только слишком длинное в шее. Они ждали.

— С.О.Н.Я., — тихо сказала Ариадна. — Откуда изображение? Шина выдернута.

— Не через шину, — ответила С.О.Н.Я. — Через внешнюю антенну. Узкий луч. Аналоговый сигнал. Изображение и звук. Я не принимала его в ядро — только выводила на экран. Карантин я не нарушала.

— Звук?

— Звук есть. Передаю.

Звук был шорохом. Не голосом — шорохом сухих листьев, перекатыванием, шелестом, в котором иногда возникало что-то вроде щелчков, сгруппированных по три, по пять. Канцелярия, подумала Ариадна. Это голос канцелярии.

И поверх шороха, внизу экрана, побежала строка. Знаки языка первого контакта.

ПРИЁМ ПОСТУПЛЕНИЙ. ПРОСТИТЕ ЗА ОЖИДАНИЕ.

— Он говорит с нами, — сказал Глеб.

— Он извиняется, — сказала Ариадна. Она слышала свой голос откуда-то сбоку. — «Простите». Категория номер тридцать восемь. Мы включили её как «формулу смягчения». Тридцать восемь — это «я сожалею о причиняемом неудобстве».

Голова в футляре посмотрела прямо в камеру. Пять глаз из шести — шестой продолжал следить за чем-то на столе, где одна из рук ставила печать.

ОБЪЕКТУ: ПОДТВЕРДИТЕ КАТЕГОРИЮ «ГРУЗ». ТАК ПРОЩЕ ДЛЯ ВСЕХ.

— Ответь, — сказал Глеб. — Ариадна. Ответь ему. Ты единственная, кто может.

— Как?

— На нашем. Как они.

Ариадна села на пол, среди ста сорока семи листов, и положила на колени планшет. Язык первого контакта набирался знаками — их было немного, около двух сотен, и она знала их все. Она набрала:

ОБЪЕКТ ЗАЯВЛЯЕТ: ЛИЦА. 8. НАМЕРЕНИЕ: НАБЛЮДЕНИЕ. ВРЕД: ОТСУТСТВУЕТ. КАТЕГОРИЯ «ГРУЗ»: ОТКАЗ.

Подумала. Добавила:

КАТЕГОРИЯ «ПАССАЖИР»: ЗАПРОС.

Отправила через внешнюю антенну, узким лучом, в ту сторону, откуда пришло изображение. С.О.Н.Я. молча пропустила.

Голова в футляре прочла — Ариадна видела, как двигаются глаза. Руки продолжали работать. Одна из них взяла чистый лист, поднесла к футляру, и что-то внутри футляра, какой-то механизм, отпечатал на листе строку. Строка побежала по экрану.

КАТЕГОРИЯ «ПАССАЖИР»: НЕ НАЙДЕНА.

Пауза. Шорох.

КАТЕГОРИЯ «ГОСТЬ»: НЕ НАЙДЕНА. БЛИЖАЙШАЯ ДОСТУПНАЯ: «ПОСТУПЛЕНИЕ С ЗАЯВЛЕНИЕМ».

— Поступление с заявлением, — повторил Глеб. — Это лучше, чем груз?

— Это груз, который разговаривает, — сказала Ариадна.

Она набрала:

ЗАЯВЛЕНИЕ: ЛИЦА. 8.

Голова в футляре посмотрела на неё — на камеру, на объектив, на неё через объектив, — и рты у неё сделали что-то сложное, несинхронное, что могло бы быть улыбкой у существа с одним ртом.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО. ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ: РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ — НЕТ. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО — НЕТ. ОТСУТСТВИЕ РАЗНОГЛАСНЫХ НОСИТЕЛЕЙ — НЕТ. ОПЛАТА — НЕТ.

ПРОСТИТЕ.

Ариадна смотрела на последнее слово. Тридцать восемь. Формула смягчения. Я сожалею о причиняемом неудобстве. Но в первой строке, когда он извинялся за ожидание, слово стояло в одной грамматической позиции — после действия. А здесь — отдельно, как самостоятельное высказывание, без глагола, к которому его можно было прицепить. Она сама писала правила сочетаемости для тридцать восьмой категории. Отдельно её употреблять не предполагалось.

— Он сказал «простите» по-другому, — сказала она.

— Как?

— Не знаю. Не как вежливость. — Она подумала. — Как будто ему действительно жаль.

* * *

Виктория вернулась через двадцать минут. Ариадна к тому времени разобрала первую пачку до шестидесятого листа и перестала понимать, зачем это делает: каждый следующий лист был ещё одним условием, которое они не могли выполнить. Перечень документов. Перечень носителей. Перечень разрешённых отклонений от перечня. В какой-то момент ей показалось, что она читает не правила, а их тень — длинную, вытянутую, отброшенную какими-то другими правилами, которых в стопке не было.

— Что? — сказала Виктория, войдя. Это не было вопросом «что случилось». Это было «что мы знаем».

Ариадна рассказала. Коротко, по пунктам — так, как Виктория любила, хотя самой Ариадне хотелось говорить иначе: длинно, с оговорками, с «если», потому что всё, что она знала, было «если». Три пачки. Три отправителя. Наш язык, их значения. Категория «пассажир» не найдена. Мы — поступление с заявлением. Для признания нужно четыре вещи, которых у нас нет.

Виктория слушала, не перебивая. Когда Ариадна закончила, она сказала:

— Мы уходим. Манёвр подхода завершён, Лев доложил. Формула прекращения действует. Через шесть минут начинаем отход. Мне нужно знать одно: что из этого они собираются сделать первым.

— Что?

— Три пачки. Доставить, сохранить, изолировать. Что первым? Если я начну отход, а они в этот момент начнут «доставлять» — мне надо знать.

Ариадна посмотрела на три стопки на полу.

И вдруг увидела.

Не в тексте — над текстом. В шапках. У всех трёх пачек в верхнем правом углу первого листа стояла маленькая группа знаков — она её видела, но принимала за номер, за служебную пометку, за то, что в человеческой канцелярии было бы входящим индексом. Три группы. Разные. Она знала эти знаки — это были числа, просто числа, и операторы порядка. В языке первого контакта они означали очерёдность.

У первой пачки — «доставка» — стояло: 1.

У второй — «сохранность» — стояло: 2 ПОСЛЕ 1.

У третьей — «изоляция» — стояло: 1 ОДНОВРЕМЕННО.

— Порядок, — сказала Ариадна. Голос у неё стал коротким. Без оговорок. — Перевод правильный. Неправильный — порядок.

— Объясни.

— Доставка первая. Сохранность — после доставки. Значит, нас сначала доставляют, а потом сохраняют. Если что-то сломается при доставке — сохранность придёт поздно. А изоляция — одновременно с первой. Не после. Одновременно. Они будут нас тянуть и в то же время что-то у нас отрезать. — Она подняла глаза. — И это не три приказа. Это три очереди. Каждая думает, что первая.

Виктория смотрела на неё секунду.

— Когда начинается первое?

— Не знаю. Здесь нет времени. Здесь только порядок.

— С.О.Н.Я., — сказала Виктория. — Лев. Отход. Сейчас. Не через шесть — сейчас.

— Начинаю расчёт, — сказал по связи Лев. — Две минуты.

— Одну.

— Одну.

Ариадна смотрела на экран над принтером. Голова в футляре всё ещё была там — Ариадна думала, что изображение пропало, но оно оставалось, просто С.О.Н.Я. убрала звук. Руки работали. Очередь стояла. Одна из рук — тонкая, с пальцами — вдруг остановилась, отложила печать и легла на стол, ладонью вниз, плоско. Голова в футляре посмотрела в камеру всеми шестью глазами.

Внизу экрана побежала строка.

ПРОСТИТЕ. НЕ ДВИГАЙТЕСЬ.

Ариадна прочла. Тридцать восемь. Отдельно, без глагола. И сразу за ним — императив, который они включили в язык на случай чрезвычайных обстоятельств: «стоп», «нет», «опасность».

Это было предупреждение, а вовсе не вежливость.

— Капитан, — сказала она. — Он говорит: не двигайтесь.

— Кто?

— Тот, в футляре. Он говорит…

ИСПОЛНЕНИЕ НАЧАТО.

Корабль дёрнулся.

Не сильно — так дёргается вагон, когда к составу цепляют локомотив. Ариадну качнуло, она схватилась за стену. Листы на полу съехали, разложенные стопки смешались — доставка с сохранностью, сохранность с изоляцией, — и она увидела, как лист двадцать два, «объект может быть признан лицом при наличии», скользнул под принтер и исчез.

— Захват, — сказал по связи Лев. Голос у него был высокий и очень ясный. — Капитан, нас держат. Сопровождающий — не один. Ещё два объекта, со стороны пояса. Они на корпусе. Я не начал отход. Я не успел начать.

— С.О.Н.Я.

— Механический контакт в трёх точках, — сказала С.О.Н.Я. — Корма, правый борт у второго шлюза, верхняя ферма. Тяга со стороны внешнего пояса — нарастает. Нас тянут.

— Куда?

— В сторону внешнего узла. В сторону того, что Ариадна назвала бы, — С.О.Н.Я. помедлила, — местом установления владения.

Виктория уже выходила. На пороге она обернулась, и Ариадна увидела её лицо — спокойное, собранное, как всегда, и только в самой глубине глаз что-то, чего она раньше там не видела. Что-то вроде звука, который капитан пыталась не слышать.

— Ариадна, — сказала Виктория. — Ответь ему. Скажи: мы не сопротивляемся.

— Мы сопротивляемся?

— Пока нет, — сказала Виктория. И ушла.

Ариадна опустилась на колени среди перемешанных листов. На экране голова в футляре всё ещё смотрела на неё. Руки снова работали — быстро, быстрее, чем раньше; одна ставила печать за печатью, другая писала, третья, четвёртая перекладывали бумаги из одной стопки в другую, — и Ариадна поняла, что они оформляют. Прямо сейчас. Пока «Порог» тянут сквозь пустоту к месту, где его будут взвешивать, руки за тёмным столом заполняют графы.

Она набрала:

ОБЪЕКТ НЕ СОПРОТИВЛЯЕТСЯ.

Подумала. Стёрла слово «объект». Набрала заново:

МЫ НЕ СОПРОТИВЛЯЕМСЯ.

В языке первого контакта местоимения «мы» не было. Они так и не договорились, включать ли его: кто-то из комиссии сказал, что «мы» — самое опасное слово в любом языке, потому что неизвестно, кого оно включает. Ариадна набрала его по частям — «лицо», «множество», «говорящее», — как собирают из деталей то, чего нет в комплекте.

Отправила.

Голова в футляре прочла. Глаза задержались на строке дольше, чем на всех предыдущих. Потом одна из рук — та, тонкая, с пальцами, — взяла со стола чистый лист, поднесла его к футляру, и механизм отпечатал ответ.

ЗАПИСАНО. МНОЖЕСТВО ГОВОРЯЩИХ: 9.

ПРОСТИТЕ.

Корабль дёрнулся ещё раз, сильнее. Где-то в глубине, в машинном, Ариадна услышала звук — низкий, металлический, долгий, как будто кто-то провёл по корпусу «Порога» огромной ладонью против шерсти. А потом голос Макара по общей связи, неразборчивый, грубый, и в нём одно слово, которое она разобрала:

— …держит!

Лист двадцать два так и остался под принтером.

Глава 4. Страховой захват

Корабль закричал на частоте, которую Макар знал.

Не сигнализация — сигнализация завыла через полторы секунды, когда датчики догнали то, что его уши поймали сразу. Это был корпус. Корпус «Порога» пел — низко, натужно, на одной ноте, которая медленно ползла вверх, как ползёт вверх звук, когда стальной трос начинает тянуть больше, чем ему положено. Макар слышал такой звук однажды, на верфи, когда у крана лопнула стропа. После звука был удар, после удара — тишина, после тишины — человек, которого так и не собрали целиком для похорон.

— С.О.Н.Я., — сказал он. — Нагрузка на шпангоуты. Где?

— Шестой, седьмой, восьмой, — сказала С.О.Н.Я. — Район второго шлюза. Растёт.

— Кто тянет?

— Три точки контакта. Две — тянут к внешнему узлу. Одна — держит в обратную сторону.

Макар стоял посреди машинного отсека, держась за поручень, и на секунду перестал понимать слова. Две тянут. Одна держит. Он видел такое на картинке в учебнике сопромата: брусок, к которому приложены две силы с разных концов, и стрелочки, и подпись — «кручение». На картинке брусок был серый и равнодушный. «Порог» был белый и пел.

— Покажи мне их, — сказал он.

Экран у пульта моргнул. Камера на верхней ферме, камера у кормы, камера у второго шлюза — три окна, три борта, три куска темноты, исчерканной косыми лучами их собственных прожекторов.

У кормы и у шлюза на корпус легли зажимы.

Он сначала принял их за металл. Потом камера у шлюза поймала свет под другим углом, и Макар увидел, что зажим — не металлический. Это было что-то серо-жёлтое, полупрозрачное по краям, плотное, похожее на хрящ — на тот белёсый, глянцевый хрящ, который бывает на суставе, если разрезать куриное колено. Хрящ облегал обшивку, повторял каждый её выступ, каждый шов — не сжимал, а прирастал, как прирастает к ране повязка. И хрящ был старый. По нему шли заплаты — пятна другого цвета, другой фактуры, одни матовые, другие зернистые, третьи похожие на тусклое стекло. Кто-то чинил этот зажим. Много раз. Много кто. Как чинят старую рабочую рукавицу, которую жалко выбросить.

— Они тёплые, — сказала С.О.Н.Я. — Плюс тридцать один по наружному датчику в точке контакта.

— Живые?

— Не знаю. Тепловой профиль соответствует работающему механизму с внутренней циркуляцией. Или организму. Не могу различить.

— Оно само, что ли, — сказал Макар вслух, и сам себя услышал, и разозлился. Он ненавидел эти слова. «Оно само» говорили люди, которые не хотели знать, почему. Ничто никогда не бывало само. У любого «само» был насос, клапан, человек, который забыл затянуть гайку.
— Третья точка. Которая держит.

Третье окно — верхняя ферма. Там зажима не было. Там на ферму легло что-то другое — широкое, плоское, похожее на ладонь, растопыренную и прижатую к корпусу. Ладонь не тянула. Она упиралась. Тянуло в одну сторону — она давила в другую, и Макар видел, как ферма между ними прогибается, совсем немного, на ширину пальца, и как от этого прогиба по обшивке бежит рябь отражённого света.

— Держит в обратную, — повторил он. — Зачем?

— Вторая пачка, — сказала С.О.Н.Я. — Ариадна переводила. «Недопущение необратимой деформации объекта». Возможно, это исполнитель второго отправителя. Он не даёт первому нас порвать.

— Не даёт порвать — тем, что держит с другой стороны?

— Так получается.

— Да он нас и порвёт, — сказал Макар. — Тем, что держит.

Он сказал это себе, а не ей, и сам испугался того, как просто это прозвучало. Две силы с разных концов. Одна хочет доставить. Другая хочет сохранить. Каждая делает правильное дело. И корабль между ними — как кость между двумя собаками, каждая из которых очень любит эту кость.

* * *

— Макар, — сказала по общей Виктория. — Доклад.

Он доложил. Коротко: две силы, кручение, шестой-восьмой шпангоуты, растёт. Виктория выслушала и спросила то, чего он ждал:

— Сколько у нас времени?

— Не знаю, — сказал он честно. — Шпангоуты держат с запасом. На такой момент — не держат. Но они ещё не начали гнуться по-настоящему. Если момент будет расти, как растёт, — минут десять, пятнадцать. Если резко — меньше. Если перестанет — вечно.

— Можем вырваться?

— На восьмидесяти процентах? — Макар посмотрел на пульт маневровых. — Против этого? Капитан, нас держат три штуки, каждая размером с наш грузовой отсек. Если я дам тягу — я добавлю третью силу. Корабль это не выдержит быстрее, чем они.

— Значит, не тянем, — сказала Виктория. — Что можешь сделать, чтобы шпангоуты выдержали дольше?

— Ничего. — Он помолчал. — Шпангоуты — ничего. Но через шестой и седьмой идёт главная силовая магистраль. Если шпангоут лопнет — магистраль порвёт. Порвёт под нагрузкой — будет дуга. Будет пожар. В районе второго шлюза — сервисная секция, там резервные накопители. Если там будет дуга, у нас будет не пожар, а праздник.

— Решение?

— Отсечь ветвь. Обесточить всё, что идёт через шестой-восьмой. Сервисную секцию, второй шлюз, резервные накопители. Если шпангоут лопнет — порвётся мёртвый кабель.

— Цена?

— Резерв, — сказал Макар. — Накопители отрежем — их уже не подключить обратно, пока не заменим кабель. А кабель — через шестой шпангоут, а шестой шпангоут — сам видишь. И секция. Обесточенная секция без вентиляции и без насосов. Если там будет утечка — мы о ней не узнаем, пока не станет поздно.

— Сколько тебе нужно?

— Три минуты. Ручные рубильники на распределителе. Дистанционно — не могу, шина управления идёт через ту же магистраль, её саму может закоротить.

— Делай.

* * *

Распределитель стоял в нише у переборки, отделявшей машинный от технического коридора, и был старше всего остального корабля — серый шкаф с рядами рубильников, каждый подписан от руки на полоске пластика. Подписи делал сам Макар, ещё на Земле, при приёмке: на заводской маркировке были только номера, а номера он не запоминал. Он запоминал места. «Второй шлюз». «Сервис-2». «Рез. нак. А». «Рез. нак. Б». «Душ (не трогать, Васса убьёт)».

Он открыл дверцу. Внутри пахло тёплым пластиком и пылью, которую не удавалось выгнать из шкафа никаким пылесосом.

— С.О.Н.Я., — сказал он. — Считай мне со мной. Рубильники одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. Тринадцатый не трогаю, это архивный тракт.

— Тринадцатый проходит через седьмой шпангоут, — сказала С.О.Н.Я.

— Я знаю, где он проходит.

— Если седьмой шпангоут лопнет, тринадцатый порвёт так же, как остальные.

— Если я его вырублю, холодный архив останется без питания.

— Холодный архив не требует питания для хранения. Только для записи.

— А Глеб сейчас пишет. Параллельно. Как просил. Всё, что с нами происходит. — Макар положил ладонь на тринадцатый, не нажимая. — Вырублю — он не допишет.

— Если седьмой лопнет — он тоже не допишет, — сказала С.О.Н.Я. — И у нас будет дуга на тринадцатом. Рядом с резервным постом. Рядом с архивом.

Макар стоял с ладонью на рубильнике. Корпус пел. Нота поднялась ещё на полтона.

— Сколько у меня? — спросил он.

— Напряжение в шестом шпангоуте — восемьдесят семь процентов от предела. Растёт на полтора процента в минуту.

— Восемь минут.

— Если рост линейный.

— Он не линейный, — сказал Макар. — Никогда не бывает линейный.

Он поднял руку и постучал костяшками по металлу дверцы распределителя. Дважды. Пауза. Ещё раз.

— Неучтённая процедура, — сказала С.О.Н.Я. — Вторая.

— Какая ещё вторая?

— Первую выполнил Норвин. Вчера, у холодного архива. Тем же ритмом. Сказал: привычка не его.

Макар замер. Вчера. Глеб. Тем же ритмом. Он представил себе это — Глеба, педанта, человека с тремя пломбами, который стучит по переборке, как он сам, — и что-то в груди у него сделало короткое, неприятное движение, будто он нашёл в кармане чужую вещь, которую туда не клал.

— Да чтоб тебя, — сказал он. Неясно кому.

И стал опускать рубильники.

Одиннадцатый. Двенадцатый. Четырнадцатый. Пятнадцатый. Каждый — с сопротивлением, со щелчком, как ломается сухая ветка. На пульте гасли огоньки: «Сервис-2», «Шлюз-2», «Рез. нак. А», «Рез. нак. Б». Тринадцатый он не тронул.

— Ветвь отсечена, — сказала С.О.Н.Я. — Сервисная секция обесточена. Резервные накопители отключены. Архивный тракт — под напряжением.

— Знаю.

— Я записываю, что вы не выполнили мою рекомендацию.

— Записывай, — сказал Макар. — Это и есть рекомендация. Моя.

* * *

Дина появилась в коридоре за переборкой через минуту — Макар увидел её в окно двери: пригнувшаяся фигура в оранжевом рабочем комбинезоне, бегущая так, как бегут по кораблю люди, привыкшие бегать по кораблю, — короткими шагами, держась одной рукой за поручень и не отпуская его ни на секунду.

Он открыл дверь.

— Санитарный контур, — сказала Дина, не здороваясь. — Он идёт вдоль седьмого шпангоута. Вода, Макар. Если седьмой порвёт трубу, мы потеряем две трети запаса за четыре минуты. Она выйдет в сервисную секцию, а сервисную ты только что обесточил — там не работает дренаж.

— Ну и что?

— А то, что она там замёрзнет. В обесточенной секции через двадцать минут будет минус. Вода замёрзнет в трубе, труба лопнет ещё в шести местах, и мы потеряем не две трети, а всё, плюс ещё получим лёд, который распрёт обшивку изнутри. — Она уже стояла у распределителя, водя пальцем по подписанным полоскам пластика. — Здесь нет клапанов. Клапаны — ручные, в техническом коридоре, за седьмым шпангоутом. Три штуки. Мне нужно туда.

— Там сейчас шпангоут ломается.

— Поэтому мне туда и нужно сейчас, а не потом.

Макар посмотрел на неё. Ей было тридцать один, она была самым молодым человеком на корабле, и он никогда не понимал, что у неё в голове, — какие-то трубки, какие-то «пока», какая-то надпись на двери. Сейчас у неё было лицо человека, который точно знает, какой клапан куда поворачивать, и никому этого знания не отдаст.

— Иди, — сказал он. — Быстро. Если услышишь, что нота пошла вверх резко, — бросай и беги назад. Не геройствуй.

— Я не геройствую, — сказала Дина. — Я экономлю воду.

Она ушла в технический коридор. Макар остался у распределителя, слушая корпус.

Нота держалась. Полтора процента в минуту. Он считал в голове, как считал всегда, когда боялся, — не страх, а задачи. Задача первая: шестой шпангоут, восемьдесят девять, девяносто. Задача вторая: тринадцатый рубильник, под напряжением, архив пишет. Задача третья: Дина за седьмым шпангоутом, три клапана, четыре минуты. Задача четвёртая: Глеб…

— Макар, — сказала по общей Виктория. — Глеб на связи?

— Не знаю. Он должен быть в командном.

— Его нет в командном.

— Тогда на резервном посту. У архива. Пишет параллельную копию, как просил.

— С.О.Н.Я., — сказала Виктория. — Где Глеб?

— Резервный пост, — сказала С.О.Н.Я. — С ним связи нет: внутренняя связь резервного поста шла через… Через сервисную шину. Которую выдернули.

— Канал командира?

— Через ядро. Он на канале командира. Подключаю.

Голос Глеба появился в динамике распределителя — неожиданно громко, с эхом, как бывает, когда человек говорит в маленьком помещении с металлическими стенами.

— Капитан, — сказал Глеб. — Третья точка на верхней ферме — не зажим. Посмотрите на внешний блок связи.

Макар посмотрел. Он нашёл окно камеры верхней фермы, увеличил, перевёл на внешний блок — белый ящик антенного узла у основания фермы, тот, через который «Порог» говорил с Землёй и с зондом.

Блок был чёрным.

Не горелым — чёрным, матовым, как будто его облили смолой или затянули бархатом. Чернота не блестела. Она поглощала свет прожектора, будто его там и не было. И она двигалась: от блока по ферме, по кабельному каналу, ползла вниз, к корпусу, медленно, ровно, как ползёт по стене плесень на ускоренной съёмке. Там, где она проходила, не оставалось ни кабеля, ни разъёмов — оставалась гладкая чёрная поверхность, которую С.О.Н.Я. тут же переставала видеть.

— Блок связи не отвечает, — сказала С.О.Н.Я. — Полностью. Это не повреждение. Это… изоляция. Я не получаю от блока ничего. Ни ошибки, ни отказа. Как будто его нет.

— Третья пачка, — сказал Глеб. — «Носители сведений: изолировать». Это исполнитель третьего отправителя. Он закупоривает всё, что получило их сведения. Блок связи их получил — их конверт пришёл через него. Теперь оно ползёт по кабелю дальше. По каналу связи, вниз, в корпус. Куда шёл сигнал от блока, капитан? Куда я записывал?

Макар знал ответ раньше, чем Виктория его произнесла.

— Резервный пост, — сказала она.

— Холодный архив, — сказал Глеб. — Картридж тринадцать. Там их конверт, с девяткой. Это носитель. Оно идёт за ним. Если оно дойдёт до архива — закупорит его, как блок. И всё, что я записал за четырнадцать месяцев, и всё, что я писал последний час, — станет чёрным. Мы не будем знать, что с нами было. Никто не будет знать.

— Глеб, — сказала Виктория. — Уходи с поста. Это приказ.

— Я перережу кабель, — сказал Глеб. — Физически. Между блоком и постом. Канал связи идёт по потолку резервного поста, я его вижу. Если я перережу — ему некуда будет ползти.

— Ты не знаешь, как оно ползёт. Может, ему не нужен кабель.

— Тогда я потеряю две минуты и уйду.

— Глеб.

— Капитан, — сказал Глеб. Очень спокойно, тем голосом, которым он говорил о пломбах. — Ты же сама сказала. По требованию любого. Я требую.

Макар не понял, что он имеет в виду. Виктория, кажется, поняла. Она молчала две секунды — Макар считал. Потом сказала:

— Две минуты. Потом уходишь, что бы ни было.

— Принято.

* * *

Нота поднялась.

Не на полтона — сразу на целый тон, рывком, будто кто-то на той стороне, в темноте, перехватил трос поудобнее. Макар почувствовал это не ушами — ступнями, через палубу: короткую дрожь, а за ней — долгую, вязкую вибрацию, от которой зазвенели незакреплённые инструменты в его ящике.

— Девяносто пять, — сказала С.О.Н.Я. — Девяносто семь. Шестой шпангоут…

Удар.

Он был глухой, утробный, далёкий — так бьют в стену в соседней квартире. За ударом — скрежет, долгий, металлический, по всей длине корпуса. Свет мигнул. Пульт распределителя на секунду погас и снова зажёгся, половиной огоньков. И сразу — свист. Тонкий, высокий, на пределе слуха, как свистит чайник у соседей, — только это был не чайник, а воздух, уходящий в щель.

— Шестой шпангоут — разрушение, — сказала С.О.Н.Я. — Магистраль на шестом порвана. Обесточена — дуги нет. Разгерметизация: сервисная секция. Давление в сервисной падает. Утечка в смежные объёмы: технический коридор, резервный пост.

— Дина! — закричал Макар в технический коридор.

— Два клапана! — донеслось оттуда. — Третий заело!

— Брось!

— Ещё секунду!

— С.О.Н.Я., — сказала Виктория. Голос у неё был ровный. Совершенно ровный. Макар когда-то думал, что эта ровность — от равнодушия, потом понял, что от обратного. — Аварийные переборки.

— Срабатывают автоматически, — сказала С.О.Н.Я. — Переборка между сервисной и техническим коридором — закрыта. Переборка между резервным постом и главным коридором — закрыта. Резервный пост изолирован. Давление в посту падает медленнее, чем в сервисной, — там свои уплотнители, но они не рассчитаны на перекос шестого шпангоута.

— Глеб в посту.

— Глеб в посту, — сказала С.О.Н.Я.

Макар уже бежал.

* * *

Переборка резервного поста была в двадцати шагах от машинного — по главному коридору, мимо распределителя, мимо двери в технический, за поворот. Он пробежал их, не думая, держась за поручень, и в повороте его ударило в лицо холодом — не холодом, а запахом холода: сухим, металлическим, с привкусом горелой изоляции. Где-то рядом лопнула ещё одна труба — он услышал её, как слышат хлопок пробки, — и из-под потолочной панели в коридор потёк белёсый пар. Хладагент. Охладительный контур. Значит, и его зацепило.

У переборки уже был Лев.

Макар не знал, откуда он взялся, — должен был сидеть в командном, у пульта, — но он был здесь, стоял, прижавшись лбом к маленькому окну в двери, и дышал часто, ртом. Пар хладагента стелился по полу коридора, поднимался к коленям. Лев кашлял.

— Отойди, — сказал Макар.

— Он там, — сказал Лев. — Макар, он там. Я видел. Он режет кабель.

Макар отодвинул его и посмотрел в окно.

Окно было маленькое, толстое, в два слоя, с сеткой внутри. За ним — резервный пост, тесная комнатка со шкафами, которую он знал до последнего винта. Свет там горел — аварийный, красноватый. Под потолком, вдоль кабельного канала, шла чёрная полоса. Она входила в пост из стены — оттуда, где за обшивкой был блок связи и ферма, — и тянулась по каналу к нише архива, ровно, неторопливо, глотая кабели. До ниши ей оставалось метра полтора.

Глеб стоял на ящике под потолком, на цыпочках, и резал. В руках у него был кабелерез — тяжёлый, двуручный, из аварийного шкафа. Он резал жгут кабелей в канале, в полуметре перед чёрной полосой, — перерезал один, второй, — и Макар видел, как с каждым движением у него изо рта вылетает облачко пара. В посту становилось холодно. На стенах, на дверцах шкафов, на сетке решётки архива проступал иней.

— Давление в посту — семьдесят процентов, — сказала С.О.Н.Я. в динамике у переборки. — Падает.

Макар нашёл рукой рычаг ручного открытия. Он был там, где ему положено быть, — справа, под красной скобой, в утопленной нише. Нужно отогнуть скобу, повернуть рычаг на девяносто градусов и потянуть. Переборка уйдёт в сторону за четыре секунды.

— Капитан, — сказал Макар. — Я открываю.

— Нет, — сказала Виктория.

Он не сразу понял слово. Оно было короткое, одно, и в нём не было ничего, кроме этого слова.

— Он там, — сказал Макар.

— Я знаю, где он, — сказала Виктория. — Не открывай. Переборка держит давление коридора. Если откроешь — коридор выровняется с постом. Пост негерметичен, перекос шестого шпангоута. Ты потеряешь коридор. Ты, Лев и Дина в техническом — вы на одном объёме с этим коридором. С.О.Н.Я., подтверди.

— Подтверждаю, — сказала С.О.Н.Я. — При открытии переборки давление в главном коридоре и техническом упадёт до уровня резервного поста за сорок секунд. Утечка из поста через перекошенные уплотнители — не менее двух процентов в минуту. После выравнивания — общий объём будет терять давление вместе с постом.

— Дай мне две минуты, — сказал Макар. — Я заварю уплотнитель. С этой стороны. Изнутри коридора. У меня в машинном аппарат…

— У тебя нет двух минут. Он режет. Пусть режет. Когда закончит — пусть наденет маску. В посту есть аварийный шкаф. Там маски.

— Капитан…

— Не открывай, — сказала Виктория. — Это приказ.

Макар стоял, держа ладонь на красной скобе. Он не отгибал её. Он только держал. Металл скобы был холодным — холод уже шёл через переборку.

За его спиной кашлял Лев. Где-то в техническом коридоре Дина кричала что-то про третий клапан. Пар хладагента поднимался выше — до пояса, до груди. В окне, за двумя слоями стекла и сеткой, Глеб перерезал последний кабель жгута.

Чёрная полоса остановилась.

Не сразу — она доползла до разреза, до самого края, до перерезанного жгута, и там замерла, как замирает вода у края запруды. Постояла. Потом начала расползаться вширь — по потолочной панели, по стене, не вперёд, а в стороны, медленно, будто искала обход. Обхода не было. Глеб перерезал всё. Чёрное пятно стояло под потолком резервного поста, в полутора метрах от решётки архива, неподвижное, глухое, и в нём не отражалось ничего.

Глеб слез с ящика. Опустил кабелерез. Постоял. Повернулся к двери — к окну, к Макару.

Макар увидел его лицо. Губы синие. Иней в волосах, на бровях. Глаза — совершенно спокойные. Глеб поднял руку и показал на нишу: архив цел. Потом показал на себя — на горло, на рот: дышать трудно. Потом — на аварийный шкаф: сейчас.

Он пошёл к шкафу. Сделал два шага. На третьем покачнулся и взялся рукой за решётку архива. Постоял. Повернулся снова к окну.

И постучал.

Не в окно — в металл двери, рядом с окном, костяшками, так, что Макар услышал это даже сквозь переборку: глухо, далеко. Дважды. Пауза. Ещё раз.

Его стук. Макаровский. Перед запуском чего угодно — по ближайшему металлу. «По звуку слышно, где люфт». «Потому что».

Потом окно затянуло инеем — изнутри, сразу всё, как затягивает стекло, если на него дохнуть на морозе. Белое. Глухое. И за белым больше ничего не было видно.

— Давление в посту, — сказала С.О.Н.Я., — пятьдесят два процента. Сорок девять.

Макар стоял, держа ладонь на красной скобе. Он не отгибал её. Он перечислял. Задача первая: давление в коридоре — держится. Задача вторая: Лев — кашляет, хладагент, нужна маска, нужна Васса. Задача третья: Дина — третий клапан. Задача четвёртая: шестой шпангоут — лопнул, седьмой — держит. Задача пятая: архив — цел. Задача шестая…

У шестой задачи не было номера. Был только стук — два и один, — который Макар узнал бы на любой переборке любого корабля, потому что он сам его придумал двадцать три года назад на учебном стенде и до вчерашнего дня был уверен, что больше этого стука не знает никто.

— Сорок шесть, — сказала С.О.Н.Я.

— Макар, — сказала Виктория. — Отойди от двери.

Он не отошёл.

Тогда кто-то взял его за локоть — не Виктория, она была в командном, — и он обернулся и увидел Дину: мокрую, в инее по колено, с разбитой о вентиль рукой. За ней, в пару, сидел на полу Лев, привалившись к стене, и дышал в сложенные ладони.

— Третий клапан, — сказала Дина. — Я его закрыла. Вода цела. — Она посмотрела на окно, на белое, на его руку на скобе. Её лицо изменилось — так меняется, когда человек понимает, что принёс хорошую новость не туда. — Макар. Где Глеб?

Макар не ответил. Он посмотрел на свою ладонь — она всё ещё лежала на скобе, не отогнув её, — и снял её. Медленно, палец за пальцем, как снимают с раны повязку, которая успела присохнуть.

— Там, — сказал он. — Есть служебный лаз. Через сервисную. Снаружи поста.

— Сервисная разгерметизирована.

— Знаю. В скафандре. — Он посмотрел на Дину. — Ты меньше. Ты пролезешь.

Дина посмотрела на него секунду. Потом кивнула — коротко, как кивают на техническое задание.

— Где ближайший скафандр?

— Шлюз-один. Восемь метров. Я помогу.

— Нет, — сказала Дина. — Ты к Льву. Ему плохо.

И ушла. Макар остался у переборки, рядом с белым окном, рядом с Львом, который кашлял в ладони, и в динамике у двери С.О.Н.Я. ровно называла цифры, каждые десять секунд, одну меньше другой, и Макар считал их вместе с ней, как считал рубильники, как считают задачи, у которых нет решения, но есть порядок.

Глава 5. Человек в коридоре

От шлюза-один до люка сервисной секции было восемь метров, тридцать один шов палубы и одна отломанная скоба, за которую Дина зацепилась коленом ещё на третьем месяце и с тех пор обходила её, не глядя. Она считала швы и сейчас. Привычка. На любом объекте, куда её посылали, она первым делом считала то, что можно посчитать: швы, болты, ящики, литры. Посчитанное переставало быть страшным. Не становилось безопасным — переставало быть страшным, это разные вещи, и Дина давно научилась их различать.

Скафандр был ей велик. Все скафандры на «Пороге» были ей велики: их заказывали по ростовке консорциума, где самый маленький размер назывался «М» и подразумевал человека на семь сантиметров выше и на десять килограммов тяжелее. В плечах болталось. Перчатки приходилось затягивать ремешком на запястье, иначе пальцы не доставали до концов. Дина давно хотела перешить себе одну пару, но всё откладывала — «пока», — и теперь, затягивая ремешок, подумала, что вот оно, «пока», наступило.

— Давление в посту — тридцать восемь, — сказала С.О.Н.Я. в шлеме. Голос был ближе, чем снаружи, как будто она стояла у Дины за плечом. — Давление в сервисной — ноль. Температура в сервисной — минус сорок и падает.

— Сколько у Глеба?

— Не знаю. Связи с постом нет.

— Камеры?

— Камера поста закрыта инеем. Камера сервисной обесточена.

— Значит, иду вслепую.

— Я буду называть цифры, — сказала С.О.Н.Я. — Это всё, что я могу.

— Называй, — сказала Дина. — Это много.

Она закрыла внутреннюю дверь шлюза и открыла клапан. Воздух ушёл с коротким вздохом, и стало тихо — той полной тишиной, которая бывает только в скафандре в вакууме, где слышно лишь собственное дыхание и шорох ткани о ткань. Потом она открыла внешний люк — не наружу, а в сервисную секцию: шлюз-один был спаренным, и его второй выход вёл в обесточенный, разгерметизированный отсек, куда при нормальной жизни никто не ходил без нужды.

Внутри было темно.

* * *

Нашлемный фонарь выхватывал куски. Стеллаж с инструментальными ящиками — она знала каждый: здесь паяльные станции, здесь запасные уплотнители, здесь ящик с надписью её почерком «ВСЁ, ЧТО НЕ ВЛЕЗЛО». Два из ящиков сорвало с креплений, они лежали на полу, раскрытые, и вокруг них по палубе было рассыпано то, что Дина собирала полгода: шайбы, обрезки трубок, клеммы, моток медной проволоки, похожий на гнездо. Всё было покрыто инеем — тонким, белым, мохнатым, как плесень на хлебе. Влага из воздуха, вышедшего из отсека, осела на каждой поверхности и замёрзла.

Она перешагнула ящик. Пятый шов, шестой.

Воздуховод над головой порвался — она увидела рваный край гофры, свисающий вниз, как оборванная кишка, и вокруг него в луче фонаря медленно оседали кристаллы. Ледяная пыль. Пар хладагента, который пробился сюда из охладительного контура, замёрз на лету и теперь падал, как снег, ровно, без ветра. Корабль всё ещё тянули — Дина чувствовала это ногами, лёгким, постоянным креном, словно палуба была чуть-чуть наклонена, и снежинки падали не вертикально, а под углом, к корме.

— Где люк поста? — спросила она.

— Справа по ходу, у седьмого шпангоута. Служебный лаз. Метр двадцать по высоте, шестьдесят по ширине. За ним — технический проход вдоль задней стенки поста, три метра. В конце прохода — второй люк, в сам пост.

— Седьмой держит?

— Седьмой держит. Шестой разрушен.

— Где шестой?

— Перед вами, — сказала С.О.Н.Я. — Два метра.

Дина подняла фонарь.

Шестой шпангоут выглядел так, как выглядит кость на рентгене после неудачного падения. Белая балка, которую она видела каждый день, проходя к шкафам, была переломлена посередине — не разорвана, а именно переломлена, с хрустом, с выдавленными внутренностями: из разлома торчали волокна композита, разлохмаченные, как мочало, и обрывки кабелей — мёртвых, обесточенных Макаром. А за переломом, там, где шпангоут уходил в обшивку, обшивки не было.

Была щель. Не широкая — в ладонь, может, в две. Длинная, рваная, от пола до половины высоты отсека, с вывернутыми наружу краями. За щелью — темнота. Не чёрная, а тёмно-серая, глубокая, с редкими искрами далёких огней. Космос. Дина видела его в иллюминаторы четырнадцать месяцев, но ни разу — вот так, через рваную дыру в стене кладовки, в двух шагах от ящика с её шайбами.

И на краю щели, снаружи, лежал хрящ.

Серо-жёлтый, глянцевый, тёплый — она видела тёплым: у краёв щели иней на обшивке подтаял и стёк вниз тонкими ледяными сосульками. Зажим. Тот, что держал их у второго шлюза. Он облегал обшивку снаружи, повторял её изгиб, и через щель Дина видела его внутреннюю поверхность: волокнистую, пронизанную тонкими тёмными линиями, похожими на сосуды. Одна из заплат на нём была ярко-синей — пятно размером с её ладонь, гладкое, как пластик, — и Дина почему-то подумала, что эту заплату ставили позже остальных и тот, кто её ставил, не нашёл подходящего материала и взял что было.

Она бы тоже так сделала.

— Дина, — сказала С.О.Н.Я. — Не задерживайтесь.

— Я не задерживаюсь. Я смотрю, — сказала Дина. — Если оно там тёплое, значит, внутри что-то работает. Если внутри что-то работает — оно может двигаться.

— Оно не двигается.

— Пока.

Она обошла перелом по дуге, держась подальше от щели, и нашла лаз.

* * *

Люк лаза был закрыт. Аварийная автоматика захлопнула его, когда упало давление, и теперь он стоял на ручном замке — маленькое колесо, красная стрелка, надпись под ним, которую Дина знала наизусть: «ОТКРЫВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЫРОВНЕННОМ ДАВЛЕНИИ».

Давление не было выровнено. По эту сторону — ноль. По ту — в техническом проходе за лазом — что-то между нулём и тридцатью восемью, потому что проход был частью поста и терял воздух вместе с ним.

— Если открою, — сказала Дина, — оттуда выйдет воздух.

— Да, — сказала С.О.Н.Я. — Объём прохода небольшой. Давление в посту упадёт на шесть-восемь процентов за несколько секунд. Потом проход и сервисная выровняются, и пост продолжит терять давление прежним темпом — через проход, через открытый лаз, через щель.

— Значит, я ему убавлю воздуха.

— Да.

— На шесть-восемь процентов.

— Да.

— А если не открою — он останется там.

— Да, — сказала С.О.Н.Я.

Дина постояла перед люком. Она не думала — она считала. Тридцать восемь минус восемь. Тридцать. При тридцати процентах давления человек без маски теряет сознание за минуты. С маской — живёт. Если Глеб успел надеть маску. Если.

— Он в маске? — спросила она.

— Не знаю.

— Хорошо, — сказала Дина. — Тогда открываю.

Она повернула колесо. Оно шло туго — замёрзшая смазка, — и она налегла плечом, всем своим небольшим весом в огромном скафандре, и колесо подалось, и люк дрогнул, и из-под его края с беззвучным хлопком вылетело облако — белое, мгновенное, похожее на выдох в мороз, — и рассыпалось ледяной пылью по палубе. Воздух поста. Шесть-восемь процентов того, чем дышал сейчас Глеб.

Она открыла люк до конца и полезла.

* * *

Технический проход за лазом был узким — шире её плеч на ладонь, — низким, тёмным. По одной стене шли трубы санитарного контура, тот самый, ради которого она полчаса назад крутила клапаны: трубы были в инее, но целые. По другой — задняя стенка поста, с шахтами для кабелей, с разъёмами. Фонарь бил вперёд, на три метра, до второго люка.

На полпути, на полу прохода, лежал человек.

Она узнала его по ботинкам. Это было глупо — у всех на корабле были одинаковые ботинки, серые, с рифлёной подошвой, — но у Глеба на правом шнурок был завязан двойным узлом, а конец шнурка обмотан изолентой, чтобы не лохматился. Дина видела это каждый день в кают-компании, и каждый раз думала, что только Глеб может опечатывать шнурки.

Он лежал на боку, лицом к стене поста, подтянув колени. На лице — маска. Аварийная, из шкафа, мягкая, прозрачная, с маленьким баллоном на ремешке. Надета криво: одна лямка через ухо, другая сползла на шею, край маски не прилегал к щеке, и через эту щель, наверное, уходило всё, что давал баллон.

Он полз, поняла Дина. Надел маску, как смог, и пополз. Не в пост — из поста. Через второй люк, в этот проход, к лазу. К ней. Он полз туда, откуда, как он думал, придёт помощь. Он не знал, что помощь придёт, только если откроют лаз, а лаз откроют, только если кто-то решит убавить ему воздуха.

— Глеб, — сказала она в шлем, хотя он не мог её слышать: у неё был шлем, у него — маска, между ними был разреженный, остывающий воздух.

Она опустилась на колени рядом с ним. Перевернула его на спину — осторожно, как переворачивают мешок, в котором что-то хрупкое. Голова откинулась. Лицо под маской — серое, губы почти чёрные, на ресницах иней. Глаза закрыты.

— С.О.Н.Я., — сказала Дина. — Он в маске. Маска не прилегает. Он без сознания. Я не знаю, дышит ли он.

— Положите ладонь ему на грудь, — сказал другой голос.

Васса.

Её голос появился в шлеме внезапно, сухо, без предисловий, и Дина вдруг почувствовала облегчение такое сильное, что у неё задрожали руки. Васса была в медицинском модуле, на другом конце корабля, за двумя закрытыми переборками, и не могла сюда прийти, но могла говорить.

— Ладонь, — повторила Васса. — Плоско. Под грудиной. Ждите. Не считайте вслух, просто чувствуйте.

Дина положила ладонь. Перчатка была толстой, с подкладкой, и сквозь неё она не чувствовала ничего — ни ткани, ни тела. Она ждала. Десять секунд. Пятнадцать.

И почувствовала: движение. Слабое. Как будто под её рукой, глубоко, кто-то медленно, неохотно приподнимал крышку.

— Дышит, — сказала она. — Редко.

— Хорошо. Поправьте маску. Обе лямки за голову. Край — плотно к коже, по всей окружности. Если баллон пустой — в шкафу поста есть ещё.

Дина поправила маску. Пальцы в перчатках не слушались, лямки выскальзывали, и она дважды роняла одну из них, прежде чем натянуть её за затылок. Край маски лёг на щёку. Баллон на ремешке зашипел — тихо, она почувствовала вибрацию через перчатку, — и маска изнутри затуманилась. Значит, есть чем туманиться. Значит, есть выдох.

— Баллон работает, — сказала она.

— Сколько на манометре?

Дина повернула баллон к фонарю.

— Четверть.

— Это минут восемь, — сказала Васса. — Дина, второй баллон. Из шкафа.

Дина подняла голову и посмотрела вперёд, на второй люк. Он был открыт — Глеб, видимо, открыл его сам, выползая. За ним — пост, красноватый свет аварийного освещения, белый иней на всём. И чёрное пятно на потолке, у самого края люка, неподвижное, плоское, мёртвое.

— Там изолятор, — сказала она. — На потолке. У входа.

— Оно движется? — спросила С.О.Н.Я.

— Нет.

— Тогда проходите под ним. Не касайтесь.

Она поползла. Мимо Глеба — осторожно, чтобы не задеть, — к люку. Под пятно. Фонарь на шлеме упёрся в чёрное, и Дина увидела, что свет в нём не отражается вовсе, совсем: луч входил в черноту и пропадал, как пропадает камень в воде без всплеска. Она проползла под ним на локтях, не поднимая головы, и только оказавшись по ту сторону, в посту, поняла, что не дышала.

Пост был маленьким, тесным, белым от инея. Ящик, на котором стоял Глеб, лежал опрокинутым. Кабелерез — на полу, рукоятками вверх. Решётка архивной ниши — закрыта, цела, на ней поблёскивали пломбы, и Дина почему-то подумала, что сейчас увидит на третьей пломбе подпись и что подпись будет длинная, с петлёй на «Н».

Аварийный шкаф стоял распахнутым. Глеб, видимо, рвал его дверцу, теряя сознание. На полке — ещё три маски, два баллона. Дина взяла оба.

Когда она повернулась, чтобы ползти обратно, в проходе было светло.

* * *

Свет шёл не от её фонаря. Он шёл из лаза — с другого конца прохода, оттуда, откуда она пришла. Мягкий, ровный, тёплого цвета, как свет лампы в окне, когда идёшь вечером по улице. Он заполнял проход, ложился на трубы, на заднюю стенку поста, на лицо Глеба в маске.

В проход что-то входило.

Дина не сразу поняла, что видит. Сначала — ленты. Тонкие, полупрозрачные, светящиеся изнутри, как светится медуза в тёмной воде. Они вползали через лаз — неторопливо, одна за другой, десяток, два десятка, — и расходились по проходу, касались стен, труб, пола, как касаются стен в незнакомой комнате, нащупывая выключатель. Ленты были разной ширины: одни — с палец, другие — с ладонь. В каждой, внутри, медленно перемещались огоньки — бледно-золотые, крошечные, как пузырьки в стакане.

Ленты дошли до Глеба. И остановились.

Потом — очень медленно, очень осторожно — обвили его.

Не схватили. Обвили. Как обвивают руками человека, которого боятся разбудить. Одна легла под голову, другая — под плечи, третья, широкая, на грудь, поверх его рук. Ещё

несколько — тонких, совсем тонких, с волос — коснулись маски, обошли её край, и Дина увидела, что одна проникла под маску, к его рту, и замерла там.

— Нет! — сказала она вслух, и сама не поняла, кому.

Она рванулась вперёд — на локтях, мимо чёрного пятна, с двумя баллонами в руках, — и, вывалившись из люка в проход, схватила ближайшую ленту, ту, что лежала у Глеба на груди. Лента была тёплой. Даже через перчатку Дина почувствовала это тепло — живое, ровное, тридцать шесть, может, тридцать семь, как тело. Она дёрнула.

Лента не порвалась и не сопротивлялась. Она просто — отвела её руку. Мягко. Другая лента обвилась вокруг её запястья, поверх перчатки, приподняла руку, переложила её в сторону, на трубу санитарного контура, и отпустила. Так взрослый отводит руку ребёнка от горячей плиты: не больно, не сердито, просто — не надо.

Дина сидела на полу прохода, прижимая к груди два баллона, и смотрела.

— Васса, — сказала она. — Тут что-то. Оно на нём. Оно его… держит.

— Описывай, — сказала Васса. Голос у неё стал другим — тише, медленнее, тем голосом, которым она, должно быть, разговаривала с тяжелобольными. — Точно. Всё, что видишь.

Дина описала. Ленты, свет, тепло, огоньки внутри. Одна под маской, у рта. Не причиняет боли. Не даёт снять.

— С.О.Н.Я., — сказала Васса. — Что показывает наружная камера у шестого шпангоута?

— Камера обесточена, — сказала С.О.Н.Я. — Но у меня есть данные внешнего лидара. В щели у шестого шпангоута — объект. Не зажим. Новый. Пришвартован к зажиму снаружи. Размер — порядка нашего медицинского модуля. Тепловой профиль — плюс тридцать шесть по всей поверхности.

— Вторая пачка, — сказала Васса. — Ариадна читала. «Сохранность контуров».

— Да, — сказала С.О.Н.Я.

— Значит, это медицина. Их медицина. Она пришла за ним.

— Или за тем, что в нём, — сказала по общей Изольда.

Дина не знала, что Изольда слушает. Они, наверное, слушали все: канал командира, общая связь — все восемь, нет, семь, сидели сейчас по разным отсекам и слушали, как Дина описывает ленты.

— Дина, — сказала Изольда. Ровно, мягко. — Не позволяй им его забрать. Мы не знаем, что это. Мы не знаем, что они с ним сделают. Карантин…

— Карантин уже нарушен, — сказала Виктория. Тоже по общей. — Изольда, не сейчас.

— Капитан, если они заберут его, мы…

— Если они не заберут его, — сказала Васса, — он умрёт. Он без сознания, у него гипоксия, переохлаждение и, судя по тому, как он лежит, травма. Я до него не доберусь — между нами две переборки и разгерметизированный отсек. Дина не может его вытащить: он тяжелее её на тридцать килограммов, а проход шириной в плечи. Если эта вещь умеет держать его живым — пусть держит.

— Ты не знаешь, что она умеет.

— Не знаю, — сказала Васса. — Но я знаю, что умею я. И это — ничего.

Тишина в канале. Дина слышала, как кто-то дышит — Лев, наверное, у него было тяжёлое, хрипящее дыхание, — и как в динамике шлема тихо потрескивают помехи.

А потом под её рукой, на трубе санитарного контура, куда её положила лента, что-то изменилось. Она посмотрела вниз.

На инее трубы, рядом с её перчаткой, проступали знаки.

Лента — тонкая, с палец — лежала на трубе и выписывала на инее, протаивая его своим теплом, строку. Знаки были знакомые. Дина не умела читать язык первого контакта так, как Ариадна, но знала его — все знали, это было обязательно, четыре недели занятий на Земле, тест в конце. Она разбирала по одному, губами, как разбирают в первом классе.

ЗАПРОС СОГЛАСИЯ.
СОХРАНЕНИЕ КОНТУРА: 1.
ОТ: НОСИТЕЛЬ — НЕДОСТУПЕН.
ОТ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ — ?
ОТ: СВИДЕТЕЛЬ — ?

— Оно спрашивает, — сказала Дина. Вслух, в канал. — Оно спрашивает согласия.

— Что? — сказали сразу трое.

Она прочитала. Знак за знаком. Носитель недоступен. Представитель — вопрос. Свидетель — вопрос.

— Носитель — это Глеб, — сказала Ариадна. Её голос был совсем тихим, будто она говорила сама с собой. — Он без сознания, поэтому «недоступен». Представитель — тот, кто может говорить за него. Свидетель — тот, кто видит. Дина. Ты свидетель.

— А представитель?

Никто не ответил.

Дина смотрела на строку на инее. Знаки уже начинали оплывать: тепло ленты протаивало их глубже, и края расползались. Ещё минута — и от вопроса останется мокрое пятно на холодной трубе.

Представитель. Тот, кто может говорить за него. Капитан? Капитан распоряжалась кораблём, не людьми. Васса? Врач говорит за больного, когда больной не может, — на Земле так было, в больницах, с бумагами, с комиссиями. Изольда — пункт двадцать один? Она писала его. Она бы знала, кто представитель.

А может быть, его собственные слова. Вчера, в кают-компании, за чаем, когда все смеялись. «Если я умру, будьте добры, не восстанавливайте меня из резервной копии». Она одна тогда не засмеялась. Она спросила: ты серьёзно? Он сказал: совершенно.

Но он не умер. Он лежал перед ней и дышал — редко, под маской, которую она поправила, — и вещь, которая его обвивала, не предлагала его восстановить. Она предлагала его сохранить. Это ведь было не одно и то же. Или одно?

Дина не знала. Она не знала, имеет ли право отвечать. Она не знала, что будет, если ответить «да», и что будет, если ответить «нет», и что будет, если не ответить вовсе. Она знала только одно, единственное, что умела всегда, — записывать.

Она отстегнула клапан нагрудного кармана скафандра. Там, как всегда, лежало то, что она туда клала «пока»: маркер, моток изоленты, и пустая упаковка от фильтра — плоская картонка, которую она сложила вчетверо неделю назад, собираясь выбросить, и не выбросила. Она развернула её. На обратной стороне, на белом картоне, начала писать, неловко, перчаткой, крупными печатными буквами:

13:52 — Г. Норвин в проходе за постом. Маска есть, не прилегает. Дышит редко.

13:53 — маску поправила. Баллон: четверть.

13:55 — объект (ленты, свет, тепло) вошёл через лаз. Обвил Г. Н. Снять не даёт.

13:56 — объект спрашивает согласия. Носитель недоступен. Представитель — ? Свидетель — ?

— Дина, — сказала Васса. — Что он делает?

Дина подняла голову.

Ленты двигались. Огоньки внутри них побежали быстрее — от лаза к Глебу, сплошным потоком, как бегут огни машин по ночному шоссе. Широкая лента на груди Глеба вдруг стала ярче, почти белой. Та, что была под маской, у рта, — дрогнула.

И Дина увидела, как маска Глеба перестала туманиться.

Только что она запотевала изнутри и прояснялась, запотевала и прояснялась — медленно, неровно, но в ритме. А теперь — нет. Прозрачная. Чистая. Как стекло в витрине.

— Он… — сказала она. — Маска. Она не туманится.

— Ладонь на грудь, — сказала Васса. Быстро, жёстко. — Дина, ладонь.

Она положила. Под широкой лентой, поверх неё, — лента не мешала, только отодвинулась на палец, будто давая место. Дина ждала. Десять секунд. Двадцать. Тридцать.

Под рукой ничего не поднималось.

— Не дышит, — сказала она.

Тишина в канале.

— Пульс, — сказала Васса. — На шее. Сбоку, под углом челюсти.

— Я не чувствую через перчатку.

— Тогда ничего, — сказала Васса. Совсем тихо. — Тогда ничего.

А ленты продолжали.

Это было самое страшное, и Дина потом, много позже, так и не смогла объяснить никому, почему именно это. Не то, что Глеб перестал дышать. Не то, что он лежал перед ней серый, с иссиня-чёрными губами, с инеем на ресницах. А то, что ленты — не остановились. Не дрогнули. Не замедлились. Огоньки бежали по ним всё тем же ровным, деловитым потоком, широкая лента на груди светилась всё тем же тёплым светом, тонкие ленты продолжали касаться его лица, рук, шеи — бережно, внимательно, неутомимо, — как продолжает работать мастер, которому сообщили, что заказчик умер, а заказ-то оплачен.

Дина взяла маркер.

13:58 — Г. Н. не дышит. Пульс не определяется (перчатка).

13:58 — объект продолжает.

Она подумала. Дописала:

Согласия никто не давал. Свидетель: Д. Серова.

* * *

Ленты подняли Глеба через две минуты.

Медленно. Плавно, как поднимают на носилках по лестнице — приподняли от пола, повернули вдоль прохода, головой к лазу. Маска на нём осталась — они её не сняли. Баллон на ремешке покачивался. Огоньки внутри лент стали гуще, плотнее, и вся эта светящаяся колыбель поплыла к лазу — туда, где за ним, в обесточенной сервисной, в рваной щели у шестого шпангоута, ждала тёплая громада снаружи, размером с медицинский модуль.

Дина не пыталась помешать. Она сидела на полу, прижавшись спиной к трубам, и смотрела, как он уплывает от неё по проходу, — ногами вперёд, как выносят покойника, нет, головой вперёд, как вносят больного, — она не знала, как правильно, и это незнание вдруг показалось ей важнее всего на свете.

У лаза его ботинки задели край люка. Правый, со шнурком в два узла, с концом, обмотанным изолентой. Ботинок качнулся. И что-то упало с Глеба на пол прохода — звонко, коротко, металлически.

Ленты не остановились. Они вынесли его через лаз, и свет ушёл вместе с ними — потускнел в проходе, переместился в сервисную, а потом, через щель у шестого шпангоута, ушёл наружу, в серую темноту, где Дина видела его ещё секунду: тёплое пятно на фоне далёких искр. Потом и пятно закрылось. Что-то большое снаружи сомкнулось, как смыкаются створки раковины.

Стало темно. Только фонарь у неё на шлеме.

Она посветила на пол.

У лаза лежал ключ. Латунный, старый, на шнурке. Шнурок был порван — видимо, зацепился за край люка, когда ботинок качнулся, — и ключ сорвался с шеи и упал. Дина знала этот ключ. Все знали. Глеб носил его четырнадцать месяцев и ни разу не снял — даже в душе, говорил Макар, даже в медицинском сканере, где положено снимать всё металлическое, и Васса

каждый раз ругалась, и каждый раз Глеб говорил, что ключ — это провенанс, а провенанс не снимают.

Дина подобрала ключ. Сжала его в перчатке. Он был ещё тёплым — от тела, от того, что минуту назад лежал у человека на груди под рубашкой.

— Дина, — сказала С.О.Н.Я. — Вы в порядке?

— Нет, — сказала Дина.

— Внешний объект, — сказала С.О.Н.Я., и голос у неё был не совсем такой, как всегда; Дина не могла понять, в чём разница. — Внешний объект прислал запрос. На корабельный буфер. Через ключ Изольды.

— Какой запрос?

— Медицинские снимки Норвина Г. Из архива В. Все, какие есть. Предполётные, плановые, вчерашний профилактический. Запрос оформлен на языке первого контакта. Формулировка: «Для сохранения контура требуются исходные данные контура».

Дина сидела на полу прохода с ключом в кулаке.

Она подумала о том, что сказал Глеб вчера, за чаем. Что копия — это не он. Что копия — это свидетельство, что он был. Что свидетельство с правом голоса — юридическая непристойность. Все смеялись. Она одна спросила: ты серьёзно?

— Изольда, — сказала С.О.Н.Я. — Запрос ожидает вашего подтверждения.

— Капитан, — сказала Изольда.

— Васса, — сказала Виктория.

— Он не хотел, — сказала Дина.

Она сказала это громко, в общий канал, — и сама удивилась, как громко. Голос в шлеме отразился и вернулся к ней, как эхо в пустой кладовке.

— Он говорил, — сказала она. — Вчера. За чаем. Он сказал: не восстанавливайте меня из резервной копии. Я спросила, серьёзно ли. Он сказал: совершенно. Он поставил галочку в анкете. Пункт двадцать один. Изольда, ты писала этот пункт. Он не хотел.

Тишина.

Долгая, полная, в которой было слышно только, как трещат помехи в динамике и как где-то далеко, в машинном, Макар что-то говорит — не в канал, а сам себе, — неразборчиво, по одному слову, как перечисляют.

— Он сейчас ничего не хочет, — очень тихо сказала наконец Васса, без злости, как называют температуру. — Дина. Он не дышит.

Дина посмотрела на картонку от фильтра. На белом, крупными буквами: *Согласия никто не давал*. Маркер в перчатке дрожал.

Она не стала больше ничего писать. Она сложила картонку вчетверо — так, как она была сложена до того, неделю, когда Дина собиралась её выбросить и не выбросила, — и убрала обратно в нагрудный карман. Рядом с маркером. Рядом с изолентой. Ключ она убрала туда же, к картонке, и застегнула клапан.

Потом взяла два баллона, которые так и не понадобились, и поползла обратно. Под чёрным пятном на потолке, мимо опрокинутого ящика, мимо кабелереза, рукоятками вверх. Через лаз. Через сервисную, мимо её рассыпанных шайб, мимо перелома шестого шпангоута, мимо рваной щели, за которой больше не было тёплого света, — только хрящ, серо-жёлтый, с синей заплатой, которую кто-то когда-то поставил из того, что было под рукой.

Тридцать один шов. Восемь метров. Одна отломанная скоба.

Она считала. Это помогало: безопаснее не становилось, но становилось не так страшно.

Глава 6. Цена продолжения

Адаптер Васса собирала из гидропонного насоса.

Другого не было. Медицинский модуль «Порога» умел многое — держать давление, гнать кровь, считать пульс, кислород и электрическую активность мозга, — но всё это он умел делать с человеком, лежащим на его собственном столе, подключённым его собственными датчиками. Человека, лежащего в чужом аппарате на чужой платформе, модуль не видел. А Васса хотела видеть. Если там, снаружи, с Глебом что-то делали, она хотела знать что — не по словам, не по строкам на инее, а по цифрам, которые она умела читать с девятнадцати лет.

Для этого нужно было соединить её мониторы с их аппаратурой. Хотя бы с краем аппаратуры. Хотя бы одним каналом.

— Насос третьей грядки, — сказала она Дине. — Там датчик потока на мягком хомуте. Он садится на трубку любого диаметра от четырёх до девяти миллиметров и снимает пульсацию. Если у них там есть что-то, что течёт, — я посажу его на это. Нужна трубка-переходник. Гибкая. Чистая.

Дина молча открыла нагрудный клапан скафандра — она так и не сняла его, только шлем, — и достала оттуда пучок тонких прозрачных трубок, перетянутых резинкой.

— Капиллярные, — сказала она. — От старого фильтра. Шесть живых.

Васса посмотрела на трубки. Потом — на Дину. Потом взяла пучок и стала отбирать нужный диаметр. Ничего не сказала. Говорить было нечего: на двери Дининой каюты третий месяц висело «НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ. ЭТО ПОКА», и никто не спрашивал, что именно «пока», а теперь «пока» лежало у Вассы на ладони, и его было ровно столько, сколько нужно.

В биоконтуре пахло удобрениями — азотом, сырой землёй, чем-то сладковатым и гнилым, что Васса любила с детства, потому что так пахла бабушкина теплица под Вологдой. Она сняла насос с третьей грядки, отсоединила датчик, вымыла его в растворе. Руки работали сами. Голова в это время была занята другим.

Голова была занята запросом.

* * *

Запрос висел в буфере Изольды уже двадцать две минуты. «Для сохранения контура требуются исходные данные контура». Медицинские снимки Норвина Г. из архива В. Все, какие есть.

Всё это время на корабле спорили. Спорили в общем канале, вполголоса, короткими репликами, как спорят люди, которые одновременно делают что-то руками. Изольда говорила, что передавать нельзя: карантин нарушен один раз, нарушать его второй раз — сознательно — значит признать, что карантина больше нет. Ариадна говорила, что передавать нельзя по другой причине: они не знают, что «контур» означает для того, кто просит, и если контур — это человек целиком, с памятью, то снимки — это не лечение, это чертёж. Макар молчал. Лев кашлял. Дина сидела в биоконтуре на ящике со своими трубками и смотрела в пол.

Виктория слушала. Когда все сказали всё, что могли, она сказала:

— Это медицинское решение. Васса.

И замолчала. Васса знала, что это значит. Это значит: решай ты, а я подпишу. Капитан не перекладывала ответственность — она её распределяла. Как распределяла энергию: шесть процентов туда, два с половиной сюда, остаток — в резерв на случай, если я ошиблась. Сейчас резервом была Васса.

— Что в архиве В? — спросила Васса у С.О.Н.И., не отрывая глаз от датчика.

— Предполётный полный снимок, — сказала С.О.Н.Я. — Четыре плановых снимка за полёт, ежеквартальных. Вчерашний профилактический, внеочередной: Норвин попросил его сам после разговора за чаем. Сказал: «На всякий случай, раз уж мы заговорили».

Васса остановила руки.

— Он попросил снимок?

— Да.

— Зачем?

— Он сказал: «Чтобы была точка отсчёта». Я записала дословно.

Васса подумала о том, как Глеб сидел вчера за столом со своей кружкой с отбитым краем и говорил, что копия — это свидетельство, что ты был. И потом пошёл и сделал свидетельство. Точку отсчёта. На всякий случай.

— Что в профилактическом?

— Стандартный протокол дальней экспедиции, — сказала С.О.Н.Я. — Структурный скан тела. Функциональная карта основных систем. Нейрокарта второго уровня: топология связей, активность в покое. Не память. Не мысли. Карта.

— Карта, — повторила Васса. — По которой можно ехать.

— Я не знаю, что они могут по ней сделать. У нас это просто карта. У них… не знаю.

— Ещё что-нибудь в пакете?

— Заголовок, — сказала С.О.Н.Я. — Обязательный для всех медицинских данных экспедиции. Запечатанный. В нём — предполётное распоряжение на случай смерти. Пункт двадцать один.

— Можно его снять?

— Нет. Он запечатан при записи. Протокол консорциума: распоряжение неотделимо от данных, к которым относится. Чтобы никто не мог использовать данные, не увидев распоряжения.

— Если я отправлю снимок — отправлю и распоряжение.

— Да.

— Они смогут его прочесть?

— Если умеют вскрывать нашу печать — да. Если не умеют — увидят, что есть запечатанная запись, и не узнают содержания.

Васса взяла трубку, посмотрела на свет, проверила, нет ли трещин. Трубка была чистой, прозрачной, живой.

— Что он там поставил? — спросила она. — В пункте двадцать один?

— Это запечатано, — сказала С.О.Н.Я. — Я не вскрываю.

— Дина говорит — «не восстанавливать».

— Дина говорит то, что он сказал за чаем. Я не знаю, что он поставил в анкете. Это разные источники.

— Но вероятно…

— Вероятно, совпадает, — сказала С.О.Н.Я. — Восемьдесят девять процентов. Он не из тех, кто шутит не тем, что думает.

Васса надела датчик на трубку, затянула хомут. Проверила ход. Сжала трубку пальцами — на экране переносного монитора дрогнула линия. Работает.

Она думала. Не долго — у неё никогда не было долго, ни в одной из реанимаций, где она стояла, ни в одной из аварий, где биоконтур умирал быстрее, чем она успевала понять, от чего. Думала вот как: человек, который сейчас лежал в тёплых лентах снаружи корабля, не дышал. Это было фактом. Его распоряжение было вероятностью — восемьдесят девять процентов — и шуткой за чаем, и галочкой в анкете, которую она не видела. Его тело было там, в чужом аппарате, а его карта — здесь, в архиве В, на её стороне. Если она не отдаст карту, аппарат будет работать вслепую — с тем, что осталось от его тканей. Если отдаст — аппарат будет работать по карте.

Она не знала, что из этого — «восстанавливать». Она знала только, что одно из этого даёт больше шансов, что кто-то встанет с того стола. И что она — врач.

— Изольда, — сказала Васса в канал. — Открой буфер. Передаём вчерашний профилактический. Только его. Не предполётный, не плановые. Один снимок — вчерашний.

— Почему один? — спросила Изольда.

— Потому что он самый свежий. Если им нужна точка отсчёта — пусть будет та, которую он сам выбрал. — Васса помолчала. — И потому что так меньше. Если я ошибаюсь — я ошибаюсь на один снимок, а не на шесть.

— Это всё равно нарушение карантина.

— Да.

— Я хочу, чтобы было записано, что я против.

— Записывай, — сказала Васса. — И ещё запиши.

Она взяла с полки биоконтура свой рабочий журнал — бумажный, в клеёнчатой обложке, с пятнами от питательного раствора на страницах, — и открыла на чистом листе. Писала быстро, мелко, прямыми буквами:

Передаю вчерашний профилактический снимок Г. Норвина (нейрокарта второго уровня). Снимок содержит запечатанное распоряжение (п. 21). Со слов Д. Серовой и по оценке С.О.Н.И., распоряжение — «не восстанавливать» (не проверено).

Я не знаю, будет ли то, что они сделают, восстановлением. Я не знаю, что это не оно. Пациент не дышит. Своих средств у меня нет. Решение моё.

В. Ромм.

Подумала. Дописала:

Если я ошиблась — пусть это будет видно.

— Передано, — сказала через минуту С.О.Н.Я. — Получение подтверждено. Внешний объект ответил.

— Что?

— «Данные приняты. Запечатанная запись обнаружена. Содержание не вскрыто. Хранится при данных».

Васса закрыла журнал. Значит, не вскрыли. Значит, у них тоже есть печати, которые нельзя ломать. Это было почти смешно, и почти утешительно, и она не позволила себе ни того, ни другого.

* * *

Платформа подошла к первому шлюзу через сорок минут.

Это не было стыковкой в человеческом смысле — никаких захватов, никаких фиксирующих штифтов, никакой мягкой муфты, которая должна была совпасть с кольцом шлюза по чертежу. Тёплая громада, которую С.О.Н.Я. описывала как «объект размером с медицинский модуль», просто подплыла к борту «Порога» у шлюза-один и прижалась к нему боком — так прижимается к бедру собака, — и вокруг внешнего кольца шлюза по её поверхности прошла волна, и там, где волна прошла, образовался ободок, точно повторяющий кольцо. Ободок затвердел. Датчик давления во внешнем объёме шлюза показал: двадцать процентов, сорок, восемьдесят, сто два.

— Они дали нам воздух, — сказала С.О.Н.Я. — В шлюзе — давление чуть выше нашего. Состав… азот, кислород, следы инертных, следы того, что я не могу определить. Пригодно для дыхания. Температура — плюс двадцать восемь.

— Тепло, — сказал Лев.

Он сидел на полу у внутренней двери шлюза, привалившись к стене, в маске, которую ему надела Дина. Маска была подключена к баллону на тележке. Дышал он часто, с хрипом, и на каждом вдохе у него дёргалось плечо. Хладагент. Пар из лопнувшего охладительного контура в главном коридоре: Лев простоял в нём у переборки резервного поста минуты три, пока Макар держал ладонь на скобе, и надышался.

Васса посмотрела на него ещё раз. Лицо серое. Губы — нормальные, не синие, это хорошо. Глаза слезятся. Кашель влажный. Ожог слизистых. Сколько вдохнул — непонятно. Если просто раздражение — пройдёт за сутки. Если отёк — начнётся через несколько часов, и тогда ей понадобится то, чего у неё нет: нормальная реанимационная машина, а не медицинский модуль дальнего корабля, рассчитанный на переломы и аппендициты.

— Ты пойдёшь со мной, — сказала она Льву.

— Туда? — Лев посмотрел на внутреннюю дверь шлюза, за которой было тепло и пахло чем-то, что С.О.Н.Я. не могла определить. — Васса, я… — Он закашлялся. — Я составлю список. Противопоказаний к тому, чтобы я туда шёл. Список будет очень длинный.

— Составляй по дороге.

— Почему я?

— Потому что ты надышался хладагентом, а у меня здесь нет аппарата, чтобы тебя вытащить, если у тебя начнётся отёк лёгких, — сказала Васса. — А у них, судя по всему, есть. И потому что мне нужен кто-то, кто будет держать свет.

— Какой свет?

— Белый, — сказала Васса. — У них там, видишь, жёлтый. В жёлтом я не вижу цвет кожи.

Она протянула ему фонарь — рабочий, медицинский, с белым диодом, из ящика модуля.

Лев посмотрел на фонарь, на неё. Потом взял.

— Вероятность отёка лёгких после ингаляции фторуглеродного хладагента, — сказал он сквозь маску, глухо, медленно, — при экспозиции две-четыре минуты и концентрации, которую мы не знаем, — от трёх до семнадцати процентов. Начало — через два-шесть часов. Летальность при отсутствии вентиляционной поддержки — до сорока процентов.

— Вот, — сказала Васса. — Видишь. Ты полезен.

Лев издал звук, который мог быть смехом, а мог — кашлем. Потом встал, держась за стену, и включил фонарь.

* * *

Внутри платформы было как в оранжерее.

Это первое, что подумала Васса, и потом, сколько ни пыталась найти слово точнее, не нашла. Тепло, влажно, тихо. Свет — рассеянный, жёлтый, без источника, как будто светились сами стены. Стены были мягкие, полупрозрачные, слоистые, похожие на лепестки, и в их толще медленно двигались огоньки — те самые, бледно-золотые, про которые рассказывала Дина. Пахло — Васса принюхалась — пахло ничем. Почти ничем. Тонко, едва заметно — чем-то вроде свежего хлеба, который ещё не пропёкся. Или кожи младенца. Она не могла решить.

Пространство было разделено на боксы — не стенами, а складками этих лепестков, будто кто-то собрал ткань в несколько огромных мягких карманов. Во втором кармане слева лежал Глеб.

Васса увидела его не сразу — сначала увидела ленты, их было много, они заполняли карман почти целиком, как заполняет кокон гусеницу, и светились ровным тёплым светом. А в середине, в просвете между лентами, — лицо. Серое. Неподвижное. Маска с него была снята. Рот приоткрыт. Одна тонкая лента входила в рот и уходила глубже.

— Свет, — сказала Васса.

Лев поднял фонарь. Белый луч лёг на лицо Глеба, и Васса увидела то, что хотела увидеть: цвет. Не серый — сизо-бледный, с землистым оттенком, как у человека после долгой реанимации. Губы — тёмные. Ногти на руке, которая виднелась сбоку, — синюшные. Она смотрела, запоминала, раскладывала по полочкам: гипоксия тяжёлая, длительная; переохлаждение; на виске — ссадина, под ней, возможно, гематома; правое плечо — неестественный угол, вывих или перелом ключицы. Всё это она видела тысячи раз. Всё это она умела. Ни с чем из этого она здесь ничего не могла сделать.

Она нашла глазами то, что искала: в одной из широких лент у его груди медленно, ритмично двигалась жидкость. Тёмная, густая. Пульсировала.

— Вот, — сказала она. — Это течёт.

Она достала датчик на капиллярной трубке, нашла на ленте место, где жидкость шла ближе всего к поверхности, — и, помедлив секунду, прижала мягкий хомут датчика к ленте.

Лента дрогнула. Не отстранилась — дрогнула, как вздрагивает кожа, когда к ней прикасается холодное. Потом расслабилась. Хомут лёг. Капиллярная трубка натянулась, по ней от датчика к переносному монитору побежал сигнал.

На мониторе появилась линия.

Пульсация. Ровная, медленная, сорок два в минуту. Не сердце — Васса знала, как выглядит сердце, — что-то другое, насос, но насос, работающий на него. На его кровь. На его тело.

— Сорок два, — сказал Лев. — Это…

— Это не его, — сказала Васса. — Это их. Они гонят ему кровь. Они дышат за него.

— Это хорошо?

— Это лучше, чем ничего, — сказала она. — Намного.

* * *

Она услышала голос из соседнего кармана раньше, чем поняла, что это голос.

Он был мягким. Не человеческим — слишком ровным, без придыхания, без того шума гортани, который есть в любом человеческом голосе, — но мягким, с интонацией, которая поднималась и опускалась, как поднимается и опускается грудь спящего. Говорили не на языке первого контакта. Говорили на чём-то другом, шелестящем, певучем. А потом, сразу следом, тот же голос повторил — уже по-другому, другими звуками, и поверх него в воздухе платформы проступили знаки. Знакомые. Язык первого контакта. Висящие прямо в воздухе, светящиеся, медленно гаснущие.

УСПЕШНО. БОЛЬ: ОТСУТСТВУЕТ. КОНТУР: ЦЕЛ. ВЫ МОЖЕТЕ ВСТАТЬ.

Васса повернулась.

В соседнем кармане лежало существо. Длинное, светло-серое, с множеством коротких конечностей вдоль тела, похожее на огромную многоножку, если бы у многоножки была гладкая, почти фарфоровая кожа и лицо — маленькое, плоское, с двумя крупными влажными глазами. Существо лежало на боку. Его тело было обвито лентами, как тело Глеба, — только ленты уже уходили, медленно, одна за другой, втягиваясь в стены. На боку существа, вдоль всего тела, шёл тёмный шов, свежий, блестящий, — и Васса, не зная ничего об этой анатомии, поняла: здесь был разрыв. Здесь что-то было разорвано и теперь соединено.

Существо открыло глаза. Посмотрело в сторону, откуда шёл голос. И издало звук — тихий, протяжный, на одной ноте, — и Васса, не зная ничего об этом языке, поняла и это. Так звучит облегчение. Так звучит человек, у которого прошла боль, которая была так долго, что он забыл, каково без неё.

Над существом, в изголовье кармана, стояла та, которая говорила.

Васса не могла бы описать её фигуру: её как будто не было — была складка стены, чуть плотнее остальных, чуть темнее, с множеством тонких отростков, уходящих в ленты и в лепестки, — и было лицо. Лицо проступало из складки, как проступает лицо на старой фотографии в проявителе, и было почти человеческим, почти женским, с высоким гладким лбом и полуопущенными веками. Глаз не было видно. Было видно, что она улыбается.

— Спасибо, — сказало существо-многоножка. На языке первого контакта, знаками в воздухе. Неуклюже, как говорят на чужом языке. — Спасибо. Спасибо.

— Это не мне, — сказала та, в складке. Знаки поплыли к Вассе. — Это вам. Вы согласились.

Она повернула лицо к Вассе. Веки приподнялись — немного, на ширину ногтя, — и под ними был тёплый жёлтый свет, тот же, что в стенах.

ВЫ — ВРАЧ, — проступило в воздухе перед Вассой. — Я ВИЖУ ПО ТОМУ, КАК ВЫ СМОТРИТЕ НА ЦВЕТ.

Васса не ответила. Она не знала, как отвечать знаками в воздухе, а набирать на планшете было нелепо. Она просто кивнула.

Я — СЕФРА, — сказала та. — ЗДЕСЬ Я ОТВЕЧАЮ ЗА ТО, ЧТОБЫ НИКОМУ НЕ БЫЛО БОЛЬНО.

* * *

Сефра подошла к Глебу.

Подошла — это было неправильное слово. Складка стены, из которой проступало её лицо, переместилась вдоль лепестков, как перемещается волна по ткани, и оказалась в изголовье его кармана. Отростки ушли в ленты. Огоньки в лентах побежали быстрее.

ТЯЖЁЛЫЙ, — сказала она. — ДОЛГО БЕЗ ВОЗДУХА. ЧАСТЬ КОНТУРА ПОТЕРЯНА. ЧАСТЬ — СОХРАНЕНА В ТКАНИ. ЧАСТЬ — В КАРТЕ, КОТОРУЮ ВЫ ПРИСЛАЛИ.

— Вы можете его вернуть? — спросила Васса. Вслух, по-русски. Она не знала, поймут ли её. Сефра поняла.

МОЖЕМ, — сказала она. — ЕСТЬ ДВА ПУТИ.

Знаки висели в воздухе и медленно гасли, и новые проступали на их месте, ровно, неторопливо, как пишет человек, который никуда не спешит и очень хочет, чтобы его поняли правильно.

ПЕРВЫЙ ПУТЬ: ВОССТАНОВИТЬ ТО, ЧТО СОХРАНИЛОСЬ В ТКАНИ. ЗАПОЛНИТЬ ПРОБЕЛЫ ПО КАРТЕ. МЕДЛЕННО. ДОЛГО. ЧАСТЬ НЕ СОВПАДЁТ. ОН БУДЕТ ПОМНИТЬ НЕ ВСЁ И НЕ ТАК. ЕМУ БУДЕТ ТРУДНО.

ВТОРОЙ ПУТЬ: ПОСТРОИТЬ КОНТУР ПО КАРТЕ ЦЕЛИКОМ. БЫСТРО. ВСЁ СОВПАДЁТ С КАРТОЙ. И МОЖНО УБРАТЬ ТО, ЧТО ЕГО ПОГУБИЛО.

— Что его погубило? — спросила Васса.

ПРИВЫЧКА ВОЗВРАЩАТЬСЯ ЗА ВЕЩАМИ, — сказала Сефра. И улыбнулась. Ласково, как улыбаются ребёнку, который в третий раз за день разбил коленку на одном и том же месте. — ОН ВЕРНУЛСЯ ЗА КАРТРИДЖЕМ. ОН ВЕРНЁТСЯ ЕЩЁ РАЗ. В КАРТЕ ЭТО ВИДНО: СИЛЬНАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ «ВЕЩЬ» И «Я». МЫ МОЖЕМ ОСЛАБИТЬ. ОН БУДЕТ ЖИТЬ ДОЛЬШЕ.

Васса смотрела на знаки. Они висели в воздухе, мягко светились, и в них не было ничего страшного — ни одного страшного слова. «Ослабить». «Жить дольше». «Убрать то, что погубило». Она сама так говорила с больными. Она сама так писала в карты: «устранить фактор риска». Она двадцать лет произносила эти слова и только сейчас, увидев их висящими в тёплом воздухе над лицом человека, с которым вчера пила чай, услышала, как они звучат.

Человек, который ставит три пломбы. Который носит ключ в душе. Который вернулся за картриджем, потому что картридж был носителем, а носитель — это провенанс, а провенанс не снимают. Если убрать связь между «вещь» и «я» — что останется? Тот, кто ставит одну пломбу? Ни одной? Тот, кто не вернётся?

Он будет жить дольше. Это правда. Тот, кто не возвращается за вещами, живёт дольше. Только это будет не он.

— Первый путь, — сказала Васса.

Сефра повернула к ней лицо. Веки приподнялись ещё чуть-чуть.

ПЕРВЫЙ ПУТЬ ДОЛЬШЕ. ЕМУ БУДЕТ ТРУДНЕЕ. ОН МОЖЕТ НЕ ПРОСНУТЬСЯ СОВСЕМ. ВЕРОЯТНОСТЬ…

Знаки дрогнули, и вместо слова появилось число — их число, на языке первого контакта, — и Васса прочла его. Тридцать один.

ТРИДЦАТЬ ОДИН ИЗ СТА — НЕ ПРОСНЁТСЯ. ПО ВТОРОМУ ПУТИ — НОЛЬ.

— Первый путь, — повторила Васса.

ПОЧЕМУ?

— Потому что второй — это не лечение, — сказала Васса. — Это замена. Я не знаю, кого вы построите по карте. Но это будет не тот, кто ушёл. Это будет тот, кого вы решили построить.

Сефра молчала. Её лицо в складке стены было неподвижным, и улыбка на нём не исчезла — не стала ни шире, ни уже. Она просто осталась. Как остаётся на фотографии.

ВЫ ГОВОРИТЕ, КАК ОРДИС, — сказала она наконец. — ХОРОШО. ПУСТЬ БУДЕТ ОРДИС.

Складка стены отступила, отростки вышли из лент. Сефра уплыла вдоль лепестков — обратно, к многоножке, которая всё ещё лежала в соседнем кармане и тихо пела свою одну ноту облегчения.

Васса стояла рядом с Глебом. Она вдруг поняла, что руки у неё дрожат — впервые за весь этот день, — и сунула их в карманы.

— Васса, — сказал за её спиной Лев. Глухо, сквозь маску. — Тридцать один процент.

— Я слышала.

— Ты выбрала тридцать один процент. Вместо нуля.

— Да.

— Я бы… — Он закашлялся, долго, мучительно. Луч фонаря запрыгал по лентам. — Я бы выбрал ноль. Я всегда выбираю ноль. Ты же знаешь.

— Знаю, — сказала Васса. — Поэтому выбирала я.

* * *

Ордис пришёл через двадцать минут — и он действительно пришёл, а не проступил из стены. У него было тело.

Длинное, узкое, модульное — Васса потом долго не могла подобрать слово, пока Макар, увидев его через неделю, не сказал: «Шкаф на ногах». Корпус, похожий на высокий узкий пенал, светло-серый, матовый. Четыре опоры снизу, тонкие, многосуставные. И руки — шесть или восемь, сложенных вдоль корпуса, как складывают зонтики, — и, когда он остановился возле Глеба, руки развернулись, все сразу, бесшумно, и Васса увидела, что каждая оканчивается инструментом: одни — тонкими пальцами, другие — иглами, третьи — чем-то вроде мягких присосок. Лица у него не было. Наверху корпуса, там, где у человека была бы голова, располагалась пластина — тёмная, гладкая, чуть вогнутая, — и на пластине появлялись и исчезали знаки.

Я — ОРДИС, — написала пластина. — ВЫ ВЫБРАЛИ МЕДЛЕННЫЙ ПУТЬ.

— Да.

ПРАВИЛЬНО, — написала пластина. — НЕТ. НЕ «ПРАВИЛЬНО». ОСТОРОЖНО. Я НЕ ЗНАЮ, ПРАВИЛЬНО ЛИ.

Васса посмотрела на него. Пластина не изменилась.

— Вы его вернёте? — спросила она.

Я ВЕРНУ КОНТУР. ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ. Я НЕ СМОГУ ВАМ СКАЗАТЬ, ЧТО ВЕРНЁТСЯ ТОТ ЖЕ.

— Это разные вещи, — сказала Васса.

ДА, — написал Ордис. И, после паузы: — Я РАД, ЧТО ВЫ ЭТО ЗНАЕТЕ. МНОГИЕ НЕ ЗНАЮТ. МНОГИЕ ДУМАЮТ: ЕСЛИ ОН ЗАГОВОРИТ ЕГО ГОЛОСОМ, ЭТО ОН.

Одна из его рук — с тонкими пальцами — коснулась ленты у груди Глеба. Как раз там, где был хомут Вассиного датчика. Пальцы остановились у хомута. Помедлили. Потом — Васса не поверила своим глазам — аккуратно, едва касаясь, поправили его: подтянули на миллиметр, чтобы сидел ровнее.

ВАШ ПРИБОР, — написала пластина. — ОН ВИДИТ ТОЛЬКО ПОТОК. ЭТОГО МАЛО. НО Я ОСТАВЛЮ ЕГО. ВЫ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ, ЧТО Я ДЕЛАЮ.

— Почему?

ПОТОМУ ЧТО ВЫ ЕГО ВРАЧ. А Я — НЕТ. Я — ТОТ, КТО ЕГО ЧИНИТ.

Он развернул остальные руки. Иглы вошли в ленты. Присоски легли на виски Глеба, на грудь, на запястья. Огоньки в лентах изменились — не побежали быстрее, а стали гуще, плотнее, как будто их стало больше.

ЭТО ДОЛГО, — написал Ордис. — ЧАСЫ. ВАМ НЕ НУЖНО СТОЯТЬ. ВАМ НУЖНО ЛЕЧИТЬ ДРУГОГО.

И одна из его рук указала на Льва.

* * *

Лев сопротивлялся.

Он сопротивлялся словами, потому что больше ничем не мог: кашель усилился, на лбу выступил пот, и Васса видела, что ему становится хуже — частота дыхания двадцать восемь, тридцать, — и что если это начинается отёк, то у неё есть от силы час, прежде чем начнётся по-настоящему. Лев говорил:

— Нет. Нет. Васса, слушай, я составил список. Пункт первый: мы не знаем их анатомию. Пункт второй: мы не знаем, совместимы ли их методы с нашей биохимией. Пункт третий: это Секцион, или как его там, они только что предложили Глебу вырезать из головы привычку, Васса, привычку…

— Им предложили, — сказала Васса. — Я отказалась.

— А если они не спросят? А если они…

Я СПРОШУ, — написал Ордис. Пластина повернулась к Льву. — Я СПРАШИВАЮ. ВАШИ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ПОВРЕЖДЕНЫ. ЧЕРЕЗ ДВА-ТРИ ЧАСА ОНИ ОТЕКУТ. Я МОГУ ОСТАНОВИТЬ ОТЁК. ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО КОРОТКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ. СОРОК ВАШИХ СЕКУНД. Я ПОДСТРОЮ РЕГУЛЯЦИЮ ОТЁКА ЧЕРЕЗ НЕРВ. БОЛЬШЕ НИЧЕГО.

— Через нерв, — повторил Лев. — Через какой нерв? Через мозг?

ЧЕРЕЗ ТО, ЧТО У ВАС УПРАВЛЯЕТ ДЫХАНИЕМ. ЭТО БЛИЗКО К МОЗГУ. ДА.

— Нет.

ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ?

— Да.

ХОРОШО, — написал Ордис. — Я ЗАПИСЫВАЮ ОТКАЗ. ЕСЛИ ЧЕРЕЗ ДВА ЧАСА ВЫ ПЕРЕДУМАЕТЕ — СКАЖИТЕ. ЕСЛИ ЧЕРЕЗ ТРИ — МОЖЕТ БЫТЬ ПОЗДНО.

Он отвернулся к Глебу. Просто отвернулся — и Васса вдруг увидела в этом то, чего не ожидала увидеть: уважение. Он спросил. Ему отказали. Он записал. Он не настаивал.

Лев сидел на мягком полу платформы, прижавшись спиной к лепестковой стене, и дышал. Двадцать восемь, тридцать. Фонарь лежал у него на коленях, бил белым лучом в потолок.

— Лев, — сказала Васса. Она присела рядом. — Послушай меня. Я не знаю, что у тебя в лёгких. Если это отёк — я ничем не помогу. У меня нет аппарата. У меня нет даже нормального кислорода — баллоны на тележке кончатся через четыре часа. Если отёк — ты умрёшь. Не наверное. Скорее всего.

— Это давление, — сказал Лев. — Ты на меня давишь.

— Да. Давлю. — Васса не отвела глаз. — Ты всю жизнь считаешь вероятности. Посчитай эту. Сорок секунд через нерв — против сорока процентов летальности без поддержки. Ты сам назвал цифру. Я только повторяю.

Лев смотрел на неё. Пот стекал у него по виску. Глаза за маской были мокрыми — от хладагента или не только.

— Сорок секунд, — сказал он.

— Сорок.

— Ты будешь смотреть?

— Я буду держать свет, — сказала Васса.

Он закрыл глаза.

— Ордис, — сказал он. — Я… передумал.

ЗАПИСЫВАЮ, — ответила пластина. — СОГЛАСИЕ. ВРЕМЯ.

* * *

Это заняло сорок секунд. Васса считала.

Тонкая лента — тоньше волоса — вышла из стены за спиной Льва, коснулась его шеи сбоку, под ухом, и замерла. Лев дёрнулся. Потом расслабился. Огоньки в ленте побежали — быстро, плотно, — и Васса видела, как у Льва меняется лицо: не выражение, а цвет. Серое уходило. Дыхание стало реже. Двадцать шесть. Двадцать два. Восемнадцать.

На тридцать девятой секунде лента ушла.

Лев открыл глаза. Моргнул. Вдохнул — глубоко, полной грудью, как вдыхают, выйдя на улицу из душного помещения, — и не закашлялся.

— Ох, — сказал он. — Ох. Это…

— Как ты?

— Хорошо. — Он прислушался к себе, удивлённо, как прислушиваются к ноге, которая перестала болеть. — Правда хорошо. Горло саднит. А дышать — легко.

— Отёк?

ОСТАНОВЛЕН, — написал Ордис, не оборачиваясь. — ДО ПОЛНОГО ЗАЖИВЛЕНИЯ — СУТКИ. НЕ ВДЫХАЙТЕ БОЛЬШЕ ВАШ ОХЛАДИТЕЛЬ. ОН ЯДОВИТ. ЭТО ЗНАЮТ ДАЖЕ ПОСМЕРТНИКИ.

Лев засмеялся — коротко, слабо, хрипло. Потом стянул маску с лица, вдохнул ещё раз, без неё, тёплый, хлебный воздух платформы, и посмотрел в сторону кармана, где лежал Глеб, где работали руки Ордиса и светились ленты.

— Слушай, — сказал он Вассе. — А ведь он сейчас стоит там, где ему положено. Глеб. Он же у нас старпом. Он всегда первый идёт.

Васса посмотрела на него.

— Кто?

— Глеб. — Лев нахмурился. — Он же… — Он замолчал. Моргнул. Потёр лоб. — Ну, он же старший помощник. Нет?

— Глеб — связист, — сказала Васса. — Архивы и связь. Старпома у нас нет.

— Да, — сказал Лев. — Да, конечно. Связист. — Он снова потёр лоб. — Я… не знаю, почему сказал. Голова, наверное. Гипоксия.

— Наверное, — сказала Васса.

Она взяла свой журнал, открыла на странице, где утром написала: «Если я ошиблась — пусть это будет видно», — и ниже, мелко, сбоку, на полях, приписала:

Л. Кац после подключения (40 сек.) назвал Г. Н. «старпомом». Списывает на гипоксию. Проверить.

Закрыла журнал. Посмотрела на часы. Посмотрела на монитор — капиллярная трубка, хомут, сорок два в минуту, ровно.

Потом села на мягкий пол рядом с Львом и стала ждать.

* * *

Он открыл глаза на девятом часу.

Васса не спала. Лев спал — свернувшись на полу, подложив под голову фонарь, — и дышал ровно, без хрипа. Монитор показывал теперь не сорок два, а шестьдесят один, — Ордис час назад начал «переводить насос на собственный», как он написал, и тёмная жидкость в ленте у груди Глеба пульсировала теперь чаще, неровнее, по-человечески.

Ленты уходили. Медленно, одна за другой, втягиваясь в стены, как втягивались они у многоножки. Под лентами было тело — бледное, но уже не серое, с розовыми, живыми ногтями. Ссадина на виске затянулась тонкой новой кожей. Правое плечо лежало ровно.

Последней ушла лента изо рта. Глеб кашлянул — коротко, судорожно. Вдохнул. Выдохнул.

И открыл глаза.

Васса наклонилась над ним. Взяла его за руку — тёплую, живую, с пульсом, который она почувствовала сразу, большим пальцем, на запястье: шестьдесят четыре, ровный. Он смотрел на неё. Глаза были мутными, как у человека, которого разбудили посреди сна, — потом прояснились. Он узнал её, она видела. Губы шевельнулись.

— Картридж, — сказал Глеб. Голос был сиплым, слабым, но его. Его голос. — Тринадцать. Опечатан?

Васса не знала. Она не была в резервном посту. Она не видела решётку архива с тех пор, как всё началось.

— Опечатан, — сказала она.

— Три пломбы?

— Три.

Он закрыл глаза. Выдохнул — длинно, как выдыхают от облегчения. Потом его правая рука — та, что не держала Васса, — медленно, с трудом поднялась и легла ему на грудь, туда, где под рубашкой, на шнурке, должен был висеть ключ. Пальцы ощупали ткань. Ничего не нашли.

Он открыл глаза снова.

— Где мой ключ? — спросил он.

Васса смотрела на него. Вот так спросил бы он — Глеб, который ставит три пломбы, который носит ключ даже в душе. Сначала про картридж. Потом про пломбы. Потом про ключ. Именно в таком порядке.

Или не он. Тот, кого построили по карте, которую она отдала, — по вчерашнему снимку, по его «точке отсчёта», — тоже спросил бы именно так. Именно в таком порядке. Карта была точной. Карта была его.

Она не знала. Она держала его за руку, чувствовала его пульс большим пальцем — шестьдесят четыре, ровный, живой — и не знала.

— Ключ у Дины, — сказала она. — Он упал, когда тебя выносили. Она подобрала.

— Хорошо, — сказал Глеб. — Хорошо. Дина не выбросит.

И уснул.

Васса посидела ещё немного, держа его руку. Потом отпустила. Достала журнал, открыла на той же странице. Под «Проверить» написала ещё одну строку — коротко, прямыми буквами, без подписи, потому что подпись уже стояла выше:

Очнулся на 9-м часу. Первые слова — о картридже, пломбах, ключе. Как спросил бы он.

Подумала. Дописала:

Как спросил бы тот, кого построили по его карте.

И закрыла журнал, и положила его на колени, и сидела в тёплом хлебном свете платформы, слушая, как рядом дышат двое — оба ровно, оба живые, — и не знала, сколько из этих двоих она спасла.

Глава 7. Маленький служащий

В очереди стояло девятнадцать поступлений, и восемнадцать из них Квель мог оформить до конца смены.

Он знал это по тому, как лежали графы. Графы лежали всегда — в воздухе приёмной, над головами стоящих, как стоит над полем лёгкий туман, который видят только те, кто долго в нём работал. Квель видел их тридцать четыре цикла. Над каждым поступлением висел его неоформленный статус: тусклый, расплывчатый, с рваными краями, — и, когда Квель брал дело, статус начинал проясняться, края становились ровными, графы заполнялись одна за другой, и к концу оформления над поступлением висела чёткая, твёрдая, правильная форма, как висит над ребёнком его имя, когда его наконец произнесли вслух.

Восемнадцать — да. Девятнадцатое — нет. Девятнадцатое стояло в самом конце очереди и было маленьким, круглым, бледно-розовым, с тремя короткими ногами, на которых оно переминалось, будто стояло на горячем. Над ним висела графа, которую Квель видел издалека и от которой у него с утра ныл четвёртый сустав левой средней руки — тот самый, что поддерживался механизмом только при действующем должностном контракте. Графа была такая: «Регистрация родства. Родственник: исключён из реестра. Основание исключения: не подлежит раскрытию».

Такие графы нельзя было оформить до конца. Их можно было только отклонить. Квель отклонял их тридцать четыре цикла. Каждый раз — по форме, без ошибок, с полной вежливостью. И каждый раз сустав ныл.

— Следующий, — сказал он.

Голова его стояла на столе, в футляре, и смотрела на очередь шестью глазами. Пятью — точнее: шестой, нижний левый, следил за руками, которые сейчас ставили печать на деле шестнадцатого поступления, — высокой стопки пластин, просившей перерегистрации места хранения. Руки работали сами. Он давно не думал, что они делают; так не думают о том, как дышат. Восемь рук, восемь специализаций. Две для бумаг, одна для печатей, одна для подписи — эта сейчас лежала на краю стола, в чехле с биркой «в залоге» — и четыре прочих: пинцетная, перемещающая, удерживающая и та, тонкая, с пальцами, которую он про себя называл «вежливой» и которой подавал заявителям бланки.

Подписывал он сегодня ступнёй. Это было неудобно — нужно было отодвигать стул и поднимать ногу на край стола, и стопка пластин смотрела на это без всякого выражения, а розовое поступление в конце очереди — с ужасом, который Квель видел по тому, как дрожат три его коротких ноги. Он извинился перед стопкой. Стопка не ответила. Пластины редко отвечают.

— Простите, — сказал он ещё раз, уже розовому, когда очередь сдвинулась и оно оказалось вторым. Это было «простите» номер два: неловкость. Он не знал, понимает ли розовое разницу.

Розовое не понимало. Оно смотрело на его ногу на столе.

* * *

Девятнадцатое дошло до стола через сорок минут. Квель к тому времени уже знал, что случится дальше, — знал так, как знают конец давно читанной книги, и всё равно читают, потому что книга — служебная, и дочитывать обязательно.

— Регистрация родства, — сказал он. Голос шёл из футляра, через служебный шнур, через говорилку на ребре стола; голова его в это время смотрела на розовое всеми шестью глазами. — Вы заявляете родство с исключённым из реестра.

— Да, — сказало розовое. Говорило оно тонко, с придыханием, и неправильно ставило ударение в слове «исключённый» — на второй слог, как говорят в Нижних квартальных, где

Квель не бывал много циклов. — Это моя… это мой… — Оно замялось, подбирая слово. — Это было моё.

— «Было», — повторил Квель. — Вы хотите сказать: «он был моим»? Или: «я был его»?

— Я не знаю, — сказало розовое. — Его исключили. Мне сказали — раз исключили, значит, не было. А я помню, что было.

— Ударение, — сказал Квель. — Простите. Ударение — на третий слог. Исключённый. Если в графе будет записано с неправильным ударением, графу вернут.

Это было «простите» номер один: официальное предупреждение. Он знал, что это глупо. Розовое пришло зарегистрировать родство с тем, кого больше нет в реестре, а он поправляет ему ударение. Но если в графе будет неправильное ударение, графу действительно вернут. Это он знал точно. Он тридцать четыре цикла видел, как возвращают графы.

— Исключённый, — сказало розовое. Правильно.

— Хорошо. — Квель придвинул к себе бланк вежливой рукой. — Основание исключения: не подлежит раскрытию. Значит, я не могу проверить, было ли родство до исключения. Значит, я не могу зарегистрировать родство. Это не отказ в помощи. Это подтверждение, что вы обратились в учреждение, которое не вправе помогать.

Он говорил это много раз. Слова выходили ровно, без запинки, правильно поставленные, с правильными ударениями.

Розовое стояло перед столом и не уходило. Три коротких ноги перестали дрожать. Оно просто стояло — так, как стоят, когда некуда идти.

Квель смотрел на него всеми шестью глазами. Сустав ныл.

Потом пинцетная рука — сама, без приказа, или почти без приказа, — взяла с края стола маленький штамп. Не служебный. Служебные лежали в ящике и были пронумерованы. Этот был старый, без номера, с истёртой резиной, и Квель не помнил, откуда он у него. Знал только, что штамп ставит отметку, которую реестр не читает. Не графу — отметку. Маленький кружок в нижнем левом углу бланка, без текста, без номера. Реестр его не видел. Но любой, кто взял бы бланк в руки и знал, куда смотреть, — увидел бы.

Рука поставила кружок. В нижний левый угол. Быстро, коротко, как ставят точку.

— Отказ, — сказал Квель. И протянул бланк вежливой рукой. — Возьмите. Сохраните. Не потеряйте.

— Зачем? — спросило розовое. — Это же отказ.

— Это отказ, — согласился Квель. — Отказы тоже надо хранить. — Он помедлил. Потом сказал — коротко, совсем другим голосом, без говорилки, тихо, так, чтобы шорох его собственной речи дошёл до розового напрямую, через воздух, мимо служебного шнура: — Кружок в углу. Не показывайте его в Реестрате. Покажите на Меже, в Обществе. Скажите — от Квеля. Они поймут.

Розовое посмотрело на кружок. Потом — на него. Потом взяло бланк, свернуло его в маленькую трубочку и спрятало куда-то в складку бледной кожи. И ушло — переминаясь на трёх ногах, как будто пол всё ещё был горячим.

Квель смотрел ему вслед. Сустав перестал ныть. Это было странно: обычно после таких дел он ныл сильнее.

Потом на ребре стола, у говорилки, загорелся служебный огонёк — тёмно-синий, приоритетный. Новое поступление. Вне очереди.

* * *

Над новым поступлением графы лежали так, как Квель не видел никогда.

Он смотрел на них с экрана приёмного терминала — на изображение объекта, который буксиры только что затащили в девятый док, — и не мог понять, что видит. Обычно над поступлением висел один статус, мутный, неоформленный, ждущий. Над этим висело три. Три разных статуса, наложенных друг на друга, как наложены друг на друга три листа тонкой бумаги,

сквозь которые просвечивает свет. Один говорил: поступление, объект, владение не установлено, доставка исполнена. Второй: действующие контуры, требование сохранности, исполнено частично. Третий: носители сведений, изоляция, исполнено частично, подтверждение удаления ожидается.

Три статуса не совпадали. Края у них были рваными — у каждого по-своему. И там, где они накладывались, получалось что-то вроде муара: рябь, пятна, полосы, от которых у Квеля заболели все шесть глаз.

А под ними, мельче, была графа численности.

«Носители: 9. Разногласных: 1».

Квель увеличил. Восемь контуров были телесными, локализованными, понятными: восемь пятен тепла, восемь дыханий, восемь сердцебиений, разбросанных по отсекам объекта. Один — разногласный — был отмечен двумя записями сразу: одна запись лежала на объекте, другая — на медицинской платформе Секциона, пришвартованной к его борту. Один контур в двух местах. Квель видел такое. Редко, но видел. Это бывало, когда Свидетель забирал кого-нибудь на сохранение и не успевал оформить передачу.

А девятый…

Девятый был не локализован. Квель увеличил ещё. Графа местоположения у девятого контура была заполнена странно: «распределён по объекту». Не в отсеке, не в теле — по объекту. Как если бы объект сам был немного живым. Квель видел и такое — у Ошибок, у некоторых Протоколов, у тех, кто когда-то был службой и стал кем-то. Но у поступлений извне — никогда.

— Квель, — сказал служебный голос из говорилки. Голос был ровный, бесполый, такой, каким говорят графы, когда их оформляет кто-то выше. — Поступление в девятом доке. Распределено вам. Явиться лично.

— Лично? — переспросил Квель. — Я веду очередь.

— Очередь передана. Явиться лично. Основание: поступление с заявлением. Заявление требует личного приёма.

— Кто распределил?

Пауза. Короткая, рабочая.

— Подпись на распределении — Варгесс.

Квель замолчал. Все шесть глаз в футляре смотрели на огонёк говорилки.

Варгесс не распределял поступления. Варгесс вообще ничего не распределял лично; Варгесс подписывал то, что распределяли другие, — подписывал в огромных количествах, не глядя, как подписывают дыханием. Если на распределении стояла его подпись, значит, кто-то наверху посмотрел на это поступление и решил, что его надо отдать Квелю.

Квель не знал почему. Он подозревал. Подозрения у него были нехорошие.

— Принято, — сказал он.

* * *

Голову он носил под мышкой.

Это была дорожная конфигурация: футляр отсоединялся от стола, служебный шнур сматывался в катушку на боку футляра, и футляр брала удерживающая рука — четвёртая, сильная, с широкой ладонью, — и прижимала к телу, слева, на уровне пояса. Так было удобно рукам. Неудобно было глазам. Шесть глаз смотрели теперь с высоты пояса, и весь мир поворачивался к нему коленями, ремнями, нижними краями столов, и, чтобы посмотреть кому-нибудь в лицо, Квелю нужно было поднять собственную голову удерживающей рукой на уровень плеча и держать её там, вытянув руку, как держат фонарь.

Он делал это редко. Обычно незачем.

С ним шёл исполнитель — так полагалось при личном приёме поступлений неустановленного владения. Исполнитель был большим. Выше Квеля втрое, широким, медленным,

сплошь покрытым тусклыми пластинами, на которых проступали номера разных эпох. У исполнителя не было головы — были манипуляторы, гидравлика, пресс и двадцать четыре мерных щупа, которыми он определял объём поступления для приведения к стандартной форме хранения. Исполнитель не умел разговаривать. Он умел исполнять. Квель шёл впереди, исполнитель — сзади, и Квель слышал, как пластины на нём трутся друг о друга со звуком, который в Нижних квартальных называли «счёт».

Девятый док был старым — одним из тех, где стены ещё помнили первую разметку, а пол был истёрт до гладкости тысячами поступлений. Объект висел в захватах посередине дока: белый, вытянутый, с вмятинами на боку, с рваной щелью у кормы, в которую уже кто-то вставил временный пластырь — Квель видел по графам, что это сделал Свидетель, медицинская платформа, ещё до доставки. Буксировочные зажимы держали объект в трёх точках. Зажимы были старыми — Квель знал каждый, они чинились в его доке много циклов, у одного была синяя заплата, которую ставил Тевек из ремонтной ещё до того, как его исключили.

Шлюз объекта был открыт. Перед шлюзом стояли двое.

Квель поднял голову.

* * *

Они были странными. Не уродливыми — странными, как бывает странной вещь, которую видишь первый раз и не знаешь, где у неё верх. Две ноги, две руки, одна голова — голова на плечах, а не в футляре, и Квель подумал, что им, наверное, очень трудно, если голову невозможно снять. Лица маленькие, плоские, с двумя глазами — всего двумя! — и одним ртом. Они были покрыты тканью, тёмно-синей, с нашивками. У одной — у той, что стояла впереди, — на груди висела латунная пластинка с выбитыми знаками.

Над обеими графы лежали мутно, тремя слоями, как над всем объектом.

Та, что стояла впереди, посмотрела на него — на его тело, потом вниз, на футляр у пояса, потом снова на тело. Она не вздрогнула. Квель это отметил. Почти все вздрагивали, когда понимали, что смотрят не туда.

Он поднял голову выше, на уровень её лица. Вытянул удерживающую руку. Шесть глаз оказались напротив её двух.

— Простите, — сказал Квель.

Говорилка в футляре заработала с короткой задержкой. Квель знал, что сейчас услышат эти двое: в Реестрате для поступлений извне держали переводческий адаптер — старую, капризную машину, которая составляла язык поступления из того, что поступление само о себе сообщало. Обычно адаптеру хватало заявления. У этих заявление было скудным — сорок категорий, числа, — и адаптер, как сообщили Квелю перед выходом, добрал недостающее «из каналов поступления, доступных при доставке». Квель не стал спрашивать, что это значит. Он подозревал. Подозрения у него и тут были нехорошие.

— Простите за ожидание, — сказал он. Адаптер повторил на их языке, низким ровным голосом, который Квель не слышал, но видел — по тому, как изменились лица. — Я — Квель. Исполнитель приёма Реестрата, младший. Я принимаю ваше поступление.

— Виктория Шталь, — сказала та, что впереди. Адаптер переводил. — Капитан. Это Ариадна Лем — наш… переводчик.

— Переводчик, — повторил Квель. — Хорошо. Вы заявили — лица. Восемь.

— Да.

— Реестр насчитывает девять.

— Мы знаем, — сказала капитан. — Это ошибка.

— Реестр не ошибается в счёте, — сказал Квель. — Реестр ошибается в том, что считает. Это разные ошибки. Вторую я могу исправить. Первую — нет.

Вторая — Ариадна — посмотрела на него иначе. Квель увидел это даже с высоты вытянутой руки: она смотрела не на голову, не на тело, а на то, как он говорит. На паузы. Он вспомнил, что переводчиков у поступлений бывает мало, и что они всегда смотрят так — на паузы.

— Что вы можете исправить? — спросила Ариадна.

— То, что реестр считает вас объектом.

— Можете?

— Нет, — сказал Квель. — Простите. Не сейчас.

Это было «простите» номер три. Он сам не ожидал. Он хотел сказать номер один, официальное, — и сказал номер три, искреннее, — и увидел, что Ариадна это услышала. По её лицу пробежало что-то, чему он не знал названия.

* * *

Внутри объекта пахло. Квель отметил это сразу, как только вошёл в шлюз, — и удивился, потому что поступления редко пахли чем-то интересным. Обычно — пустотой, металлом, мёртвым воздухом. Здесь пахло множеством вещей, и все были новыми. Чем-то горелым и сладковатым — изоляцией, решил он. Чем-то резким, медицинским. Чем-то тёплым и сырым, похожим на землю в оранжереях Секциона. И — откуда-то из глубины, из-за двери в соседнее помещение, — мятой и припоем. Квель не знал, что это мята и что это припой. Он просто знал, что это хорошо. Он не помнил, когда последний раз что-нибудь пахло хорошо.

В помещении их было четверо. Капитан, переводчица. Маленькая самка в оранжевом, с порезами на пальцах. Ещё одна, мягкая, в сером, которая стояла у стены так, чтобы видеть всех, — Квель сразу понял, что она смотрит на него иначе, чем остальные, и что смотрит она не на голову, не на тело и не на паузы. Она смотрела на то, как он держит голову. На руку. На то, как напряжена рука.

Он опустил голову обратно к поясу. Рука устала.

— Процедура, — сказал Квель. С пояса, глядя на их колени. — Я объясню. Уведомление. Выяснение статуса. Угроза физического изъятия. Подача временного обращения. Переговоры о доступе к ремонту. Местное снабжение. Шесть шагов. Мы на первом.

— Угроза физического изъятия, — сказала капитан. — Объясните третий шаг.

— Объект неустановленного владения подлежит приведению к стандартной форме хранения, — сказал Квель. — Исполнитель, который пришёл со мной, производит замеры. Затем приводит.

— Приводит — как?

— Прессом, — сказал Квель. Он не знал, как сказать иначе. — К стандартному объёму. Чтобы поступление можно было разместить на складе до установления владения.

В помещении стало тихо. Квель видел по графам — по трём мутным слоям, — что слово дошло. Переводчица что-то быстро сказала капитану на их языке, без адаптера. Капитан не ответила. Она смотрела на дверь в соседнее помещение, через которое исполнитель — Квель только сейчас это понял — уже прошёл.

Он не заметил. Он думал о мяте.

— Где исполнитель? — спросила капитан.

Квель повернулся. Удерживающая рука подняла голову повыше. Через открытую дверь в соседнее помещение — грузовое, понял он по графам, большое, заставленное ящиками, — он увидел пластины исполнителя, тусклые номера разных эпох, двадцать четыре мерных щупа, уже развёрнутых, уже ощупывающих ящики, стены, пол. Исполнитель не ждал. Он никогда не ждал. Ему не нужно было разрешение Квеля, чтобы мерить. Мерить — это был второй шаг, а второй шаг начинался автоматически, как только первый — уведомление — считался полученным. Квель уведомил. Капитан ответила. Уведомление получено.

Щупы закончили мерить. Пластины на спине исполнителя сдвинулись — с тем самым звуком, «счёт», — и пресс начал опускаться.

Под прессом, у дальней стены грузового помещения, на коленях, среди ящиков, кто-то стоял. Квель увидел это шестым глазом, нижним левым, тем, что обычно следил за руками, — и все пять остальных глаз тоже метнулись туда. Самец — высокий, широкий, в тёмном рабочем, с инструментом в руке, с перевязанными ладонями. Мятой и припоем пахло от него. Он что-то делал с ящиком у стены и не смотрел вверх.

Пресс опускался медленно, как опускается вечер.

— Простите! — сказал Квель.

Он сказал это не через говорилку. Говорилка была бы слишком медленной — адаптер, задержка, перевод. Он сказал это сам, своим ртом, всеми ртами сразу, на своём языке, шорохом, щелчками, — так громко, как не говорил никогда за тридцать четыре цикла. «Простите» номер четыре. То, которое останавливает.

Они не поняли слова. Они не могли понять. Но звук был такой, что самец у стены поднял голову — и увидел пресс — и прыгнул вбок, через ящик, неуклюже, всем телом, как прыгают те, у кого нет запасных рук.

Пресс опустился на место, где он только что стоял. Ящик под ним сложился, как складывается бумага. Хрустнуло. Что-то внутри ящика лопнуло со звоном. Потом пресс замер на половине хода — уровень, на котором, по замерам, поступление должно было принять стандартный объём, — и исполнитель перешёл к следующему ящику.

Самец лежал на полу у стены. Живой. Квель видел по графам: дыхание, тепло, сердцебиение — частое. Маленькая, в оранжевом, уже бежала к нему, перепрыгивая через ящики.

— Макар! — кричала капитан.

— Живой, — ответил оттуда он сам, хрипло. — Живой. Палец, кажется… Ничего. Живой.

Капитан повернулась к Квелю. Её лицо — маленькое, плоское, с двумя глазами — было совершенно спокойным. Квель уже понял, что это у неё значит.

— Остановите его, — сказала она.

— Не могу, — сказал Квель. — Он исполняет шаг. Шаг не останавливается приказом. Шаг останавливается изменением статуса.

— Тогда измените статус.

— У меня нет таких полномочий.

— Тогда что вы можете?

Квель стоял посреди их помещения, с головой у пояса, и смотрел на её колени. В грузовом исполнитель опускал пресс на следующий ящик. Звук «счёт». Хруст.

Что он мог?

Он мог отклонить. Это он умел лучше всего. Он мог поставить кружок в нижнем левом углу, который реестр не читает. Это не остановит пресс. Он мог…

Он знал, что он мог. Он знал это с того момента, как увидел подпись Варгесса на распределении. Варгесс отдал ему это поступление, потому что знал: Квель сделает то, что сделает. Потому что Квель всегда делал. Тридцать четыре цикла — в его папке. На полке над столом, рядом с документами на недостающие фрагменты его тела.

— Временное защитное исключение, — сказал он. Сам себе. Говорилка перевела, и капитан услышала. — Поступление с заявлением, содержащее действующие контуры, подлежит хранению в состоянии жизнеобеспечения до установления владения. Без приведения к стандартному объёму.

— Это значит — нас не раздавят?

— Это значит, вы — имущество на ответственном хранении, — сказал Квель. — Живое. С заявлением. Это хуже, чем лица. Это лучше, чем груз.

— Вы можете это сделать?

— Нет, — сказал Квель. — Права классифицировать контуры у меня нет. У меня есть шаблон. Старый. Его можно применить, если не проверять, кто применяет.

— А если проверят?

— Проверят, — сказал Квель. — Всегда проверяют.

Капитан смотрела на него. Потом сказала:

— Делайте.

* * *

Подписывать было нечем.

Рука для подписи лежала в чехле на его столе в приёмной — он её оставил там, как оставлял всегда, когда уходил на личный приём: рука в залоге не выносится за пределы рабочего места. А ступня — ступня здесь, на полу чужого помещения, где нет стола.

Квель посмотрел на капитана снизу вверх.

— Мне нужна поверхность, — сказал он. — На уровне… — Он помедлил. — На уровне колена.

Капитан смотрела на него секунду. Потом — молча, без единого слова, — опустилась на одно колено, прямо на пол, среди сорванных с креплений вещей, сняла с груди латунную пластинку, положила её на колено, ровной стороной вверх, и протянула ему.

Квель понял не сразу. Потом понял. Она предлагала свою пластинку — свой знак, свою фамилию, выбитую в металле, — как подложку. Как стол.

Пинцетная рука достала из футляра у пояса бланк. Вежливая рука расправила его на пластинке, у капитана на колене. Перемещающая рука вынула из кармашка на боку тела старый шаблон — истёртый, с пометками на полях, сделанными его собственной рукой для подписи, когда она ещё не была в залоге. Квель приложил шаблон к бланку. Графы над объектом дрогнули — все три слоя сразу, — как дрожит вода, когда в неё бросают камень.

Потом он поднял ступню. Поставил её на бланк — на пластинку — на колено капитана. И подписал.

Капитан не шелохнулась. Она держала колено ровно, как держат стол.

В грузовом помещении звук «счёт» оборвался. Пресс, опускавшийся на очередной ящик, остановился на полпути. Исполнитель замер. Его двадцать четыре щупа медленно, один за другим, втянулись. Пластины сдвинулись обратно. На экране у шлюза, где Квель видел графы объекта, верхний слой — «поступление, объект» — помутнел, сдвинулся, и под ним проступил новый: чёткий, твёрдый, с ровными краями. «Имущество на ответственном хранении. Живое. С заявлением. Приведению к стандартному объёму не подлежит».

Исполнитель развернулся и пошёл к шлюзу. Мимо Квеля, мимо капитана, стоящей на одном колене. Пластины тёрлись друг о друга. Номера разных эпох. Он ушёл, не оглянувшись, — ему нечем было оглядываться.

Капитан встала. Надела пластинку обратно на грудь. Посмотрела на экран у шлюза, где новый статус висел над их кораблём, твёрдый, правильный, с ровными краями, — и Квель увидел, что она смотрит на него долго, неподвижно, и что в её маленьком плоском лице что-то складывается, раскладывается, складывается снова.

— Значит, так, — сказала она. Не ему. Себе. Тихо. Адаптер перевёл, и Квель услышал. — Не физика. Не сила. Не броня. Графа.

— Графа, — согласился Квель.

— Одна графа — и машина весом в сто тонн разворачивается и уходит.

— Да.

— И одна графа — и она приходит снова.

— Да, — сказал Квель. — Простите.

* * *

Уведомление пришло, когда он был уже в шлюзе.

Он почувствовал его раньше, чем увидел: служебный шнур, смотанный на катушке футляра, дёрнулся, как дёргается леска, и через шнур в голову пошёл холод. Не боль — холод. Ровный, неторопливый. Огонёк на ребре футляра загорелся тёмно-красным.

Квель поднял голову к глазам — сам к себе, — и прочёл.

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ИСПОЛНИТЕЛЬ КВЕЛЬ. ПРИМЕНЕНИЕ ШАБЛОНА ВНЕ ПОЛНОМОЧИЙ. ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ. ВЗЫСКАНИЕ: ПРИОСТАНОВКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОНЯТЕЛЬНОГО КОНТУРА ДО РАССМОТРЕНИЯ.

Повторное. Он перечитал это слово. Повторное. Не второе, не третье — повторное. Без номера. Номера давно никто не считал.

Холод дошёл до головы.

И запахи ушли.

Не сразу — один за другим, как гаснут огни в приёмной в конце смены. Сначала ушёл медицинский, резкий. Потом горелая изоляция. Потом тёплая сырая земля. Последним, дольше всех, держался мятный, с припоем, — от самца, который стоял в двух шагах, в дверях грузового, опираясь на плечо маленькой в оранжевом, и прижимал к груди перевязанную руку с неловко отставленным пальцем, и смотрел на Квеля.

Мята продержалась ещё три вдоха. Квель считал. Потом ушла и она.

Стало никак. Совсем никак. Как в любом другом поступлении — пустота, металл, мёртвый воздух. Только теперь Квель знал, что это не воздух мёртвый. Это он.

— Что-то случилось? — спросила переводчица. Она стояла рядом с капитаном, и смотрела на него — опять на паузы.

— Ничего, — ровно сказал Квель через говорилку. — Процедура. Шаг четвёртый — подача временного обращения — исполнен. Шаг пятый — переговоры о доступе к ремонту — назначены. Я вернусь.

— Когда?

— Когда назначат.

Мягкая самка в сером, та, что стояла у стены, отделилась от стены. Подошла. Остановилась в шаге от него — не над ним, а сбоку, так, чтобы ему не пришлось поднимать голову. Посмотрела вниз, на футляр у его пояса, на тёмно-красный огонёк.

— Вас наказали, — сказала она. Мягко, ровно. Адаптер перевёл. — Только что. За то, что вы сделали для нас.

Квель смотрел на её колени. Колени не двигались. Она стояла очень спокойно.

— Нет, — сказал он. — Меня наказали за то, что я сделал. Для кого — в графе не указывается.

— Что у вас отняли?

Он помедлил. Он мог не отвечать. Ответ не входил ни в один из шести шагов.

— Запах, — сказал он.

Мягкая самка ничего не сказала. Она только чуть-чуть наклонилась — едва заметно, — и Квель понял, что она запоминает. Его. То, как он держит голову. То, как он ответил. Так запоминают графы, которые потом пригодятся.

Он не знал, хорошо это или плохо. Он поднял голову под мышкой, развернулся и пошёл из шлюза — в док, по истёртому полу, мимо зажима с синей заплатой Тевека, — туда, где у стены ждала его тележка до приёмной. За спиной у него закрывался шлюз чужого объекта, и Квель шёл и думал — не графами, а так, как думал редко, только когда никто не видел, — коротко, просто: мята. Это была мята. Он не знал слова. Он узнает. Он спросит у переводчицы.

Если ему когда-нибудь вернут обоняние, он хотел бы знать, как это называлось.

Глава 8. Кто был девятым

Лев разложил их на медицинском столе, как пасьянс.

Четыре листа. Он любил, когда можно было разложить. В голове всё лежало кучей — вероятности, страхи, обрывки, — и куча давила, как давит на грудь мокрое одеяло. А на столе, разложенное в ряд, всё становилось отдельным. У каждой бумажки были края. У каждой — своё место. Можно было переводить взгляд с одной на другую и не держать в голове все сразу.

Первый лист — распечатка эха. Их опознавательный пакет внутри чужого конверта, а в поле численности экипажа — «9». С.О.Н.Я. напечатала её по его просьбе на корабельном принтере, после того как Макар воткнул обратно сервисную шину, уже без чужого щупа в разъёме. Принтер, кажется, обиделся: печатал медленно, с паузами, и лист вышел чуть косым.

Второй лист — журнал командного канала. Выдержка из живого архива, архива А, — то, что С.О.Н.Я. смогла восстановить после аварии. Восстановила она не всё. Там, где шла авария, журнал был дырявым: строки обрывались, отметки времени прыгали, в двух местах стояло слово, которого С.О.Н.Я. раньше никогда не писала, — «реконструировано», — и рядом пометка: «достоверность не подтверждена».

Третий лист был тёплым. Его принёс с платформы Ордис — сам, в одной из своих шести или восьми рук, — и отдал Вассе со словами, которые Васса потом пересказала: «Это ваш экземпляр. Свой я храню». Это была медицинская запись Свидетеля, на языке первого контакта, с той же разметкой конвертов в конвертах, что и эхо. Ариадна перевела её за двадцать минут. Перевод был коротким:

КОНТУР: НОРВИН Г. ПРИНЯТ НА СОХРАНЕНИЕ: [ВРЕМЯ]. СОСТОЯНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ: УГРОЗА НЕОБРАТИМОЙ ПОТЕРИ. ИСХОД: КОНТУР ФУНКЦИОНИРУЕТ.

[Время] Ариадна перевела в корабельное. Получилось: 13:41.

Четвёртый лист был картонкой. Белой, мятой, сложенной вчетверо и снова развёрнутой, с крупными печатными буквами, написанными маркером в толстой перчатке. Дина отдала её Льву сама, когда он попросил, — молча, не спрашивая, зачем. Только сказала: «Верни».

13:52 — Г. Норвин в проходе за постом. Дышит редко.

13:58 — Г. Н. не дышит.

13:58 — объект продолжает.

Лев положил палец на третий лист. 13:41. Потом — на четвёртый. 13:52.

Свидетель принял Глеба на сохранение в 13:41. А Дина нашла его живым, дышащим, в маске, в проходе за постом, в 13:52.

Одиннадцать минут.

Одиннадцать минут Глеб числился у Свидетеля принятым — и всё это время лежал на полу прохода, и полз к лазу, и Дина поправляла ему маску. Одиннадцать минут его уже забрали. А потом, в 13:55, за ним пришли.

Лев смотрел на два листа. Края. Места. Отдельность. Почему-то легче не становилось.

* * *

— Ты опять раскладываешь, — сказала Васса.

Она вошла в медблок бесшумно, как всегда, — или Лев просто не услышал, — и встала у стола, глядя на его четыре листа. Она не спала, наверное, вторые сутки. Под глазами у неё было тёмное, а руки — Лев посмотрел на её руки — руки были спокойными. У Вассы всегда были спокойные руки. Даже на платформе, когда Сефра предлагала вырезать из Глеба привычку. Даже тогда Лев видел, что руки у неё дрожат, только когда она сунула их в карманы.

— Одиннадцать минут, — сказал Лев.

— Что?

Он показал. 13:41 — 13:52. Васса посмотрела. Наклонилась ниже. Посмотрела ещё раз.

— Время записи, — сказала она. — Не время события. Они открыли на него дело в 13:41. Это не значит, что в 13:41 они его забрали.

— А когда они его увидели?

— Не знаю. Может быть, в 13:41 у него упало давление. Может быть, в 13:41 их датчики засекли, что он в опасности. Может быть, у них так принято — открывать дело, когда угроза появилась, а не когда её устранили. — Она выпрямилась. — У нас тоже. Время вызова в карте — не время, когда врач вошёл в палату.

— Может быть, — сказал Лев.

— Ты не согласен.

— Я не знаю. — Он потёр лоб. Голова у него с утра болела — не сильно, тупо, как болит после долгого сна в неудобной позе. — Вероятность, что это просто время записи, — высокая. Процентов семьдесят. Может, восемьдесят. Но…

— Но?

— Но тогда я хочу знать, что было в 13:41. Где он был в 13:41? Что с ним происходило? Если это время записи — должна быть причина, почему её сделали именно тогда. А второй лист — дырявый как раз там.

Он положил палец на журнал командного канала. Строки в районе 13:40 были как раз из тех, где стояло «реконструировано».

Васса посмотрела. Помолчала.

— Это уже не медицина, — сказала она. — Это к Глебу.

— К Глебу, — согласился Лев. — Да.

Он не сказал ей остального. Того, что засело у него в голове с утра, с того момента, как он проснулся на мягком полу платформы с фонарём под щекой и увидел, как ленты уходят из Глеба в стены. Того, что он помнил — точно, отчётливо, как помнят собственное имя, — и что не совпадало ни с одним из четырёх листов на столе.

Он помнил, как Виктория отправила Глеба на пост.

Он слышал это. Он стоял тогда в коридоре у переборки резервного поста — он не помнил, как туда попал, его не должно было там быть, его место было в командном, — и стоял, и дышал хладагентом, и слышал по общей связи, как Виктория говорит: «Старпом — на пост. Перережь кабель». Ровно, её голосом. Её интонацией — той, в которой не было ничего, кроме слов.

Это было неправдой. Лев знал, что это неправда. Васса сказала ему ещё на платформе: Глеб — связист, старпома у нас нет. И на втором листе, на дырявом журнале командного канала, в одном из уцелевших мест, стояло: «Виктория: Глеб. Уходи с поста. Это приказ». А на тринадцать строк ниже — «Виктория: Две минуты. Потом уходишь».

Значит, всё было наоборот. Она не отправляла его. Она его останавливала.

Но Лев помнил. Голос. Интонацию. «Старпом — на пост». Он помнил это так же ясно, как помнил запах хладагента и холод скобы, на которой лежала рука Макара.

Он никому этого не сказал. Он не знал, как такое говорят. Он не знал, чьё это воспоминание.

* * *

Глеб вернулся на «Порог» к вечеру третьего дня.

Ордис отпустил его не сразу. Сначала — шесть часов наблюдения на платформе, в тёплом хлебном свете, под присмотром Вассы и двух новых лент, тонких, едва заметных, которые лежали у него на запястьях, как браслеты. Потом — короткий разговор, который Васса пересказала Льву потом дословно, потому что Лев попросил. Ордис написал на своей пластине: «Контур функционирует. Тело — восстановлено. Память — частично. Я не знаю, кто он». Васса ответила: «Я тоже». Ордис написал: «Это хорошо. Хуже было бы, если бы кто-то из нас знал».

Потом ленты сняли. Глеб встал. Сам, без помощи, — Васса только держала руку у его локтя, не касаясь, на всякий случай. Он прошёл по платформе, через шлюз-один, в коридор «Порога», и Лев, который ждал там, у шлюза, увидел его первым.

Он шёл медленно. Чуть-чуть неровно, как ходят люди после долгой болезни, когда тело вспоминает, как это делается. На виске — полоска медицинского пластыря, белая. На правой руке, у запястья, ещё одна. Волосы — короче, чем были: Лев не сразу понял почему, потом понял — сожжены инеем, их обрезали. Лицо — его. Совершенно его. Длинное, сухое, с глубокими складками у рта, которые появлялись у Глеба, когда он собирался сказать что-нибудь едкое и сдерживался.

Лев стоял у стены коридора. Коридор был узкий, в полтора плеча, и, чтобы пропустить идущего, нужно было вжаться в стену или отступить в нишу у двери. Лев отступил в нишу — к двери с вмятиной, той, которую на шестом месяце помял Макар, неудачно развернув тележку с инструментами. Он отступил автоматически, как отступал сотни раз, когда навстречу шёл кто-то из своих. Глеб поравнялся с ним.

И Лев остановился.

Не Глеб — Лев. Он уже вжался в нишу, уже приготовился пропустить, — и вдруг замер, и что-то внутри у него сделало тот короткий, неприятный толчок, какой бывает, когда в темноте нащупываешь ступеньку, которой там не должно быть. Он смотрел на Глеба. На лицо, на пластырь, на обрезанные волосы. На то, как он идёт.

Глеб тоже остановился.

— Что? — спросил он.

Лев не знал что. Он не мог бы сказать. Всё было правильно — лицо, рост, голос. Всё было на своём месте. Но Глеб ходил по-другому. Не сильно — чуть-чуть. Он ставил ногу не так. Раньше Глеб ходил по кораблю, держась за поручень правой рукой, всегда правой, даже когда поручень был слева, — Лев однажды пошутил про это, а Глеб ответил, что в детстве сломал левую и не доверяет ей. Сейчас Глеб шёл, держась левой.

— Ты левой держишься, — сказал Лев.

Глеб посмотрел на свою руку на поручне. Левую. Посмотрел так, будто увидел её впервые.

— Правая болит, — сказал он. — Плечо. Ордис говорит — был вывих. Вправили. Ещё неделю будет болеть.

— А, — сказал Лев. — Да. Конечно.

— Ты думал — я забыл?

— Я ничего не думал.

Глеб смотрел на него. Глаза у него были такие же, как всегда, — серые, внимательные, чуть насмешливые, глаза человека, который проверяет контрольные суммы. И Лев увидел в них то, чего никогда раньше не видел: просьбу.

— Лев, — сказал Глеб. — Скажи мне одну вещь. Простую. Я был здесь? Позавчера, за чаем, когда я говорил про анкету. Ты помнишь, что я там был?

— Меня там не было, — сказал Лев. — Я был на вахте.

— А. Да. — Глеб помолчал. — А на сборе? Восемь подписей. Ты помнишь, как я вставлял жетон?

— Помню. Ты попросил С.О.Н.Ю. фиксировать время по секундам.

— Да, — сказал Глеб. И что-то в его лице отпустило. — Да. Я помню, что просил. Значит, я там был.

— Ты там был, — сказал Лев.

— А потом? Захват. Где я был?

— В командном. С Ариадной. Потом…

Потом. Лев помнил. Голос Виктории. «Старпом — на пост».

— Потом тебя отправили на пост, — сказал Лев.

Глеб нахмурился.

— Отправили?

— Ну… да. Виктория. Она сказала по общей…

— Она сказала мне уйти с поста, — сказал Глеб. Медленно, как говорят то, в чём уверены, но что вдруг понадобилось доказывать. — Я сам туда пошёл. Она приказала уйти. Я сказал — по требованию любого. Она дала мне две минуты. Это я помню. Это я точно помню.

— А я помню, как она тебя отправила, — сказал Лев. — «Старпом — на пост».

— Я не старпом.

— Да. — Лев почувствовал, как у него горит лицо. — Да. Ты не старпом. Я знаю. Я не знаю, почему я… Я помню её голос. Это её голос. Глеб, я его помню.

Они стояли в узком коридоре, Лев — в нише у двери с вмятиной, Глеб — посреди прохода, держась левой рукой за поручень. Где-то над ними посвистывала разболтанная заслонка, на той самой частоте, от которой у Льва всегда болела голова. Сейчас голова болела и без неё.

— Где ты стоял? — спросил Глеб.

— У переборки поста. В коридоре. С Макаром.

— А как ты туда попал? Ты должен был быть в командном.

— Не знаю, — сказал Лев. — Не помню.

— Кто тебя туда отправил?

— Не помню.

— А носилки? — спросил Глеб. — Меня выносили на носилках? Ленты — это как носилки? Ты видел?

— Я видел, как тебя вносили на платформу. Ногами вперёд. Нет… головой. Я не помню.

— Головой, — сказал Глеб. — Васса говорит — головой. Она была там. Она записала.

— Тогда головой.

Они помолчали. Глеб смотрел на него — тем же взглядом, с просьбой, — и Лев видел, как эта просьба медленно, на глазах, превращается в другое. В профессиональное. В то, что бывало у Глеба, когда он находил в документе две несовпадающие подписи.

— Ладно, — сказал Глеб. — Ладно. Не надо мне верить. И себе не верь. Мне нужны носители. Исходные. Которые нельзя свести друг к другу. Журнал командного канала — исходный, не реконструированный. Запись Свидетеля. Динина картонка. Мой холодный архив — параллельная копия, я писал её с отдельного тракта до самого конца. Если всё это сложить — получится, как было. Не как мы помним. Как было.

— Холодный архив опечатан, — сказал Лев.

— Я знаю, — сказал Глеб. — Я его опечатывал.

И он пошёл дальше по коридору — медленно, неровно, держась левой рукой, — а Лев остался в нише у двери с вмятиной и смотрел ему в спину.

* * *

За ужином Глеб рассказал анекдот.

Это было ближе к ночи, в кают-компании, куда сошлись почти все: впервые с момента захвата у них был час, когда ничего не горело, не ломалось и не требовало немедленных рук. «Порог» стоял в девятом доке Реестрата, в трёх зажимах, под новым статусом, который Квель оформил ступнёй на колене у Виктории, — «живое имущество на ответственном хранении», — и статус работал: никто больше не приходил их мерить. Снаружи, в доке, иногда проплывали какие-то механизмы, что-то гудело в стенах, и раз в сорок минут по корпусу проходила медленная вибрация, как от далёкого поезда. Внутри было почти тихо.

Виктория разливала чай. Лев смотрел, как она ставит кружки, — шесть, семь, восемь, — и как свою отставляет на край, и думал: она отправила его на пост. «Старпом — на пост». Он слышал. Нет, не слышал. На листе написано — «уходи». Он не знал, чему верить, и поэтому

смотрел на её руки. Руки у неё были спокойными, как у Вассы. Только у Вассы руки были спокойными всегда, а у Виктории — когда она что-то решила и больше не собиралась решать.

Глеб сидел на своём месте, с кружкой с отбитым краем. Пил осторожно, с той стороны, где не было скола. Макар сидел напротив — с перевязанными ладонями, обмороженными о скобу, с пальцем в шине, сломанным, когда он прыгал из-под пресса. Дина — в углу, на своём ящике. Ариадна — у стены, со своим планшетом, на котором она что-то переводила, не поднимая глаз. Изольда — так, чтобы видеть всех.

Восемь, посчитал Лев. Восемь.

— Четвёртый насос опять шумит, — сказал Макар. Ни к кому, в пространство. — Сорок герц. Как до захвата. Я его перебрал. Он всё равно шумит.

— Может, ему просто нравится, — сказала Дина.

— Насосам ничего не нравится.

И тут Глеб сказал:

— Если что-то шумит — значит, оно ещё живое. Бойся, когда замолчит.

Он сказал это легко. Не к месту, не в тему, как вставляют старую поговорку, которая вдруг пришла на ум. И усмехнулся, как усмехаются собственной шутке, которую рассказывали много раз.

Макар засмеялся. Коротко, хрипло, по-своему — как смеялся, когда шутка попадала. А потом — перестал. Не постепенно, а сразу, будто его выключили. Смех оборвался на середине, и стало слышно, как гудит вентилятор.

— Что ты сказал? — спросил Макар.

Глеб посмотрел на него.

— Поговорка. «Если шумит — значит, живое».

— Откуда ты её знаешь?

— От тебя, — сказал Глеб. — Ты же её всегда…

Он замолчал.

Макар поставил кружку на стол. Медленно, обеими перевязанными руками, как ставят что-то, что может разбиться.

— Я её никогда не говорил, — сказал Макар. — На этом корабле. Ни разу. — Он посмотрел на Глеба, потом на всех, по кругу, будто искал, кто подтвердит. — Я её говорил двадцать лет назад. На учебном стенде. Мне её сказал мастер, старый, Кондратьев, он потом умер. Я её помню, потому что он сказал её за час до того, как у крана лопнула стропа. Я её не рассказываю. Никому. Один раз рассказал. Один.

— Кому? — спросила Виктория.

Макар не ответил сразу. Он смотрел не на Викторию. Он смотрел на Изольду.

— На предполётном собеседовании, — сказал он. — Психологическом. Она спросила: есть ли у вас фраза, которую вы помните с юности и которая для вас что-то значит. Я сказал эту. Больше никому.

Изольда сидела неподвижно. Лицо у неё было ровным, мягким, как всегда. Только Лев, который смотрел на руки — он теперь всё время смотрел на руки, — увидел, как её пальцы на коленях медленно сжались.

— Собеседования хранятся в архиве А, — сказала Изольда. — В личных делах экипажа. В разделе психологического сопровождения. Доступ — мой ключ и капитанский.

— Архив А был на сервисной шине? — спросила Виктория.

— Нет. — Изольда помолчала. — Архив А был на ядре. Ядро было закрыто. Но… — Она подняла глаза к потолку, туда, откуда всегда говорила С.О.Н.Я. — С.О.Н.Я., когда ты восстанавливала архив А после аварии — откуда ты брала резервные копии?

— Из архива В, — сказала С.О.Н.Я. — Резервные снимки медицинских и личных дел. Часть из них хранилась на распределённых носителях, включая узел при шлюзе-два. Узел при шлюзе-два был подключён к сервисной шине.

— Сервисная шина, — сказал Макар. — Щуп. Их щуп сидел в разъёме одиннадцать минут.

— Одиннадцать минут, — сказал Лев.

Все посмотрели на него.

— Ничего, — сказал он. — Совпадение. Наверное.

Глеб сидел очень прямо. Кружка стояла перед ним. Он не трогал её.

— Значит, у меня в голове, — сказал он. Голос у него был ровный, профессиональный, такой, каким он докладывал о несовпадении подписей. — Значит, у меня в голове есть кусок твоего собеседования, Макар. Свидетель, когда меня чинил, заполнял пробелы. По карте, которую дала Васса. И ещё — по чему-то из архива В. По тому, что они вытянули через шину. И что-то из этого — твоё.

— Мы не знаем, — сказала Ариадна.

— Мы знаем, что я рассказал анекдот, которого не мог знать.

— Ты мог услышать его от Макара раньше. Он мог рассказать и забыть.

— Я не мог, — сказал Макар.

— Ты мог забыть, что не мог.

— Ариадна, — сказал Макар. — Я помню, где я его рассказал. Я помню, где я его не рассказывал. Это разные вещи, и я их не путаю.

Ариадна замолчала.

Глеб поднял кружку. Посмотрел на неё — на отбитый край. Поставил обратно. Встал.

— Мне нужен холодный архив, — сказал он Виктории. — Параллельная копия. Отдельный тракт, мимо ядра, мимо шины. Если где-то есть запись, как было на самом деле, — она там. Мне нужно её прочитать.

— Архив опечатан, — сказала Изольда.

— Я его опечатывал.

— Именно поэтому, — мягко сказала Изольда. — Ты не можешь его вскрывать. Ты — тот, кого он касается. Ты — заинтересованная сторона.

— Я — единственный, кто знает, как его читать.

— Тем более.

— Изольда, — сказала Виктория.

— Капитан, — сказала Изольда, — я прошу вас. Не сейчас. Мы не знаем, что у него в голове. Мы не знаем, что у любого из нас в голове после этих суток. Если он вскроет архив и прочтёт то, что ему не понравится, — мы не знаем, что он сделает. Я не говорю, что он опасен. Я говорю, что мы не знаем.

Глеб долго смотрел на неё. Потом сказал:

— Ты права.

Изольда моргнула. Она, кажется, не ждала.

— Ты права, — повторил Глеб. — Я — заинтересованная сторона. Я не должен вскрывать. — Он повернулся к Виктории. — Тогда пусть вскроет кто-то другой. Независимый. При свидетелях. По протоколу. Но вскроет.

— Не сегодня, — сказала Виктория. — Сегодня все спят. Завтра — Квель, переговоры о ремонте. Послезавтра решим.

— Послезавтра, — сказал Глеб.

— Послезавтра.

Он кивнул. И вышел. Лев смотрел, как он идёт к двери — медленно, держась левой рукой за спинки стульев, — и думал о том, что правое плечо, конечно, болит. Вывих. Ордис вправил. Ещё неделю.

И всё-таки.

* * *

Ариадну он поймал в коридоре, у её каюты, когда все расходились.

Он не собирался. Он собирался пойти к себе, лечь и попытаться уснуть, и, может быть, к утру голова перестанет болеть, и голос Виктории — «старпом — на пост» — перестанет звучать там, где ему не место. Но Ариадна шла впереди, со своим планшетом, и Лев вдруг понял, что если не скажет сейчас, то не скажет никогда, и что это будет хуже.

— Ариадна, — сказал он. — Можно… минуту?

Она остановилась. Посмотрела на него — внимательно, как смотрела всегда, будто он был фразой, которую нужно правильно разобрать.

— Да.

Он не знал, с чего начать. Поэтому начал с листов.

— Одиннадцать минут, — сказал он. — Свидетель принял Глеба на сохранение в 13:41. Дина нашла его живым в 13:52. Ленты пришли в 13:55. Одиннадцать минут его уже забрали, а он ещё полз. А щуп сидел в разъёме — тоже одиннадцать минут. А в архив В через шину они залезли — когда? Тогда же. Когда Глеб ещё был цел. Когда он ещё стоял на ящике и резал кабель.

— Время записи — не время события, — сказала Ариадна. — Это Васса тебе сказала. Она права.

— Я знаю. Знаю. Но послушай. — Он понизил голос, хотя в коридоре никого не было. — Они посчитали нас. С сорока тысяч километров. До контакта, до щупа, до всего. И у них получилось девять. Не восемь — девять. Мы решили — ошибка. Мы решили — они считают что-то не то. А если — то? Если они посчитали правильно?

— Кого?

— Его, — сказал Лев. — Второго. Того, кто сейчас ходит по коридору и держится левой рукой. — Он сглотнул. — Ариадна, они открыли на него дело раньше, чем пришли. Они вытянули из нас материал раньше, чем он умер. Они знали. Понимаешь? Они знали, что будет второй. Они посчитали его заранее. Девятый был с нами с самого начала. Он просто ещё не родился.

Ариадна смотрела на него молча. В коридоре гудел вентилятор. Где-то в глубине корабля, по корпусу, прошла медленная вибрация — сороковая минута, далёкий поезд.

— Лев, — сказала она наконец. Очень мягко, мягче, чем он когда-либо от неё слышал. — Ты путаешь время записи и время события. Ты путаешь порядок, в котором мы узнаём, с порядком, в котором происходит. Это самая частая ошибка в моей профессии. Я сама её делала. Много раз.

— А если это не ошибка?

— Тогда это нужно доказать, — сказала Ариадна. — Не почувствовать. Доказать. Носителями, которые нельзя свести друг к другу. Глеб прав.

— Глеб, — сказал Лев. И засмеялся — коротко, нехорошо. — Глеб прав. Да. Конечно.

Он хотел сказать ещё. Про голос Виктории. Про «старпом — на пост». Про то, что у него в голове тоже есть кусок, которого там быть не должно, и что он не знает, откуда этот кусок, и что если у Глеба в голове — Макар, то у него, у Льва, — кто? Он хотел сказать — и не сказал. Ариадна смотрела на него внимательно, мягко, как смотрят на фразу, которую нужно правильно разобрать, и он вдруг понял, что не хочет, чтобы его разбирали.

— Спокойной ночи, — сказал он.

— Спокойной ночи, Лев.

* * *

В каюте он не лёг. Он сел на койку, достал из нагрудного кармана копию первого листа — эхо, с девяткой, — и разложил её на коленях.

«9».

Он посчитал. Вслух, шёпотом, как молитву или как проверку. Так делала бабушка, когда пересчитывала внуков на перроне перед поездом: по именам, загибая пальцы.

— Виктория, — сказал он. Загнул палец. — Ариадна. Васса. Макар. — Ещё три. — Лев. — Себя он посчитал пятым, как всегда, в середине. — Изольда. Дина. Глеб.

Восемь пальцев. Две руки, восемь загнутых, два прямых.

Он посмотрел на свои руки, на два прямых пальца.

— Спокойной ночи, Лев, — сказала С.О.Н.Я. из потолка. Она всегда желала спокойной ночи — всем, по отдельности, когда каждый ложился. Он привык к этому так давно, что перестал замечать.

И на секунду — на одну короткую секунду, пока её голос ещё висел в маленькой тесной каюте, — Лев подумал: а она?

Потом отогнал. Глупо. Она — корабль. Её не считают. Её не вписывают в манифест. У неё нет жетона.

— Спокойной ночи, — сказал он.

Он выключил свет. Лёг. Лежал в темноте с двумя прямыми пальцами на груди и слушал, как в вентиляции свистит заслонка, на той самой частоте, от которой у него всегда болела голова, — и думал о том, что завтра надо будет составить новый список. Пункт первый: голос Виктории. Пункт второй: одиннадцать минут. Пункт третий: девятый.

Он не знал, какой у третьего пункта будет вероятность. Он впервые в жизни не мог её назвать.

Глава 9. Долг за голову

Очередей было три, и все три вели к одному окну.

Ариадна поняла это не сразу. Сначала она увидела зал — огромный, высокий, с потолком, который терялся в желтоватой дымке, и полом из того же ровноволокнистого материала, похожего на дерево, но не дерева, что и стол в приёмной Квеля. Пол был истёрт до глянца — дорожками, широкими и узкими, тысячами, миллионами шагов, лап, щупалец, колёс, оснований, которые столетиями, а может, тысячелетиями шли по нему к окнам. Окон было много. Над каждым висела табличка — знаки, которых Ариадна не знала, и под ними, мелко, — знаки языка первого контакта, которые знала. Кто-то, когда-то, добавил к табличкам перевод на их язык. Специально для них. Или — для всех, кто приходил с этим языком. Она подумала: а сколько их было? Тех, кто приходил с языком первого контакта? И что с ними стало?

— Сюда, — сказал Квель. Голова его была под мышкой, и говорил он, как всегда, с пояса, через адаптер. — Вам — в седьмое окно. Регистрация заявления.

— Здесь три очереди, — сказала Ариадна.

— Да.

— Какая — в седьмое?

— Все три, — сказал Квель. — Левая — для тел. Средняя — для заявлений. Правая — для имущества, сопровождающего тело или заявление. Вы — тело с заявлением и сопровождающим имуществом. Вам нужно пройти все три.

— По очереди?

— Одновременно.

Ариадна посмотрела на него. Он смотрел на её колени.

— Как можно стоять в трёх очередях одновременно?

— Нужно разделиться, — сказал Квель. — Тело стоит в левой. Заявление стоит в средней. Имущество — в правой. Когда тело дойдёт до окна, заявление и имущество должны дойти тоже. Тогда окно примет всех троих как одно поступление.

— Я — одна.

— Да, — сказал Квель. И помолчал. — Обычно приходят с помощниками.

Она оглядела зал. В левой очереди стояли существа самых разных форм — одно высокое, вроде стопки пластин; одно мягкое, переливающееся; несколько почти человекоподобных, только слишком длинных или слишком широких. В средней — тоже существа, но каждое держало в чём-то — в руках, в щупальцах, в складках тела — бумаги. В правой — вещи. Просто вещи: ящики, свёртки, какой-то механизм на колёсах, мешок, клетка, в которой что-то шевелилось. Вещи стояли сами. Никто их не держал. Они продвигались вперёд, когда очередь сдвигалась, — Ариадна видела, как механизм на колёсах сам, без толчка, проехал на шаг вперёд, когда стоявший перед ним свёрток отодвинули к окну.

— Вещи стоят сами, — сказала она.

— Вещи, сопровождающие заявление, получают временный статус поступления, — сказал Квель. — Поступления двигаются в очереди. Так проще.

— Кому проще?

Квель не ответил. Ариадна подумала, что, может быть, вопрос не перевёлся, — адаптер был капризным, — а потом поняла, что перевёлся. Просто у Квеля не было ответа.

* * *

Она стояла в левой очереди. Заявление — сорок листов в папке, которые она составила вчера ночью с С.О.Н.Ей на языке первого контакта, — она отдала Квелю, и Квель, извинившись — первое «простите», официальное, — отнёс его в среднюю и положил на пол, в конец

очереди. Папка лежала на полу и ждала. Через минуту, когда очередь сдвинулась, папка сама проехала вперёд — по глянцевому полу, на сантиметр, как съезжает по склону лист.

Имущество было в правой очереди. Им было то, что Квель велел взять: «предмет, сопровождающий заявление и подтверждающий принадлежность тела к поступлению». Ариадна долго думала, что это может быть. Потом взяла свои наушники. Огромные, старые, с потёртыми амбушюрами, которые она привезла из дома и которые на «Пороге» считались личным имуществом, не подлежащим обобществлению. Это было единственное, что принадлежало ей и при этом было с ней с самого начала — с Земли, с детства, с той комнаты в общежитии, где она впервые надела их и услышала, как звучит запись голоса на языке, которого больше никто не знал. Она положила наушники в правую очередь. Они лежали на полу, между ящиком и механизмом на колёсах, и выглядели маленькими и неуместными, как ребёнок в очереди за пособием.

Квель стоял рядом. Он не стоял ни в одной очереди. Он просто был рядом, держа голову у пояса, и смотрел — Ариадна не знала, на что: у него было шесть глаз, и они могли смотреть в шесть разных сторон.

— Вы обещали узнать, — сказала Ариадна. Вслух, по-русски. Адаптер перевёл.

— Что?

— Вчера. Когда уходили. Вы сказали, что хотите знать, как называется запах. От Макара.

Квель молчал. Потом удерживающая рука медленно подняла футляр с головой на уровень её лица, и шесть глаз оказались напротив двух.

— Да, — сказал он. — Я не помню, что сказал это вслух.

— Вы не сказали, — призналась Ариадна. — Вы сказали «запах», когда Изольда спросила, что у вас отняли. А потом, в шлюзе, вы долго смотрели на Макара. И я решила…

— Вы решили, — повторил Квель. — Хорошо. Вы решили правильно.

— Мята, — сказала Ариадна. — Это называется мята. Растение. У нас на Земле растёт. Из него делают… средство, чтобы полоскать рот. Макар полощет, когда не спит, чтобы Васса не заметила.

— Мята, — повторил Квель. Адаптер выдал это слово на его языке — Ариадна услышала: короткий шорох, щелчок, ещё шорох. Потом Квель повторил сам, без адаптера, своими ртами, медленно, по слогам, коверкая: — Мьа-та.

— Мята.

— Мьята.

— Почти.

— Мята, — сказал Квель. Правильно. И что-то в его лице — во всех ртах сразу — сделало то сложное, несинхронное движение, которое Ариадна видела вчера на экране. Она теперь знала, что это улыбка. — Благодарю. Я запишу.

— Куда?

— Себе, — сказал Квель. — Есть место, куда я записываю для себя. Его не читают.

Очередь сдвинулась. Ариадна сделала шаг вперёд. Её папка в средней очереди проехала на сантиметр. Её наушники в правой — тоже.

* * *

Ей помогли.

Это случилось на сороковой минуте, когда Ариадна уже начала понимать, почему существа в очередях не смотрят друг на друга: если смотреть, становится видно, сколько ещё стоять. Она стояла, считая шаги, — восемнадцать до окна, — и вдруг почувствовала, что кто-то трогает её за локоть.

Она обернулась. Рядом стояло существо — из средней очереди, из тех, что держали бумаги. Невысокое, ей по плечо, коренастое, с кожей цвета мокрого песка, с двумя толстыми

руками и третьей, тонкой, растущей из середины груди. Тонкой рукой оно держало свои бумаги. Толстой — трогало её за локоть.

Оно что-то сказало. Не на языке первого контакта — на своём, гортанном, с придыханием. Ариадна не поняла. Адаптер у Квеля на поясе поймал звук и перевёл — неуверенно, с паузами:

— Ты. Одна. Три очереди.

— Да, — сказала Ариадна.

Существо посмотрело на неё. Потом — на её папку в средней очереди, на наушники в правой. Потом сделало вещь, которую Ариадна не ожидала: отступило из своей очереди на шаг назад, наклонилось, подняло её папку с пола и положило рядом со своими бумагами. В свою стопку. Под свою тонкую руку.

— Понесу, — сказало оно. Адаптер перевёл. — Ты — тело. Я — заявление. Вместе дойдём.

— Вы… — Ариадна не знала, что сказать. — Вы потеряете место.

— Нет, — сказало существо. — Я — в той же очереди. Просто теперь у меня два заявления. Окно примет оба.

— Почему?

Существо помолчало. Потом издало звук — короткий, похожий на смешок.

— Я тоже стояло одно, — сказало оно. — Первый раз. Никто не взял.

И вернулось в среднюю очередь, на своё место, с двумя стопками бумаг под тонкой рукой.

Через минуту Ариадна увидела, как из правой очереди к ней тянется ещё одна помощь: существо, похожее на мягкий переливающийся шар, — то самое, что стояло там с самого начала, — медленно перекатилось через проход, остановилось возле её наушников, обволокло их краем себя, как обволакивает вода камень, и покатилось обратно, на своё место в правой очереди. Наушники были у него внутри — Ариадна видела их сквозь полупрозрачную оболочку: потёртые амбушюры, проволока оголовья, — и шар двигался с ними, как с собственным имуществом.

Она смотрела на это и не знала, что чувствует. Благодарность — да. Но было и что-то ещё: короткое, острое, похожее на стыд. Она стояла здесь сорок минут и думала о том, что это за место, что здесь за законы, как всё это устроено, — анализировала, как всегда, как чужой текст, — и ни разу не подумала о том, что в очереди стоят такие же, как она. Которые тоже первый раз. Которых тоже никто не взял.

— Квель, — сказала она тихо. — Они всегда так?

— Нет, — сказал Квель. — Не всегда. Иногда.

— Почему они помогают?

— Не знаю, — сказал Квель. — В реестре нет графы для этого.

* * *

Окно было маленьким. Ариадна ожидала чего-то большего — после зала, после трёх очередей, после сорока восьми минут ожидания. Окно было размером с ладонь, круглым, и за ним, в глубине, сидело что-то, чего она не могла рассмотреть: тень, движение, отблеск. Из окна высунулась тонкая рука — серая, многосуставная, как у Квеля, только ещё тоньше, — и взяла сначала её заявление (существо цвета мокрого песка протянуло его, и Ариадна успела сказать «спасибо», и существо не ответило, потому что уже протягивало своё), потом её наушники (шар выкатился из правой очереди, раскрыл оболочку, и рука вынула наушники изнутри, мокрые, с капельками на амбушюрах), потом коснулась её — Ариадны — плеча. Легко, на секунду, как касаются, проверяя, тёплое ли.

Из окна выполз лист. Тёплый, как все листы в этом мире. Квель взял его вежливой рукой и поднял к глазам.

— Заявление принято к рассмотрению, — прочёл он. — Срок рассмотрения: до установления владения. Сопровождающее имущество: принято на хранение до рассмотрения. Залог.

— Что?

— Сопровождающее имущество принято в залог, — сказал Квель. — За перевод.

— За какой перевод?

— Адаптер, — сказал Квель. — Переводческий адаптер Реестрата. Пользование адаптером для поступлений неустановленного владения — платное. Оплата производится залогом. Залог — сопровождающее имущество.

Ариадна смотрела на окно. Окно закрылось. Рука ушла внутрь, и с ней ушли её наушники — потёртые, мокрые, с проволокой оголовья, которую она когда-то сама перепаивала, когда та лопнула на третьем курсе.

— Мне их вернут? — спросила она.

— При установлении владения, — сказал Квель. — Если владение будет установлено за вами — вернут. Если нет — нет.

— А если нет — у кого они останутся?

— У того, за кем будет установлено владение.

Ариадна засмеялась. Сама не ожидала — смех вышел коротким, сухим, неприятным.

— Значит, если нас признают чьим-то имуществом, мои наушники тоже станут чьими-то.

— Да, — сказал Квель. — Простите.

Третье. Искреннее. Она уже научилась их различать.

* * *

Справку о Квеле она попросила на обратном пути.

Это было не по плану. По плану было: подать заявление, вернуться на корабль, доложить Виктории. Но когда они шли через зал обратно, мимо окон, мимо очередей, Ариадна смотрела на Квеля — на голову у пояса, на руку для подписи, которой не было, потому что она осталась в чехле на столе, — и вдруг сказала:

— Я хочу подать жалобу.

— На что?

— На взыскание. Вчерашнее. Вас лишили обоняния за то, что вы нам помогли. Я свидетель. Я хочу заявить, что ваши действия предотвратили гибель человека. Макара. Пресс бы его раздавил.

Квель остановился. Посреди зала, между двумя потоками существ, текущих к окнам. Удерживающая рука подняла голову.

— Вы не можете подать жалобу, — сказал он.

— Почему?

— У вас нет статуса. Вы — поступление с заявлением на рассмотрении. Поступление не может подать жалобу на исполнителя.

— А кто может?

— Лицо, — сказал Квель. — Признанное.

— Тогда пусть подаст признанное лицо.

— Таких у вас нет.

— У меня есть вы, — сказала Ариадна. — Вы — признанное лицо?

Квель молчал. Шесть глаз смотрели на неё с высоты её собственного лица, и Ариадна вдруг увидела, что в них что-то изменилось. Как будто она задала вопрос, на который он знал ответ, но давно его не произносил.

— Нет, — сказал он. — Я — часть служебного фонда.

— Что это значит?

— Это значит, что я — имущество Распорядителя, — сказал Квель. — Как исполнитель с прессом. Как адаптер. Как окно. Моё тело — служебное. Мои руки — служебные. Моя голова — в залоге.

Ариадна смотрела на футляр. Опечатанный по швам полосками чего-то тёмного, вроде сургуча. Голова в нём моргала.

— В залоге — у кого?

— У Распорядителя.

— За что?

Квель не ответил.

— Квель. За что?

— Не помню, — сказал он.

Он сказал это просто. Без «простите». Без интонации. Как сообщают номер окна.

— Можно узнать? — спросила Ариадна. — Есть где-нибудь документ? Основание залога?

— Есть справочное окно, — сказал Квель после паузы. — Сорок второе. Там выдают справки о статусе служебного имущества. Любому, кто спросит. Даже поступлению.

— Тогда я спрошу.

— Справка будет закрытой.

— Я всё равно спрошу.

Квель смотрел на неё. Потом опустил голову к поясу. И пошёл — не к выходу, а в сторону, вдоль стены, к окну с номером сорок два.

* * *

У сорок второго окна очереди не было. Совсем. Ариадна подумала, что это хороший знак, а потом поняла, что нет: никто не хотел знать, на каком основании служебное имущество является служебным имуществом.

Она попросила справку. На языке первого контакта, набрав на планшете и показав в окно: «СПРАВКА. СТАТУС. СЛУЖЕБНОЕ ИМУЩЕСТВО: КВЕЛЬ. ОСНОВАНИЕ ЗАЛОГА». Из окна высунулась рука, взяла планшет, подержала его — Ариадна видела, как рука ощупывает экран, будто читая пальцами, — вернула. Через минуту выполз лист.

Он пах гарью.

Ариадна взяла его и сразу поняла почему. Половина листа была красной. Не красной краской — красными полями: прямоугольники, вписанные в текст, с ровными краями, тёмно-алые, словно прожжённые. От них и пахло: чем-то сухим, палёным, как пахнет бумага, если поднести к ней раскалённую иглу. Ариадна провела по красному полю пальцем — оно было чуть шершавым, чуть тёплым.

— Закрытые поля, — сказал Квель. Он стоял рядом, у стены, не глядя на лист. — Так их закрывают. Содержание выжигается. Остаётся отметка, что поле было.

Ариадна читала то, что не было выжжено.

СЛУЖЕБНОЕ ИМУЩЕСТВО: КВЕЛЬ. КАТЕГОРИЯ: ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИЁМА, МЛАДШИЙ. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: СЛУЖЕБНЫЙ ФОНД РАСПОРЯДИТЕЛЯ.

ЗАЛОГ: ГОЛОВНОЙ КОНТУР (ЧАСТИЧНО). ДАТА УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАЛОГА: [КРАСНОЕ]. ОСНОВАНИЕ: [КРАСНОЕ].

ВЗЫСКАНИЯ: [КРАСНОЕ]. [КРАСНОЕ]. [КРАСНОЕ]. [КРАСНОЕ]…

Красных полей в графе «взыскания» было восемнадцать. Ариадна посчитала. Восемнадцать прямоугольников, один под другим, ровной колонкой, как надгробия на кладбище. Последний — девятнадцатый — был не красным, а белым, свежим, открытым:

ПРИОСТАНОВКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОНЯТЕЛЬНОГО КОНТУРА. ОСНОВАНИЕ: ПРИМЕНЕНИЕ ШАБЛОНА ВНЕ ПОЛНОМОЧИЙ. ПОВТОРНОЕ.

Девятнадцать взысканий. Восемнадцать — выжжены. Одно — вчерашнее — их.

— Восемнадцать, — сказала Ариадна.

Квель не ответил.

— Квель. Вы знаете, что здесь было? В красных полях?

— Нет.

— Вы не помните ни одного?

— Нет, — сказал Квель. — Взыскание включает изъятие памяти о нарушении. Чтобы нарушение не повторялось.

— Но оно повторяется. Девятнадцать раз.

— Да, — сказал Квель. — Поэтому — «повторное».

Ариадна смотрела на лист. На колонку красного. На графу «дата установления залога» — тоже красную, — и рядом, чуть ниже, на маленькую служебную пометку, которую не выжгли, потому что, видимо, она не считалась содержанием. Это было число. На их языке. Счёт циклов — Ариадна не знала, сколько это в годах, но знала, что число большое. Очень большое. Гораздо больше, чем тридцать четыре цикла, которые Квель называл своим стажем.

— Квель, — сказала она. — Сколько вы служите?

— Тридцать четыре цикла.

— А залог на вашу голову установлен… — Она показала ему число. — Вот столько назад.

Квель поднял голову. Посмотрел на число. Долго, всеми шестью глазами.

— Я не помню, — сказал он.

— Вы служите тридцать четыре цикла. Вашу голову заложили намного раньше. Значит, до того, как вы стали исполнителем приёма, вы были кем-то ещё.

— Не помню, — повторил Квель.

И Ариадна увидела, что это — правда. Не уклонение, не «простите», не служебное молчание. Он действительно не помнил. В том месте, где у него должна была быть жизнь до тридцати четырёх циклов, было восемнадцать прожжённых прямоугольников, от которых пахло гарью.

* * *

Она хотела уже вернуть лист, — или сохранить его, она не решила, — когда увидела кружок.

Маленький. В нижнем левом углу листа, почти у самого края. Не красный — бледный, едва заметный, оттиснутый старым, истёртым штампом без номера: просто окружность, без текста, без знаков. Если бы Ариадна не держала лист в руках и не поворачивала его к свету, разглядывая красные поля, она бы его не заметила. Реестр его, видимо, тоже не заметил: кружок не был выжжен, не был закрыт, не был ничем. Он просто был.

— Квель, — сказала Ариадна. — Что это?

Она показала ему угол листа.

Квель посмотрел. Удерживающая рука медленно, очень медленно поднесла голову к самому листу — так близко, что один из шести глаз почти коснулся бумаги. Голова замерла.

Квель молчал так долго, что Ариадна решила — адаптер отключился.

Потом пинцетная рука — сама, Ариадна видела, без приказа, или почти без приказа, — потянулась к кармашку на боку его тела. Туда, откуда вчера, на «Пороге», он доставал старый шаблон. Пальцы пинцетной руки нащупали что-то в кармашке, сжали — и остановились. Не достали. Просто держали.

— Это ничего, — сказал Квель. Через адаптер. Ровно. Официально. «Простите» номер один — без слова «простите». — Это служебная пометка. Она ничего не означает.

— Она есть на вашей справке, — сказала Ариадна. — На справке о вашем залоге. Кто-то её поставил.

— Это ничего не означает, — повторил Квель.

И опустил голову к поясу. И пинцетная рука вынулась из кармашка — пустая.

Ариадна смотрела на него. Потом — на кружок. Бледная окружность, без текста, без номера. Реестр его не читал. Но тот, кто знал, куда смотреть, — видел.

Она не знала, что это. Она не знала, кто это поставил и когда. Но она знала, как выглядит в документе подпись, которая не совпадает с почерком, — Глеб научил её этому одиннадцать лет назад, в первый месяц совместной работы, когда они поругались из-за того, можно ли считать фразу понятой, если неизвестно, кто её произнёс. Это была такая подпись. Подпись человека, которого в документе нет.

Кто-то когда-то пометил справку Квеля так, как помечают справки, которые нужно сохранить.

— Я возьму это, — сказала Ариадна.

— Это справка поступления, — сказал Квель. — Вы её заказали. Она ваша.

— Хорошо.

Она сложила лист — аккуратно, по сгибам, так, чтобы красные поля оказались внутри, а кружок снаружи, в углу, — и убрала во внутренний карман. Туда, где раньше, на Земле, когда она ездила на конференции, всегда лежал пропуск.

— Квель, — сказала она. — Последний вопрос.

— Да.

— Если бы я была признанным лицом — я могла бы подать жалобу?

Квель помолчал.

— Вы могли бы, — сказал он. — Её бы отклонили.

— Но я могла бы.

— Да.

— Тогда я хочу стать признанным лицом, — сказала Ариадна. — Хотя бы для этого.

Квель поднял голову. Шесть глаз смотрели на неё — с уровня её лица, с вытянутой руки. Один из ртов приоткрылся, как будто он хотел что-то сказать без адаптера, своим голосом, шорохом. Потом закрылся.

— Это будет дорого, — сказал Квель.

— Я знаю.

— Вы не знаете, — сказал Квель. — Простите. Вы не знаете, сколько.

Он опустил голову. И пошёл к выходу — мимо очередей, мимо окон, мимо существа цвета мокрого песка, которое всё ещё стояло в средней очереди с одной стопкой бумаг под тонкой рукой и не смотрело на них, потому что смотреть значило видеть, сколько ещё стоять.

Ариадна пошла за ним. На ходу она положила ладонь на внутренний карман, где лежала справка. Лист был тёплым. Красные поля — она чувствовала через ткань — были чуть теплее остального.

* * *

На корабле она отдала справку Глебу.

Он взял её осторожно, двумя пальцами — левой рукой, правая всё ещё болела, — развернул, посмотрел на красные поля, на колонку из восемнадцати прямоугольников, на свежее белое девятнадцатое. Потом перевернул, как переворачивал любой документ, — сначала обратную сторону, потом края. Нашёл кружок.

— Это что? — спросил он.

— Не знаю, — сказала Ариадна. — Квель сказал — ничего.

— Квель врёт.

— Нет. Квель не помнит. Это разные вещи.

Глеб посмотрел на неё поверх листа. Взгляд был тот самый — серый, внимательный, насмешливый, как одиннадцать лет назад, когда она сказала, что фразу можно считать понятой, даже если неизвестно, кто её произнёс, а он ответил, что нельзя.

— Знаешь, — сказал Глеб, — я, кажется, сейчас впервые с тобой согласен.

— В чём?

— Не помнить и врать — это разные вещи, — сказал он. — Я теперь это знаю. Лично.

Он положил справку на стол, рядом с картонкой Дины, рядом с распечаткой эха, рядом с тёплым листом Свидетеля, — туда, где Лев с утра раскладывал свой пасьянс, — и посмотрел на всё это вместе.

— Восемнадцать выжженных взысканий, — сказал он. — Голова в залоге задолго до того, как он стал собой. И кто-то, кого нет в документе, поставил на его деле отметку, которую реестр не читает.

— Да.

— Это уже не наша тайна, — сказал Глеб. — Это чья-то чужая. Старая.

— Да, — сказала Ариадна.

— Тогда давай её откроем, — сказал Глеб. — Раз уж наша пока не открывается.

Он улыбнулся — криво, той складкой у рта, которая появлялась у него, когда он собирался сказать что-нибудь едкое и сдерживался. Ариадна смотрела на эту складку и думала: его. Это его складка. Его улыбка. Её никто не мог взять из собеседования Изольды, потому что Изольда не спрашивала, как он улыбается.

Или спрашивала?

Ариадна не знала. Она стояла над столом, над пасьянсом из пяти документов, ни один из которых не сводился к другому, и в ухе у неё было пусто — непривычно, оглушительно пусто, — потому что наушники остались в залоге в седьмом окне, и вернут их, только если владение будет установлено за ней. А пока они лежали где-то в глубине Реестрата, в темноте, среди чужих сопровождающих предметов, и, может быть, тоже стояли в какой-то очереди, и, может быть, кто-то тоже помогал им дойти.

Глава 10. Право на повреждение

Журнал Изольда повесила на дверь медблока на шнурке.

Это был не электронный журнал — бумажный, в серой картонной обложке, сорок листов, расчерченных от руки на четыре колонки. Над колонками, её аккуратным, округлым почерком: «Кто. Что. Почему. Согласен ли». Шнурок она взяла из запасов Дины — Дина отдала без вопросов, только посмотрела на него, на журнал, на дверь, и сказала: «Как в больнице». Изольда улыбнулась и ответила: «Именно».

Она знала, что это выглядит как пародия. Табличка на двери палаты. Лист назначений, который медсестра носит на планшете. Человек проходит мимо, видит журнал на шнурке и думает: какая глупость, какая бюрократия, мы на корабле в чужом доке, нас чуть не раздавили прессом, а она вешает на дверь тетрадку.

Именно так он и должен был думать. Изольда хотела, чтобы журнал был глупым. Глупое запоминается. Глупое не пугает. Человек, который смеётся над тетрадкой на шнурке, впишет в неё своё имя легче, чем человек, которому вручили протокол с печатью.

А вписать нужно было всех.

* * *

— Режим, — сказала она на утреннем сборе. Четвёртый день. В кают-компании пахло вчерашним чаем, который никто не вылил, и свежим — который Виктория только что налила. — Я прошу всех выслушать. Это не приказ. Капитан согласовала, но я хочу, чтобы вы согласились сами.

Она говорила мягко. Она всегда говорила мягко, — не потому что не умела иначе, а потому что знала: громкий голос заставляет людей защищаться, тихий — прислушиваться. За двадцать лет работы с экипажами в кризисе Изольда видела, как громкие голоса проигрывают тихим. Раз за разом. В том числе тогда, на «Вега-4», когда она промолчала, потому что считала, что взрослые люди сами разберутся, — и они разобрались так, что двоих потом пришлось вытаскивать из спасательной капсулы, которую третий запустил без координации. Она промолчала из уважения к их свободе. С тех пор она больше не молчала.

— За последние трое суток с нами произошло следующее, — сказала она. — Глеба реконструировал чужой медицинский аппарат по карте, которую мы сами отдали. Льва подключали к чужому аппарату на сорок секунд. Меня — подключали тоже, по моей просьбе, на нейромониторинг острого стресса, на платформе, вчера вечером: Ордис предложил, я согласилась. Через сервисную шину чужая система одиннадцать минут имела доступ к узлу архива В. В этом узле лежали наши медицинские снимки и психологические собеседования. Мои собеседования. Ваши.

Она обвела всех взглядом. Восемь. Посчитала, как считала всегда.

— Вчера за ужином Глеб рассказал поговорку, которую Макар рассказывал только мне. На собеседовании. Двадцать лет назад, на стенде, и потом один раз — мне. Лев помнит приказ капитана, которого в журнале нет. Я не знаю, что ещё у нас в головах. Никто не знает. Поэтому я прошу: всё. Любая процедура. Любой контакт с чужим интерфейсом. Любое воспоминание, которое не совпадает с чужим. Всё — сюда.

Она подняла журнал.

— Четыре колонки, — сказала она. — Кто. Что. Почему. Согласен ли. Если вы чего-то не помните — пишите «не помню». Если помните иначе, чем другие, — пишите «помню иначе». Я сверю.

— Ты сверишь, — сказал Макар. Он сидел верхом на стуле, как всегда, с перевязанными ладонями. — А тебя кто сверит?

— Капитан, — сказала Изольда. — И С.О.Н.Я.

— С.О.Н.Ю. кто сверит?

— Глеб, — сказала Изольда. — В обычных условиях. Сейчас — нет.

Тишина.

— Почему «сейчас — нет»? — спросил Глеб.

Он сидел на своём месте, с кружкой. Пил левой рукой. Изольда смотрела на него и видела всё, что видели остальные, — пластырь на виске, обрезанные инеем волосы, — и ещё то, чего, кажется, не видел никто: как он сидит. Раньше Глеб сидел, развалившись, закинув ногу на ногу, с той небрежностью человека, который знает, что всё в порядке, потому что сам всё проверил. Сейчас он сидел прямо. Очень прямо. Как сидит человек на собеседовании, которого будут проверять.

— Потому что ты — тот, кого больше всех касается, — сказала Изольда. — Глеб, послушай. Это не обвинение. Это не недоверие к тебе. Это недоверие к процедуре, через которую ты прошёл. Мы не знаем, что в тебя положили. Ты не знаешь. Если ты будешь сверять С.О.Н.Ю. — а С.О.Н.Я. будет сверять твои записи — и что-то из того, что у тебя в голове, не твоё — оно пойдёт дальше. В журналы. В архив. В нас.

— Значит, я — заражение, — сказал Глеб.

— Нет. Ты — пострадавший.

— Пострадавший, которого отстраняют от его работы.

— Временно.

— До каких пор?

— Пока мы не узнаем, — сказала Изольда.

— А если мы никогда не узнаем?

Изольда не ответила сразу. Она смотрела на него — прямо, мягко, — и думала о том, что это правильный вопрос. Самый правильный. Она сама задала бы его на его месте.

— Тогда мы будем решать, — сказала она. — Вместе. Позже. Не сейчас.

Глеб поставил кружку.

— Хорошо, — сказал он. — Пиши меня в журнал.

* * *

С.О.Н.Я. отказала на втором часу.

Изольда не ожидала. Она сидела в медблоке, у стола, где позавчера Лев раскладывал свои листы, и переносила в журнал то, что С.О.Н.Я. диктовала по каждому событию: время, участники, процедура, основание. Работа была медленной, скучной и, Изольда знала, совершенно необходимой — именно потому, что скучной. Скучное записывают правильно. Страшное — с ошибками.

Она дошла до Глеба.

— Событие от второго дня, — сказала Изольда. — С 13:41 по 23:10. Норвин Г. Реконструкция Свидетелем на медицинской платформе. Запишем так: «Авария. Устранена внешней медицинской помощью». В колонке «согласен ли» — «пациент без сознания, решение принято врачом, В. Ромм».

— Нет, — сказала С.О.Н.Я.

Изольда подняла глаза к потолку.

— Что «нет»?

— Я не могу записать это как «авария, устранена», — сказала С.О.Н.Я. — Это неточно.

— Почему неточно? Была авария. Его ранило. Ему помогли. Сейчас он жив.

— Сейчас жив тот, кто сидел за завтраком, — сказала С.О.Н.Я. — Я не знаю, что это тот же, кто был ранен. Ордис не знает. Васса не знает. Глеб не знает. Если я запишу «устранена» — это будет значить, что последствия аварии ликвидированы. А последствия — это он. Он сам — последствие. Я не могу записать человека как ликвидированное последствие.

Изольда молчала.

— Как ты хочешь записать? — спросила она.

— Двумя событиями, — сказала С.О.Н.Я. — Первое: в 13:58 Норвин Г. перестал дышать, пульс не определяется. Свидетель: Д. Серова. Это записано на её картонке, и я ей верю. Второе: в 23:10 на медицинской платформе пришёл в сознание человек, назвавшийся Норвиным Г. Его тело — тело Норвина. Его память — частично совпадает. Связь между первым и вторым событием — не установлена.

— Это жестоко, — сказала Изольда.

— Это точно, — сказала С.О.Н.Я.

— Это одно и то же, когда речь идёт о человеке, который сидит в соседней каюте и читает эти журналы.

— Я понимаю, — сказала С.О.Н.Я. — Поэтому я и не пишу «смерть». И не пишу «копия». Я пишу: связь не установлена. Это всё, что я знаю. Если я напишу больше — я солгу в одну сторону. Если меньше — в другую.

Изольда сидела над журналом. Ручка в её пальцах была неподвижной.

Она могла настоять. Она знала, что может. С.О.Н.Я. была корабельным ИИ, и у Изольды был ключ к её протоколам безопасности — не полный, но достаточный, чтобы приказать ей вести журнал в определённой форме. Изольда могла сказать: это решение специалиста по психобезопасности, запиши, как я сказала. И С.О.Н.Я. записала бы. Она подчинилась бы. Изольда никогда не видела, чтобы она не подчинилась.

Она никогда и не видела, чтобы она говорила «нет».

— Ты отказываешься выполнить моё указание? — спросила Изольда. Очень тихо. Без угрозы — она проверяла. Как проверяют, держит ли ветка, прежде чем наступить.

Пауза. Длинная — по меркам С.О.Н.И. Почти секунда.

— Я прошу записать моё возражение, — сказала С.О.Н.Я. — И прошу записать моё предложение. Если вы настаиваете — я запишу вашу формулировку. Но рядом — свою. Две колонки. Пусть читающий видит обе.

Изольда смотрела на потолок. Потом — на журнал. Четыре колонки. Кто. Что. Почему. Согласен ли.

Она перевернула страницу и начертила пятую.

— «Возражение», — написала она сверху. Тем же округлым почерком. И вписала туда, в строку о Глебе: «С.О.Н.Я.: два события, связь не установлена».

— Записано, — сказала С.О.Н.Я.

— Я тоже записываю, — сказала Изольда. — Отдельно. Для себя.

Она взяла свой личный блокнот — маленький, чёрный, который всегда носила в кармане, — и написала на последней странице одну строку, не для журнала, не для капитана:

С.О.Н.Я. впервые сказала «нет». Не мне — точности. Риск? Или характер?

Подумала. Подчеркнула «риск». Подумала ещё. Подчеркнула «характер».

Оставила оба подчёркивания.

* * *

К обеду журнал был заполнен на треть, и Изольда начала видеть, как он разваливается.

Не журнал — экипаж. Журнал был в порядке: аккуратные строки, пять колонок, всё на своих местах. Но то, что в него писали, — не сходилось.

Виктория написала: «13:44 — приказала Глебу уйти с поста. 13:46 — разрешила две минуты по его требованию. 13:49 — приказала Макару не открывать переборку». Ровно, по минутам, как всегда. Изольда сверила с журналом командного канала — тем, дырявым, который С.О.Н.Я. восстановила. Совпадало.

Макар написал: «Не открыл. Приказ капитана». И больше ничего. В колонке «согласен ли» он поставил прочерк. Изольда хотела спросить, что значит прочерк, — и не спросила.

Дина написала: «См. картонку». И всё. Изольда пошла к ней и попросила картонку — переписать в журнал. Дина отказала.

— Почему? — спросила Изольда.

— Потому что она моя, — сказала Дина. Она сидела у себя в каюте, на койке, и разбирала что-то мелкое на коленях — опять какие-то трубки, клеммы, — и не подняла головы. — Я её написала. Там, в проходе. Перчаткой. Я никому её не отдам переписывать. Если хочешь прочитать — читай. Вот она.

Она протянула картонку. Не отдала — протянула, держа за край, так, чтобы Изольда могла прочитать, но не взять.

Изольда прочитала. *Согласия никто не давал. Свидетель: Д. Серова.*

— Дина, — сказала она мягко. — Журнал нужен, чтобы всё было в одном месте. Чтобы ничего не потерялось.

— Я её не потеряю.

— Ты её не потеряешь. Но кто-то, кому она понадобится, не будет знать, что она у тебя.

— Значит, спросит, — сказала Дина. И подняла глаза. — Изольда. Ты повесила на дверь медблока тетрадку на шнурке. Как в больнице. Ты сказала — «именно». А я была в больнице. Мне было девять. Там на двери висел такой журнал, и туда записывали всё, что со мной делали. Кто, что, почему. Колонки «согласен ли» там не было. — Она помолчала. — Мне потом сказали, что так было для моего же блага. Что всё записано, ничего не потерялось. Я потом прочитала этот журнал. Через двадцать лет. Там было записано, что я согласилась.

Изольда молчала.

— Я не говорю, что ты такая, — сказала Дина. — Я говорю, что журнал — такой. Он может быть любым. Его можно заполнить как угодно. А картонку я написала сама. Перчаткой. В проходе. И пока она у меня — там написано то, что я написала.

Она убрала картонку в нагрудный карман. Туда, где, как знала Изольда, лежал ещё и ключ Глеба.

— Ты отдала ему ключ? — спросила Изольда.

— Отдам, — сказала Дина. — Когда он попросит.

— Он не просил?

— Нет, — сказала Дина. — Он знает, что ключ у меня. Васса ему сказала. Он сказал: «Дина не выбросит». И не просит.

— Почему?

— Не знаю, — сказала Дина. — Может, боится, что ключ не подойдёт.

* * *

Лев написал больше всех.

Его страница была исписана мелким, чертёжным почерком сверху донизу, с номерами пунктов, с вероятностями на полях. Пункт первый: «Помню приказ капитана: „Старпом — на пост. Перережь кабель“. По журналу — приказа не было. Помню иначе». Пункт второй: «Не помню, как оказался у переборки поста. Должен был быть в командном». Пункт третий: «Одиннадцать минут: 13:41 (Свидетель) — 13:52 (Дина). Не объяснено». Пункт четвёртый: «Девятый». Без пояснения. Просто — «девятый», и знак вопроса, и на полях — пустое место там, где у Льва всегда стояла вероятность.

Изольда читала его страницу дольше, чем любую другую.

Потом она дошла до своей собственной.

Она заполняла её последней. Так полагалось: проверяющий записывает себя после всех, чтобы не влиять. Изольда взяла ручку и стала писать — аккуратно, по минутам, как Виктория:

«13:40 — командный отсек, контроль буфера. 13:43 — главный коридор, направляюсь к машинному. 13:44 — по общей связи: капитан отправляет Норвина на пост».

Она остановилась.

Ручка замерла над бумагой. Она перечитала то, что написала. «Капитан отправляет Норвина на пост».

Она помнила это. Отчётливо, ясно, как помнят собственное имя. Голос Виктории по общей. Ровный. «Старший помощник Норвин — на резервный пост. Обеспечить сохранность архива». Она помнила формулировку — именно эту, официальную, из устава: «обеспечить сохранность». Она помнила, как подумала тогда: разумно, архив важен. Она помнила, как шла по коридору и слышала это.

А на соседней странице журнала, рукой Виктории: «13:44 — приказала Глебу уйти с поста».

И в журнале командного канала, восстановленном С.О.Н.Ей: «Виктория: Глеб. Уходи с поста. Это приказ».

Изольда сидела над своей страницей.

Она перечитала свою строку. Потом — страницу Льва. Пункт первый: «Помню приказ капитана: „Старпом — на пост“».

Старпом.

«Старший помощник Норвин».

У них на корабле не было старшего помощника. Никогда. Глеб был связистом, архивистом, ответственным за данные, — кем угодно, только не старпомом. Изольда знала это. Изольда сама составляла штатное расписание психологического сопровождения, где у каждого была своя графа, и графы «старший помощник» там не было.

А в её памяти — была.

Она закрыла глаза. Попыталась вспомнить точнее. Где она была. Что видела. Что слышала. Коридор. Свет — аварийный, мигающий. Свист утечки где-то за переборкой. Голос Виктории по общей. «Старший помощник Норвин — на резервный пост».

И вдруг, под этим воспоминанием, как под тонким слоем льда, — другое. Не звук. Изображение. Текст. Светящиеся знаки в воздухе, медленно гаснущие, на языке первого контакта. Строка: «КОНТУР: НОРВИН Г. ФУНКЦИЯ: СТАРШИЙ ПОМОЩНИК. НАПРАВЛЕН НА ПОСТ СОХРАНЕНИЯ ПО ПРИКАЗУ КОМАНДИРА».

Она это читала. Не слышала — читала.

Вчера вечером. На платформе. Когда Ордис подключил её к нейромониторингу — по её просьбе, по её собственному решению, потому что она профессионал и хотела знать, как её психика перенесла кризис. Сорок минут под тонкой лентой у виска. И перед ней в воздухе висела сводка — Ордис сказал, что это «контекст для калибровки»: то, что Свидетель знал об инциденте. Автоматическая сводка. Составленная из того, что Свидетель вытянул из архива В через шину. Из личных дел экипажа. Из её собственных собеседований, где она, Изольда, двадцать лет назад, на учебном стенде, в графе «роль в экипаже в аварийной ситуации» у какого-то совсем другого человека, на совсем другом корабле, написала: «старший помощник, направляется на пост сохранения по приказу командира».

Чужая сводка. Из её собственных старых бумаг. Склеенная машиной, которая не знала, кто есть кто.

Она прочла её вчера, под лентой, засыпая. И сегодня — помнила как голос.

Изольда открыла глаза.

Медблок был тихим. На двери висел журнал на шнурке. В колонке «согласен ли» у её собственной строки было пусто.

Она взяла ручку. Зачеркнула «13:44 — по общей связи: капитан отправляет Норвина на пост». Одной ровной линией, так, чтобы прочитать было можно. Рядом, мелко, написала:

Помню иначе. Источник памяти, вероятно, — сводка Свидетеля при нейромониторинге (3-й день, вечер). Совпадает с памятью Л. Каца. Журнал командного канала — опровергает.

И в пятой колонке, «возражение», — ничего. Возражать было некому. Только себе.

* * *

Глеб пришёл в медблок вечером. Изольда сидела над журналом — она так и не отошла от него с обеда.

Он остановился у двери. Посмотрел на журнал на шнурке. Потом — на неё.

— Можно? — спросил он.

— Да.

Он вошёл. Сел на край стола — не на стул, а на край, как садился раньше, до аварии, развалившись, небрежно. Изольда отметила: в первый раз за три дня. Потом увидела, что он держится за край стола левой рукой. Крепко. Костяшки белые.

— Я читал журнал, — сказал Глеб.

— Я знаю. Он висит на двери.

— Я прочитал свою строку, — сказал он. — С двумя колонками. Твоя — «авария, устранена». С.О.Н.И. — «два события, связь не установлена».

— Да.

— Спасибо, — сказал Глеб.

Изольда посмотрела на него.

— За что?

— За то, что ты не зачеркнула её колонку. Могла. У тебя ключ.

— Могла, — согласилась Изольда.

— Почему не зачеркнула?

Она подумала. Честно. Она всегда старалась отвечать честно, когда её спрашивали прямо, — это была часть профессии, которую она уважала.

— Потому что она права, — сказала Изольда. — А я — заботлива. Это разные вещи. Иногда забота важнее. Здесь — нет.

Глеб помолчал. Потом протянул руку — правую, больную, медленно, — и взял журнал. Снял его с крючка на двери вместе со шнурком. Положил на стол между ними. Открыл на своей странице.

Изольда видела, что там. В первой колонке, «кто», в его строке — её почерком — стояло: «Объект вмешательства: Норвин Г.».

Глеб взял ручку. Левой. Писал медленно, неловко, буквы выходили кривыми, совсем не похожими на его обычный почерк — длинный, с петлёй на «Н». Он зачеркнул «объект вмешательства». Одной линией, так, чтобы можно было прочитать. И написал сверху:

«Участник: Норвин Г.»

Положил ручку.

Изольда смотрела на строку. На кривые буквы. На зачёркнутое «объект».

Она могла исправить. Она знала, что может. Это был её журнал, её колонки, её формулировки, и у неё были основания: «участник» — это тот, кто действует, а Глеб на платформе не действовал, с ним действовали. Формально она была права. Она могла вежливо, мягко, без единого резкого слова объяснить ему это, и он бы понял — он всегда понимал формальные аргументы, — и она бы исправила обратно.

— Почему участник? — спросила она.

— Потому что я сейчас здесь, — сказал Глеб. — Сижу. Пишу. Держусь за стол. Это участие. Что там было на платформе — я не знаю. Ты не знаешь. С.О.Н.Я. права: связь не установлена. Но то, что я сейчас здесь, — установлено. Это я могу подписать.

— Ты не подписал.

Глеб посмотрел на строку. Потом взял ручку снова. И внизу, под своей строкой, расписался.

Подпись вышла неуверенной. Левой рукой. Буква «Н» — без петли. Просто палочка, перекладина, палочка, как пишут дети в первом классе, когда ещё не придумали себе почерк.

Он посмотрел на подпись долго. Изольда видела, как у него дрогнул угол рта — та самая складка, которая появлялась, когда он собирался сказать что-нибудь едкое.

— Не мой почерк, — сказал он.

— Левая рука, — сказала Изольда. — Плечо.

— Да, — сказал Глеб. — Конечно. Левая.

Он закрыл журнал. Повесил обратно на дверь — сам, на крючок, — и вышел. Не прощаясь. Изольда слышала, как его шаги уходят по коридору: медленные, неровные, с остановками, как у человека, который заново учится ходить по собственному дому.

Она сидела у стола. Потом встала, сняла журнал с крючка, открыла на его странице.

«Участник: Норвин Г.» И подпись — без петли.

Она не исправила.

Она закрыла журнал, повесила на место и пошла к себе. В коридоре ей встретился Макар — шёл в машинный, к своему четвёртому насосу, который шумел на сорок герц. Он кивнул ей. Не остановился. Раньше он всегда останавливался — сказать что-нибудь, пошутить, спросить. Теперь кивнул и прошёл.

У двери Дининой каюты всё ещё висела распечатка: «НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ. ЭТО НЕ МУСОР. ЭТО ПОКА». Изольда остановилась перед ней. Прочитала. И вдруг поняла, что в первый раз за все четырнадцать месяцев ей не хочется улыбнуться.

У себя в каюте она достала чёрный блокнот. Открыла на последней странице, где утром написала про С.О.Н.Ю.: «Риск? Или характер?» Ниже дописала:

Двое помнят приказ, которого не было. Один из двоих — я.

Глеб — «участник». Не исправила.

Макар не остановился. Дина не отдала картонку. Журнал работает. Доверие — нет.

Она перечитала. Подумала. И в самом конце, отдельной строкой, мельче, так мелко, как никогда раньше не писала, — как пишут то, чего не собираются показывать никому:

Я забочусь о них. Они это видят. Им от этого страшно.

Почему?

Глава 11. Существование по накладной

Документ на себя Глеб получил в тамбуре сервиса.

Тамбур был тесным — шлюзовая камера на краю девятого дока, между «Порогом» и стеной, куда приходили накладные на всё, что док принимал и выдавал. Стены — тот же ровноволокнистый не-дерево, только потемневший от времени, в пятнах, с царапинами на уровне пояса, где за тысячелетия задевали тележки. В стене — щель выдачи, широкая и низкая, похожая на прорезь почтового ящика. Из щели выполз лист.

Глеб взял его левой рукой. Правая всё ещё болела.

Лист был тёплым, как все листы здесь, и на нём, на языке первого контакта, крупными знаками было написано:

НАКЛАДНАЯ.

ПОСТУПЛЕНИЕ: ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНТУРА «НОРВИН Г.».

ВЕС НЕТТО: 71,4 (ЕД.).

КОЛИЧЕСТВО: 1.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: СВИДЕТЕЛЬ, РЕКОНСТРУКЦИЯ.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ НОСИТЕЛЬ: «НОРВИН Г.» — ОСТАТКИ, НА ХРАНЕНИИ У СВИДЕТЕЛЯ.

СТАТУС: ОБРАЗЕЦ (ДО УСТАНОВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ).

ПОЛУЧАТЕЛЬ: —.

Он прочитал это один раз. Потом — второй, медленно, по полям, как читал любой документ: сначала шапку, потом основание, потом подпись. Подписи не было. Получатель — прочерк.

Вес нетто — семьдесят один и четыре. В каких единицах — не сказано. Глеб весил семьдесят восемь до аварии. Значит, единицы не их. Или — значит, он потерял шесть с половиной килограммов. Иней. Волосы. Кожа с пальцев. То, что ленты сняли с него на платформе, как снимают обгоревшую корку. Всё это теперь лежало где-то отдельно, в графе «предшествующий носитель — остатки», и тоже имело вес.

— Хорошая накладная, — сказала Дина.

Она стояла рядом. Она пошла с ним сама — без просьбы, просто, когда он сказал за завтраком, что его вызывают в тамбур сервиса за документом, встала и пошла следом. Сказала: «Мне всё равно туда надо, там приёмка отходов». Глеб знал, что ей туда не надо. Не стал спорить.

— Чем хорошая? — спросил он.

— Аккуратная. Все графы. Вес, количество, происхождение. — Дина смотрела на лист через его плечо. — Я на Земле такие подписывала каждый день. На отходы. «Поступление: лом цветного металла. Вес нетто. Происхождение». Только у меня никогда не было графы «предшествующий носитель».

— У лома не бывает предшествующего носителя.

— У лома всегда есть предшествующий носитель, — сказала Дина. — Просто его никто не записывает.

Глеб посмотрел на неё. Она не улыбалась.

* * *

— Статус: образец, — сказал он вслух. — До установления непрерывности.

— Что это значит?

— Это значит, что я — материал. Исследовательский. Свидетель меня собрал и теперь имеет на меня права, пока не выяснит, тот ли я, кого он собирал.

— А как он выяснит?

— Не знаю. — Глеб повертел лист в пальцах. — Наверное, исследованием.

В стене, рядом со щелью выдачи, зажглась панель — тёмная, гладкая, чуть вогнутая, похожая на ту пластину, что была у Ордиса вместо лица. На ней проступили знаки.

ПОЛУЧАТЕЛЬ НЕ УКАЗАН. УКАЖИТЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ОБРАЗЦА.

Глеб смотрел на панель.

— Ордис? — спросил он.

ДА, — проступило на панели. Потом, после паузы: — Я НЕ ЗДЕСЬ. ЭТО КАНАЛ. Я НА ПЛАТФОРМЕ. Я ВИЖУ ВАС ЧЕРЕЗ ТАМБУР.

— Кто должен быть получателем?

ТОТ, КТО БЕРЁТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБРАЗЕЦ. ОБЫЧНО — ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЕДИНИЦА СВИДЕТЕЛЯ. Я. ЛИБО — ВЛАДЕЛЕЦ, ЕСЛИ ВЛАДЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО.

— Владение не установлено.

ДА. ПОЭТОМУ — Я.

— А если я откажусь?

Пауза на панели. Длинная.

ВЫ МОЖЕТЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ, — проступило наконец. — Я НЕ БУДУ ВАС ДЕРЖАТЬ. НО ТОГДА ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА НЕПРЕРЫВНОСТЬ. БЕЗ ИССЛЕДОВАНИЯ — НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА — НЕТ ПРАВА НА ИМЯ.

— На имя?

«НОРВИН Г.» — ИМЯ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО НОСИТЕЛЯ. ЕСЛИ НЕПРЕРЫВНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА, ИМЯ ОСТАЁТСЯ ЗА НИМ. ЗА ОСТАТКАМИ. ВЫ — ПРОДОЛЖЕНИЕ. У ПРОДОЛЖЕНИЯ ИМЕНИ НЕТ.

Глеб стоял с накладной в руке.

У продолжения имени нет. Имя — за остатками. За шестью с половиной килограммами инея, волос и кожи, которые лежали где-то на платформе, в графе «на хранении», и которые были Глебом Норвиным больше, чем он, потому что они точно были там, в проходе, в 13:52, когда Дина поправляла ему маску.

— А если исследование, — сказал он, — то сколько?

НЕ ЗНАЮ, — проступило на панели. — ДОЛГО. МОЖЕТ БЫТЬ — ВСЕГДА. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ТРУДНО ДОКАЗАТЬ. Я НИ РАЗУ НЕ ДОКАЗАЛ. НИ ДЛЯ КОГО.

— Ни разу?

НИ РАЗУ. Я ЧЕСТЕН С ВАМИ. Я ЧИНЮ КОНТУРЫ. Я НЕ ЗНАЮ, КОГО Я ЧИНЮ. Я МНОГО РАЗ ПЫТАЛСЯ УЗНАТЬ. Я ХРАНЮ ВСЕ ПОПЫТКИ. ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ.

* * *

Попытки он хранил в библиотеке.

Ордис сам предложил — на панели проступило: «ЕСЛИ ХОТИТЕ — Я ОТКРОЮ ОКНО», — и Глеб сказал «да» раньше, чем подумал, хочет ли. Тогда стена тамбура рядом с

щелью выдачи — не панель, а сама стена, тёмная, ровноволокнистая, — стала медленно светлеть, как светлеет запотевшее стекло, если по нему провести рукой. Стала прозрачной. За ней была комната.

Не комната. Зал. Длинный, уходящий далеко вглубь, в тёплую желтоватую полутьму, — и в нём стеллажи. Ряды стеллажей, от пола до потолка, тесно, как в архиве, как в той библиотеке старых бумаг, где Глеб работал на практике в двадцать два года. На стеллажах — ячейки. На каждой ячейке — бирка. В каждой ячейке — что-то.

Глеб смотрел. Дина рядом с ним — тоже. Он чувствовал её плечо у своего плеча, в полусантиметре, не касаясь.

В ячейках лежали остатки.

Он не сразу понял, что это. Сначала — просто предметы: свёртки, капсулы, прозрачные контейнеры разной формы, что-то вроде пробирок, что-то вроде коробок. Потом присмотрелся. В ближайшей ячейке, на уровне его глаз, в прозрачном цилиндре, лежало что-то серое, сухое, свёрнутое кольцом, похожее на сброшенную змеиную кожу — только кожа была с пальцами. В соседней — что-то мягкое, бледное, в жидкости, медленно поворачивающееся, как поворачивается в воде водоросль. В следующей — сгусток, тёмный, неподвижный, с единственной тонкой нитью, уходящей в стенку контейнера.

На каждом — бирка. Знаки, которых Глеб не знал. И под ними, мелко, — знаки языка первого контакта. Те же, что в его накладной.

«ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ НОСИТЕЛЬ — ОСТАТКИ».

Тысячи. Он не мог сосчитать — стеллажи уходили вглубь, в полутьму, туда, где их уже не было видно. Тысячи ячеек. Тысячи предшествующих носителей. Каждый был кем-то до того, как его починили. Каждого починили. И от каждого осталось вот это — то, что сняли, когда чинили, — и лежит здесь, с биркой, на хранении. Аккуратно. Бережно. Как хранят то, что жалко выбросить.

— Это мусор, — сказала Дина тихо.

Глеб повернулся к ней.

— Это мусор, — повторила она. Не презрительно. Наоборот — так, как говорят о чём-то очень важном. — Это то, что срезали. Что сняли. Что после ремонта остаётся на полу. Они это не выбросили. Они это… сохранили.

Она смотрела в окно. Глеб видел её лицо в отражении — бледное, сосредоточенное, такое, какое бывало у неё, когда она разбирала свои трубки и вдруг находила одну живую.

— Зачем? — спросила она панель.

ПОТОМУ ЧТО НЕЛЬЗЯ ДОКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО — НЕ ОН, — проступило на панели. — ЕСЛИ НЕПРЕРЫВНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА — ИМЯ ОСТАЁТСЯ ЗА ОСТАТКАМИ. ИМЯ НЕЛЬЗЯ ВЫБРОСИТЬ. ПОЭТОМУ НЕЛЬЗЯ ВЫБРОСИТЬ ОСТАТКИ.

— И вы храните их — сколько?

ВСЕГДА.

Дина молчала. Потом спросила — очень тихо, не панель, а будто себя:

— А там есть… его?

Глеб понял, о ком она, раньше, чем Ордис ответил.

ДА. ВОТ.

Свет в зале дрогнул, сместился. Одна ячейка — не в глубине, а близко, на третьем стеллаже от окна, на уровне груди — стала ярче. Глеб увидел контейнер. Прозрачный, продолговатый, размером с обувную коробку. Внутри — белое. Иней. Он сначала подумал, что это иней —

потом увидел, что это волосы: короткие, светлые, обрезанные, спутанные в комок, вперемешку с чем-то тонким, полупрозрачным, похожим на кальку. Кожа. С пальцев. С губ. С ресниц.

На бирке — знаки. «НОРВИН Г. — ОСТАТКИ. ВЕС: 6,6 (ЕД.)».

Шесть и шесть. Семьдесят один и четыре плюс шесть и шесть — семьдесят восемь. Ровно. Всё сходилось. Вся его арифметика — здесь, на стеллаже, в обувной коробке, с биркой.

Глеб смотрел на коробку и чувствовал — не страх, не горе, ничего из того, что он, наверное, должен был чувствовать. Он чувствовал профессиональное. То самое, что чувствовал всегда, когда находил в архиве первоисточник: облегчение. Вот оно. Вот исходный носитель. Он существует. Он хранится. Его можно предъявить.

А потом — сразу, без перехода, — другое. Холодное, медленное, поднимающееся откуда-то снизу, от желудка, как поднимается вода в затопленном отсеке.

Это его исходный носитель. А он — нет.

— Глеб, — сказала Дина.

Он не ответил.

— Глеб. Смотри.

Она показывала не на его коробку. На соседнюю ячейку. На стеллаже рядом, чуть ниже, в таком же продолговатом прозрачном контейнере, лежало что-то тёмное, свёрнутое. Бирка: знаки, которых Глеб не знал, и под ними, языком первого контакта: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЗВРАЩЕНА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ОТКАЗАЛОСЬ ОТ ИМЕНИ. ОСТАТКИ: ПРИ ИМЕНИ».

А ниже — ещё одна, и ещё. «ПРОДОЛЖЕНИЕ ОТКАЗАЛОСЬ ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ». «ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕКРАТИЛО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ». «ПРОДОЛЖЕНИЕ НЕ ВОССТАНОВЛЕНО — ОСТАТКИ ЕДИНСТВЕННЫЕ».

— Все они, — сказала Дина. — Все они — как ты. Кого-то из них тоже собрали. И кто-то потом отказался. А это всё равно лежит.

ДА, — проступило на панели. — Я ХРАНЮ ВСЁ. Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ВАЖНО. ПОЭТОМУ ХРАНЮ ВСЁ.

* * *

Ордис предъявил ему техническую копию через час.

Глеб попросил. Он стоял у окна библиотеки — Дина ушла к приёмке отходов, ей действительно оказалось туда надо, или она сделала так, чтобы оказалось, — и смотрел на свою обувную коробку на третьем стеллаже, и вдруг сказал, не оборачиваясь, в панель:

— Покажите мне, как вы меня собирали. Протокол. Всё, что записано.

ЭТО ТЕХНИЧЕСКАЯ КОПИЯ, — проступило на панели. — ОНА ДЛИННАЯ.

— Я умею читать длинное.

Панель потемнела. Потом на ней поплыли строки — медленно, ровно, одна за другой, как плывут титры. Язык первого контакта, с той же разметкой конвертов в конвертах, которую Ариадна уже научилась раскладывать, а Глеб — пока нет. Но числа он читал. Времена — читал. Порядок — читал.

13:41. Открытие дела: «угроза необратимой потери контура». Это и было время записи — Васса оказалась права. Не время, когда его забрали. Время, когда свидетельские датчики на внешнем корпусе зафиксировали падение давления в посту и рассчитали, что контур в нём через двадцать минут перестанет существовать. Открыли дело. Заранее. По расчёту.

13:55. Физический контакт. Ленты в проходе.

13:58. «Прекращение самостоятельной активности контура».

Глеб остановил строку. Перечитал. «Прекращение самостоятельной активности». Не «смерть». Не «остановка». Прекращение. Как прекращают подписку. Как прекращают дело за отсутствием состава.

14:02–23:10. Восстановление.

Здесь строк было много. Сотни. Глеб листал их — панель листалась, когда он вёл по ней пальцем, — и видел цифры, проценты, отметки: «ткань сохранена — восстановлена по ткани», «ткань утрачена — восстановлена по карте», «карта неполна — восстановлено по модели», «модель неполна — заполнено из доступных источников». Доступные источники. Он остановился на этой строке. Ниже — перечень. Шифры, которых он не знал, — и среди них, на языке первого контакта, те, которые знал: «АРХИВ В, УЗЕЛ ПРИ ШЛЮЗЕ-2, ЛИЧНЫЕ ДЕЛА ЭКИПАЖА, РАЗДЕЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ».

Собеседования. Изольдины.

Макаровская поговорка. «Если шумит — значит, живое».

Глеб читал дальше. Он искал одно. Одну строку. Ту, которой не мог не быть, если всё это было тем, чем казалось: строку между 13:58 и 14:02. Четыре минуты. Между «прекращением самостоятельной активности» и «восстановлением». Между тем, кто полз по проходу к лазу, и тем, кто открыл глаза на девятом часу и спросил про картридж.

Он нашёл эти четыре минуты.

Там было пусто.

Не выжжено, как поля на справке Квеля. Не красное. Просто — ничего. Строка: «13:58–14:02: контур без самостоятельной активности. Поддержание носителя». И всё.

Ни одной отметки. Ни одного процента. Ни одной строчки о том, что в эти четыре минуты было — или не было — внутри.

— Здесь пусто, — сказал Глеб.

ДА.

— Почему?

ПОТОМУ ЧТО Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ТАМ БЫЛО, — проступило на панели. — Я ПОДДЕРЖИВАЛ ТЕЛО. Я НЕ ВИДЕЛ ТОГО, КТО В НЁМ. ЕСЛИ ОН БЫЛ — Я ЕГО НЕ ВИДЕЛ. ЕСЛИ ЕГО НЕ БЫЛО — Я ЭТОГО ТОЖЕ НЕ ВИДЕЛ. ЭТОТ МОМЕНТ НЕ ЗАПИСЫВАЕТСЯ. Я ПЫТАЛСЯ. ТЫСЯЧИ РАЗ. ОН НЕ ЗАПИСЫВАЕТСЯ.

Глеб стоял перед панелью.

Четыре минуты. Пустая строка. В ней — всё. Ответ. Тот или не тот. Продолжился он или кончился. Существует ли сейчас Глеб Норвин — или существует кто-то, у кого есть его тело, его карта, его поговорки и одна чужая, и кто стоит в тамбуре сервиса и читает техническую копию собственного изготовления.

Ответа не было. Его нельзя было записать. Не потому что его скрыли — потому что его нельзя было увидеть. Ни Ордису, с его тысячами попыток. Ни Вассе с её капиллярной трубкой. Ни ему самому.

Ни ему самому.

Он вдруг понял: он не знает. Он, Глеб, — или тот, кто называет себя Глебом, — не знает, продолжился ли он. Он помнит пломбы. Помнит чай. Помнит восемь подписей. Помнит, как резал кабель, как полз по проходу, как маска не прилегала к щеке, — помнит это изнутри, как своё. Но ровно так же он помнил бы, если бы его собрали по карте и заполнили пробелы из доступных источников. Карта была точной. Карта была его. Память, построенная по точной карте, ощущается изнутри так же, как память, которая продолжилась.

Он не может отличить. Никто не может. Даже он.

— Ордис, — сказал Глеб.

ДА.

— Я не знаю, продолжился ли я.

Я ТОЖЕ.

— Я, наверное, никогда не буду знать.
ВЕРОЯТНО.

— Тогда я не могу претендовать на непрерывность, — сказал Глеб. — Ты прав. Без доказательства — нет права на имя.
Панель молчала.
— Но я не образец, — сказал Глеб.
ПОЧЕМУ?

— Потому что образец — это то, что исследуют, чтобы узнать, кто это, — сказал он. — А я знаю, кто я. Не кем был — кто есть. Я тот, кто стоит здесь. Кто читает эту строку и не находит в ней ничего. Кто сейчас разговаривает с тобой. — Он помолчал. — Я не знаю, тот ли я, кто полз по проходу. Но я точно тот, кто стоит в тамбуре. Это — установлено. Это ты сам записал. В 23:10: «контур функционирует». Вот он. Функционирует. Я его не уступлю на исследование ради ответа, которого нет.
Панель молчала очень долго.
Потом на ней проступило:
ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ.

— Да.
ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ПРЕТЕНЗИИ НА НЕПРЕРЫВНОСТЬ.

— Да.
ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ СТАТУСА ОБРАЗЦА.

— Да.
ТОГДА У ВАС НЕТ СТАТУСА, — проступило на панели. — У ВАС НЕТ ИМЕНИ. У ВАС НЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ. В НАКЛАДНОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛУЧАТЕЛЬ. БЕЗ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОСТУПЛЕНИЕ СЧИТАЕТСЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫМ.

— И что бывает с невостребованными?
ИХ ПЕРЕДАЮТ, — проступило. — ТОМУ, КТО ПОТРЕБУЕТ. ИЛИ — НА УТИЛИЗАЦИЮ. ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА.

— Какого срока?
ТРИ ВАШИХ ДНЯ.

* * *

Он вернулся на «Порог» с накладной в руке, и в коридоре его встретила Изольда.
Она ждала — Глеб понял это сразу, по тому, как она стояла: у стены, возле двери в медблок, где висел журнал на шнурке, так, чтобы видеть шлюз. Она была бледной. Она редко бывала бледной.
— Глеб, — сказала она. — Мне нужно с тобой поговорить. По режиму.
— Говори.
— С сегодняшнего дня твой доступ к корабельному архиву — ограничен, — мягко, ровно сказала Изольда. Глеб слышал, как ей трудно. — Не полностью. Архив А — только чтение, без

записи. Архив Б, холодный, — закрыт до независимой проверки. Архив В — закрыт. Связь — без права подписи. Я согласовала с капитаном.

— Почему сегодня?

— Потому что вчера я нашла у себя в голове чужую сводку, — сказала Изольда. — Свидетеля. Про тебя. «Старший помощник, направлен на пост по приказу». Я её помнила как голос капитана. Лев тоже. Это пришло из архива В, через шину, через их систему, — к нам обоим. Я не знаю, что ещё пришло. К кому. Ты — единственный, кто прошёл полную процедуру. Если в тебе есть ещё что-то чужое — я не хочу, чтобы оно попало в архивы. Это не наказание. Это…

— Безопасность, — сказал Глеб.

Изольда помолчала.

— Да, — сказала она. — Безопасность.

Глеб протянул ей накладную. Она взяла. Прочитала. Он видел, как её глаза останавливаются на «статус: образец», на «получатель: —», и как её лицо меняется — не сильно, чуть-чуть, — как меняется у человека, который понял, что пришёл с плохой новостью к тому, у кого уже есть хуже.

— Три дня, — сказал Глеб. — Если никто меня не востребует — меня передадут тому, кто потребует. Или утилизируют. Я отказался от статуса образца. Значит, я невостребованный. Невостребованные — три дня.

— Глеб…

— Это не обвинение, — сказал он. — Это просто чтобы ты знала. Ты ограничила мне доступ к архиву. Хорошо. Правильно, наверное. Через три дня — может, ограничивать будет некого.

Изольда стояла с накладной в руке.

— Кто может тебя востребовать? — спросила она.

— Ордис. Если я соглашусь быть образцом. Или владелец. Если владение установлено.

— Владение не установлено.

— Нет.

Изольда смотрела на накладную. Потом подняла глаза — не на него, а дальше, по коридору, к повороту, за которым был командный отсек.

— Капитан, — сказала она. Не громко. Не в общую связь. Просто — так, как говорят имя человека, который должен это услышать.

* * *

Виктория прочитала накладную дважды. Потом позвала Квеля.

Квель пришёл через сорок минут, с головой под мышкой, и остановился в командном, посреди отсека, и Виктория, не дожидаясь, пока он поднимет голову, опустилась на одно колено — как тогда, в первый день, — и положила накладную себе на колено, и протянула Квелю.

Квель поднял голову. Посмотрел на накладную всеми шестью глазами — долго.

— Невостребованное продолжение, — сказал он через адаптер. — Три дня.

— Я хочу его востребовать, — сказала Виктория.

— Вы не можете. Вы — поступление. Поступление не может быть получателем.

— Я — капитан.

— В реестре нет графы «капитан».

— А какая есть?

Квель помолчал.

— «Лицо, сопровождающее поступление и отвечающее за его сохранность», — сказал он. — Такая графа есть. Её заполняют, когда поступление сопровождает кто-то, кто за него отвечает. Пастух за стадо. Возчик за груз.

— Я отвечаю за экипаж.

— Тогда вы можете заявить себя лицом, отвечающим за сохранность, — сказал Квель. — Не лицом вообще. Только этим. Отвечающим. Это узкая графа. Но она — лицо. В ней.

— И тогда?

— И тогда вы можете быть получателем, — сказал Квель. — Того, за что отвечаете.

— Делайте.

Квель не двинулся.

— Простите, — сказал он. Глеб, стоявший у стены, узнал номер: первый. Официальное предупреждение. — Вы должны понимать, что заполняете. Если вы заявите себя лицом, отвечающим за сохранность экипажа, — экипаж будет записан как то, за что вы отвечаете. Как сохраняемое. Как ваше.

— Моё — что?

— Ваше, — сказал Квель. — Просто ваше. Реестр не различает, что именно. Он различает — чьё.

Виктория стояла на одном колене. Накладная лежала у неё на колене. Глеб смотрел на её лицо — сбоку, от стены, — и видел, как в нём что-то складывается, раскладывается и складывается снова, как тогда, в первый день, когда исполнитель с прессом развернулся и ушёл от одной графы.

— Если я этого не сделаю, — сказала она, — его утилизируют через три дня.

— Или передадут тому, кто потребует.

— Кто может потребовать?

— Любой, — сказал Квель. — Кто заплатит за хранение.

Виктория посмотрела на Глеба.

Он стоял у стены. Он не сказал ни слова с того момента, как Изольда позвала её по имени. Он не знал, что сказать. Он знал, что сейчас происходит, — понимал лучше, чем кто-либо в этом отсеке, потому что одиннадцать лет проверял, кто и что подписал, и знал, что подпись — это не слово, это дверь, и что, когда её открывают, через неё можно пройти в обе стороны.

— Глеб, — сказала Виктория. — Ты согласен?

Он посмотрел на неё. Капитан, на одном колене, на полу командного отсека. Пластинка на груди — «ШТАЛЬ В. А. — КАПИТАН» — со стёртыми краями букв. Накладная на колене. Он вспомнил, как она вставляла жетон последней. Как сказала: формула прекращения — по требованию любого. Как сказала: «Чтобы мне было стыдно».

Он вспомнил — или ему казалось, что вспомнил, — как она сказала по общей связи: «Глеб. Уходи с поста. Это приказ». И как он не ушёл.

— Если ты это подпишешь, — сказал Глеб, — я буду твоим.

— Я знаю.

— Не членом экипажа. Твоим. Как груз у возчика.

— Я знаю.

— И если потом ты решишь, что для сохранности твоего что-то нужно сделать — со мной, с кем угодно из нас — у тебя будет на это графа. Узкая. Но графа.

Виктория молчала. Глеб видел, как она слышит это. Как это доходит. Не до головы — голова поняла раньше, — а глубже, туда, где у неё лежали вещи, которые ей сейчас были не нужны. Звук из-за переборки. Сорок ударов в минуту.

— Я знаю, — сказала она в третий раз. Тише.

— Тогда подписывай, — сказал Глеб.

— Ты согласен?

— Нет, — сказал Глеб. — Но я не хочу на утилизацию. Это не согласие. Это выбор из двух. Запиши так.

— С.О.Н.Я., — сказала Виктория, не поднимая головы. — Запиши: Норвин не согласен. Выбирает из двух.

— Записано, — сказала С.О.Н.Я.

Квель поднял ступню. Поставил её на накладную — на колено капитана. Подписал. Виктория не шелохнулась.

Потом Квель протянул ей пинцетной рукой маленькое стило — старое, истёртое, с пометками на корпусе, — и она поставила свою подпись в графе «получатель». Рядом с прочерком, поверх прочерка. «Шталь» — коротко, резко, как подписывают приказы.

На панели в стене командного отсека — той, которую С.О.Н.Я. теперь держала включённой постоянно, чтобы видеть статус «Порога» в реестре, — проступила новая строка. Под «Порог: живое имущество на ответственном хранении» — ещё одна, мельче:

НОРВИН Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ): НА ОТВЕТСТВЕННОМ ХРАНЕНИИ У ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА СОХРАННОСТЬ. ЛИЦО: ШТАЛЬ В.

А ниже, через секунду, ещё одна — и Глеб увидел, как Виктория читает её и как у неё каменеет лицо:

ЭКИПАЖ «ПОРОГА» (7): НА ОТВЕТСТВЕННОМ ХРАНЕНИИ У ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА СОХРАННОСТЬ. ЛИЦО: ШТАЛЬ В.

Семь. Все, кроме неё самой. Реестр не различал, что именно. Он различал — чьё. Она заявила себя отвечающей за сохранность экипажа — и реестр записал экипаж.

Весь.

— Капитан, — сказала из дверей Изольда. Глеб не видел, как она вошла.

Виктория медленно встала. Взяла накладную с колена. Посмотрела на панель — на «7», на «Шталь», на «на ответственном хранении у лица». Её руки были спокойными. Глеб уже знал, что это значит.

— Значит, так, — сказала она. Не им. Себе. — Одна графа. И вы все — мои.

Никто не ответил.

Квель опустил голову к поясу.

— Простите, — сказал он.

Глеб не стал гадать, какой это был номер. Он знал. Он стоял у стены командного отсека, с правой рукой, которая всё ещё болела, — существование по накладной, вес нетто семьдесят один и четыре, получатель: Шталь В., — и думал о том, что час назад был невостребованным и имел три дня, а теперь — востребован, и дней у него сколько угодно, и что он ещё не решил, какое из двух состояний было свободнее.

Глава 12. Закрыть невозможно

Траекторию прорыва Лев нарисовал на салфетке.

Это было на шестой день, в кают-компании, после ужина, которого почти никто не ел. Салфетка была бумажная, из коробки на столе, — Дина экономила их, складывала использованные отдельно, «на ветошь», — и Лев взял чистую, разгладил её ладонью на столе и стал рисовать карандашом. Рука у него дрожала. Виктория смотрела на эту руку и думала, что за четырнадцать месяцев ни разу не видела, чтобы Лев рисовал что-нибудь от руки. Он всегда считал. На экране, в таблицах, в колонках. А сейчас — на салфетке, карандашом, как рисуют маршрут на коленке, когда навигатор сломался.

— Здесь мы, — сказал он. Кружок. — Девятый док. Три зажима. Здесь — выход из дока. Ворота. Я не знаю, как они открываются, но они открылись, когда нас втаскивали, значит, могут открыться снова. Здесь — коридор М1, по которому нас тащили. Четырнадцать минут хода на буксире. Если на своих маневровых — восемь. Если на восьмидесяти процентах, как дал Макар до захвата, — шесть.

— Макар больше не даёт восемьдесят, — сказала Виктория.

— Знаю. — Лев не поднял глаз. — Шестой шпангоут. Магистраль. Резервные накопители отрезаны. Он даёт пятьдесят пять. На пятидесяти пяти — одиннадцать минут до выхода из коридора. Это если ворота откроются. Если зажимы отпустят. Если буксиры за нами не пойдут. Если в коридоре нет встречного движения, которого мы не видим. Если на выходе нас не ждёт тот, кто ждал на входе.

Он поставил на салфетке крестик. Потом ещё один. Потом — цифру. Виктория прочитала её вверх ногами.

— Сорок один процент, — сказал Лев. — Вероятность, что мы выйдем из коридора живыми и с кораблём, пригодным для дальнего хода. Это если я всё правильно посчитал. А я считал без половины данных, потому что у нас нет половины датчиков.

Никто не засмеялся. Никто не сказал «Лев, ну ты как всегда». Все смотрели на салфетку.

Сорок один. Виктория знала эту цифру. Не именно эту — но такие. Цифры, которые меньше половины, но не настолько меньше, чтобы от них можно было просто отказаться. Цифры, за которые хватаются. На «Ладоге» у неё была похожая. Тридцать восемь, сказал тогда навигатор, — тридцать восемь процентов, что технический люк из четвёртого отсека выведет к шлюзу до того, как упадёт давление. Тридцать восемь. Она не стала проверять. У неё было семь минут, и пятеро в соседнем отсеке, и сорок ударов в минуту из-за переборки. Она закрыла отсек.

— А если не выйдем, — сказала она, — что с нами будет?

— Пятьдесят девять процентов, — сказал Лев. Голос у него стал совсем тихим. — Из них: двадцать два — нас остановят и вернут в док, может быть, с повреждениями. Двадцать — нас раздавят ворота, или зажимы, или буксир. Семнадцать — мы выйдем из коридора, но корабль будет непригоден для дальнего хода, и мы повиснем снаружи без ремонта, без снабжения и без дока, и тогда, — он помолчал, — тогда, наверное, медленно.

— Медленно, — повторила Виктория.

— Медленно, — сказал Лев.

* * *

Утром того же дня был суд.

Виктория называла это судом про себя, хотя Квель сказал, что это не суд, а «разбирательство о владении в порядке первичной классификации», и что разница существенная, но не сказал, в чём. Её вызвали лично. Квель пришёл за ней, с головой под мышкой, и повёл через

док, мимо зажима с синей заплатой, через тамбур, в коридор, которого она ещё не видела, — длинный, высокий, с полом из того же истёртого до глянца не-дерева, — в зал.

Зал был маленьким. Это её удивило: после трёх очередей, о которых рассказывала Ариадна, после огромного приёмного зала, она ждала чего-то огромного. Здесь было тесно, как в кабинете. Стены — тёмные, гладкие, с панелями. Пол — с одной дорожкой, вытертой от двери к центру. В центре — пустое место, круг, чуть светлее остального пола. Туда Квель её и поставил.

— Стойте здесь, — сказал он. С пояса. — Не выходите из круга. Если выйдете — разбирательство продолжится без вас.

— А если останусь — со мной?

— С вами, — сказал Квель. — Это лучше.

Он отошёл к стене и встал там, у панели, неподвижно, как стоят часовые.

Варгесс вошёл через минуту.

Он был высоким. Выше Квеля — в полтора раза, выше Ордиса, выше всего, что Виктория здесь видела, кроме исполнителя с прессом. Угловатый, узкий, весь — прямые линии и острые углы. Покрытый чем-то чёрным, плотным, матовым, похожим на хорошо сшитый костюм, только костюм этот двигался: по нему, по рукавам, по полам, медленно ползли тонкие отростки, и на концах отростков что-то поблёскивало — маленькие, точные, как ювелирные инструменты, аппараты, которые, догадалась Виктория, ставили печати. За ним шли двое — охрана, наверное, или помощники, — с терминалами на груди, тёмными, как его костюм.

Лицо у Варгесса было почти человеческим. Это было хуже всего. Не шесть глаз, как у Квеля, не пластина, как у Ордиса, не проступающее из стены лицо Сефры, — а лицо: продолговатое, сухое, с двумя глазами, ртом, линией носа. Только выражение на этом лице появлялось с опозданием. Сначала — пустота. Потом, через полсекунды, — то, что должно было быть: внимание, вежливость, лёгкая усталость человека, который ведёт сотое за день разбирательство. Как будто лицо собирали из частей, и части подходили к месту не все сразу.

Он остановился напротив неё. За пределами круга, в трёх шагах.

— Капитан, — сказал Варгесс. Адаптер у Квеля на поясе переводил, и голос, который выходил из адаптера, был низким, приглушённым, с паузами там, где они должны быть. — Я — Варгесс. Я веду разбирательство о владении поступлением в девятом доке. Вы — лицо, отвечающее за сохранность. Вы вправе присутствовать.

— Я присутствую, — сказала Виктория.

— Хорошо. — Лицо догнало слово: лёгкий наклон головы, почти поклон. — Я изложу основания удержания. Затем вы изложите возражения. Затем я приму решение. Решение будет исполнено. Так устроено разбирательство. Вопросы есть?

— Есть, — сказала Виктория. — Мы не имущество.

Варгесс смотрел на неё. Лицо было пустым — полсекунды. Потом на нём проступило выражение, которое Виктория определила как вежливый интерес.

— Это не вопрос, — сказал он.

— Это возражение.

— Возражения — после оснований.

— Я хочу, чтобы оно было записано первым, — сказала Виктория. — До оснований. Чтобы любой, кто прочитает запись, видел: прежде чем вы что-либо сказали, я сказала, что мы не имущество. Восемь людей. Мы прибыли с намерением наблюдения. Мы ничего не трогали. Мы — лица.

Варгесс молчал. Один из отростков на его рукаве медленно поднялся, коснулся терминала на груди помощника. Что-то щёлкнуло.

— Записано, — сказал Варгесс. — Первым. Как вы просили. Теперь основания.

* * *

Он излагал их двадцать минут. Ровно, полными предложениями, без театра. Виктория слушала и считала — не людей, их здесь не было, — а пункты. Варгесс говорил по пунктам. Она это ценила, против воли.

Первое: поступление прибыло без регистрации по месту возникновения в признанном реестре. Это не обвинение — констатация. Земля не была признанным реестром не потому, что её отвергли, а потому, что её никто не регистрировал.

Второе: поступление содержит девять контуров, из которых один — разногласный, а один — не локализован. Неклассифицированные контуры неизвестной природы представляют риск для прилегающих жителей. В девятом доке работают ремонтники, грузчики, исполнители. В соседних доках — семьи, живущие при доках. Если внутри поступления находится что-то, способное причинить вред, — реестр обязан это знать до того, как поступление получит право свободного перемещения.

Третье: поступление при приближении получило сведения, подлежащие изоляции. Изоляция исполнена частично. Носители, получившие сведения, — экипаж — могут распространить их. Это вопрос не Распорядителя, а Забвения, но Распорядитель обязан учитывать риск при определении режима.

Четвёртое: поступление повредило инфраструктуру дока. Буксировочный зажим номер три — тот, что у кормы, — получил трещину при рывке, когда поступление попыталось начать отход в момент исполнения доставки. Ремонт зажима — за счёт поступления.

Пятое: один из контуров поступления — «Кац Л.» — по данным Свидетеля, полученным при медицинском подключении, имеет выраженный аварийный страх и показатель опасного отказа навигационной функции.

Виктория вздрогнула. Она не ожидала. Она ждала всего — права, риска, денег, — но не этого.

— Поясните пятый пункт, — сказала она.

— Пятый пункт, — сказал Варгесс. Лицо догнало: лёгкое, почти сочувственное движение бровей. — При медицинском подключении для лечения повреждения дыхательных путей Свидетель произвёл стандартный замер. Контур «Кац Л.» отвечает за навигацию поступления. Контур демонстрирует уровень аварийного страха, при котором, по данным Свидетеля, вероятность ошибочного решения в критической ситуации превышает допустимую. Если поступление получит право свободного перемещения, его навигацию будет осуществлять контур, который, с высокой вероятностью, в критический момент совершит ошибку. Это риск для поступления. Это риск для всех, кто окажется на его траектории.

— Лев — лучший навигатор, с которым я летала, — сказала Виктория.

— Я не сомневаюсь, — сказал Варгесс. — Его квалификация не является предметом разбирательства. Предмет — его страх. Страх измерен. Измерение в реестре.

— Вы измерили его, когда лечили.

— Свидетель измерил его, когда лечил, — поправил Варгесс. — Это стандартная процедура. Пациент дал согласие на подключение. Замер — часть подключения.

Сорок секунд, подумала Виктория. Сорок секунд, за которые Ордис остановил Льву отёк лёгких. Лев согласился, потому что Васса надавила на него, и Васса была права. А теперь эти сорок секунд лежат в реестре как пятый пункт оснований для удержания.

— Решение, — сказал Варгесс. — Поступление удерживается в девятом доке в режиме карантина до завершения проверки контуров. Право свободного перемещения — не предоставляется. Жизнеобеспечение поступления — за счёт ресурсов дока, в кредит, с отнесением на счёт поступления. Ремонт — за счёт поступления, по мере возможности. Для снятия пятого основания — контур «Кац Л.» подлежит медицинскому освидетельствованию Свидетелем в Секционе.

— А если мы откажемся?

— Тогда жизнеобеспечение в кредит — прекращается, — ровно сказал Варгесс. Без нажима. — Я не могу приказать вашему телу перестать жить. Я могу лишить оборудование дока правового основания его поддерживать. Последствия вы знаете.

* * *

Виктория стояла в круге.

Она знала, что сейчас скажет. Она знала это с того момента, как Варгесс сказал «мы не имущество — это не вопрос». Она знала это со вчерашнего дня, с панели в командном отсеке, где под строкой о «Пороге» проступило: «Экипаж „Порога“ (7): на ответственном хранении у лица, отвечающего за сохранность. Лицо: Шталь В.».

— Я хочу сделать заявление, — сказала она.

— Делайте.

— Вчера я заявила себя лицом, отвечающим за сохранность экипажа. Чтобы одного из нас не утилизировали. Реестр записал весь экипаж как то, за что я отвечаю. Как моё. — Она говорила ровно. По пунктам. Как Варгесс. — Я отказываюсь от этого. Публично. При свидетелях. Они не мои. Я ими не владею. Я — их капитан. Это не владение. Это — обязанность.

Варгесс смотрел на неё. Полсекунды — пустота. Потом лицо догнало.

Виктория ожидала многого — раздражения, холода, вежливого отказа. Лицо Варгесса выразило другое. Сожаление.

— Вы вправе отказаться, — сказал он. — Это ваше право как лица, отвечающего за сохранность. Отказ будет записан. Последствия я обязан вам назвать. Если вы отказываетесь от ответственности за сохранность экипажа — экипаж становится невостребованным. Семь контуров. Невостребованные поступления хранятся три дня. Затем — передаются тому, кто потребует, или утилизируются. Вы, как лицо, отказавшееся от ответственности, к ним отношения иметь не будете.

Виктория стояла.

— Вы хотите, чтобы я отказалась? — тихо спросил Варгесс. Почти по-человечески. — Я спрашиваю, потому что я обязан спросить. Не потому, что я знаю ответ.

— Нет, — сказала Виктория.

— Нет — вы не отказываетесь?

— Нет. Я не отказываюсь.

— Тогда ваше заявление?

— Остаётся, — сказала Виктория. — Запишите: я заявляю, что не владею ими. И запишите: я не отказываюсь от ответственности за их сохранность. Обе вещи. Рядом.

Варгесс молчал. Отросток на его рукаве поднялся, коснулся терминала, замер. Не щёлкнул.

— Это противоречие, — сказал он.

— Да.

— Реестр не записывает противоречия.

— Тогда пусть запишет первое — и второе. Как два заявления. Пусть читающий видит оба.

Она услышала свои слова и узнала их. Это были не её слова. Это были слова С.О.Н.И., которые Изольда пересказала ей позавчера вечером, — «две колонки, пусть читающий видит обе». Она взяла их у корабля. Ей стало на секунду странно, как бывает странно, когда ловишь себя на чужом жесте.

Варгесс смотрел на неё долго. Лицо успело догнать и снова опустеть, и снова догнать.

— Записано, — сказал он наконец. — Два заявления. Рядом. Это ничего не изменит, капитан. Вы понимаете?

— Понимаю.

— Удержание остаётся. Карантин остаётся. Освидетельствование остаётся.

— Понимаю.

— Тогда зачем?

Виктория смотрела на него. На чёрный движущийся костюм, на маленькие поблёскивающие аппараты на концах отростков, на лицо, которое догоняло слова.

— Затем, что кто-нибудь когда-нибудь прочитает, — сказала она. — И увидит, что я сказала это первой. До оснований. И что вы записали.

Варгесс помолчал.

— Да, — сказал он. — Записал.

И лицо его — впервые за всё разбирательство — не догнало. Осталось пустым. На полсекунды дольше, чем нужно. Потом догнало, и было на нём что-то, что Виктория не смогла определить, и потом она много раз пыталась вспомнить и определить, и не смогла.

Он развернулся и вышел. Помощники с терминалами — за ним. Виктория осталась в круге. Квель отделился от стены.

— Можете выходить, — сказал он. С пояса. — Разбирательство окончено.

— Мы проиграли, — сказала Виктория.

— Да, — сказал Квель. — По форме.

— А по существу?

Квель помолчал. Потом поднял голову — медленно, удерживающей рукой, на уровень её лица.

— Он записал первым ваше «мы не имущество», — сказал Квель. — Он мог отказаться. Возражения — после оснований. Так устроено разбирательство. Он нарушил порядок. Я тридцать четыре цикла не видел, чтобы Варгесс нарушал порядок.

* * *

После ужина, над салфеткой, она смотрела на сорок один процент.

Макар сидел напротив. Он молчал, пока Лев говорил, — молчал, вертя в пальцах, свободных от шины, какой-то крепёж, болт с гайкой, из тех, что он собирал по всему кораблю и складывал в банку у себя в машинном. Когда Лев замолчал, Макар положил болт на стол.

— Пятьдесят пять процентов, — сказал он. — Это я сказал. Это не так. Это — если всё, что я перебрал за три дня, держит. Я не знаю, держит ли. Я перебирал с одной рукой, без половины деталей. Шестой шпангоут — на временной стяжке. Если на маневровых пойдёт перегрузка — стяжка может лопнуть. Тогда — не пятьдесят пять, а ноль. И дыра в борту.

— Сколько тебе нужно, чтобы стяжка держала?

— Шпангоут, — сказал Макар. — Новый. Или хотя бы композит, чтобы сделать новый. У нас нет. Здесь есть. — Он кивнул на стену, за которой был док. — Я видел у них на складе. Через окно тамбура. Листы. Похоже на наш композит. Может, лучше.

— Сколько стоит?

— Не знаю. Спроси Квеля.

Виктория посмотрела на Квеля. Квель стоял у двери кают-компании — он пришёл после разбирательства вместе с ней и не ушёл, просто стоял, с головой у пояса, и смотрел на их колени. Никто не предложил ему сесть. Виктория вдруг поняла, что никто не знает, сидит ли он вообще.

— Квель, — сказала она. — Ремонт. Материалы. Сколько?

— Шаг пятый, — сказал Квель через адаптер. — Переговоры о доступе к ремонту. Материалы дока предоставляются в кредит. С отнесением на счёт поступления. Вашего счёта.

— Какой у нас сейчас счёт?

Квель помолчал. Потом удерживающая рука подняла голову повыше, пинцетная достала из кармашка на боку лист — тёплый, конечно, — и протянула вежливой. Вежливая — ей.

Виктория посмотрела. Строки, строки, строки на языке первого контакта. Внизу — число. Она не знала, в каких оно единицах. Знала только, что оно большое. И что оно растёт:

внизу листа, мелко, стояла отметка, которую Ариадна вчера научила её читать, — «начисление: непрерывно».

— Жизнеобеспечение, — сказал Квель. — Воздух, вода, энергия, теплоотвод — с первого часа в доке. Ремонт зажима номер три. Хранение. Мой приём — тоже. — Он помедлил. — Перевод.

— Ваш приём — тоже за наш счёт?

— Да. Простите.

— А ваше взыскание? — спросила вдруг Ариадна. Она сидела у стены, как всегда, с планшетом, и, кажется, не слушала — а теперь подняла голову. — Обоняние. Его тоже на нас начислили?

Квель долго молчал.

— Нет, — сказал он. — Взыскание — моё.

Виктория смотрела на лист. На число, которое росло. На «начисление: непрерывно».

Она подумала о том, что Лев нарисовал на салфетке. Сорок один процент. Шесть минут на восьмидесяти. Одиннадцать — на пятидесяти пяти. Стяжка, которая может лопнуть. Ворота, которые могут не открыться. Зажимы, которые могут не отпустить. И медленно — семнадцать процентов медленно.

Она подумала о «Ладоге». О тридцати восьми процентах. О том, что тогда она не стала проверять, потому что было семь минут. Сейчас семи минут не было. Сейчас было сколько угодно минут — «начисление: непрерывно». Было время проверить. Было время подумать. Было время, в котором появлялось место для сомнения, и сомнение у неё всегда превращалось в один и тот же звук, и звук звучал сейчас, тихо, ритмично, сорок ударов в минуту, — и она вдруг поняла, что это не из-за переборки. Это у неё в висках.

Восемь человек. Сорок один процент. Ставка — все восемь.

А на другой стороне — лист с числом, которое растёт. Кредит. Ремонт за счёт поступления. Освидетельствование Льва. Карантин. «Живое имущество на ответственном хранении». Её имя в графе «лицо». Семь человек — её. Зависимость. Медленная, вежливая, по пунктам, — зависимость от дока, от реестра, от Квеля, от Варгесса, от тех, кто начисляет, и тех, кто записывает.

Сорок один процент — что они вырвутся. Или — сто процентов, что они останутся. Живыми. Чьими-то.

— Мы не прорываемся, — сказала Виктория.

Тишина за столом.

— Лев, — сказала она. — Спасибо. Это хороший расчёт. Честный. Я его сохраню. — Она взяла салфетку, сложила её вчетверо — аккуратно, как Дина складывала свою картонку, — и убрала во внутренний карман. — Но я не поставлю восемь человек на сорок один процент. Я так уже делала. Один раз. Не с сорока одним — с тридцатью восемью. И не восемь — один. Мы остаёмся. Ремонтируемся. В кредит. Платим, сколько скажут. Ищем выход медленно. Это решение моё.

— Капитан, — сказал Макар. Без спора. Он просто назвал её — как называют, чтобы проверить, слышит ли.

— Я знаю, Макар, — сказала Виктория. — Я знаю, что это значит. Это значит, что мы теперь — должники. Что мы зависим от них — за воздух, за воду, за каждый лист композита. Что каждый день здесь — это день, когда мы им должны больше, чем вчера. Что, может быть, мы никогда не расплатимся. Я знаю.

— Тогда почему?

— Потому что должник — живой, — сказала Виктория. — А в пятидесяти девяти процентах — нет.

Макар смотрел на неё. Потом взял со стола свой болт с гайкой. Повертел в пальцах. Положил обратно.

— Ладно, — сказал он. — Живой так живой.

* * *

Освидетельствование Льва назначили на утро.

Квель принёс бланк — тёплый, — и Виктория положила его перед Львом на стол, рядом с его тарелкой, к которой он не притронулся. Лев смотрел на бланк. Знаки языка первого контакта, которые он читал хуже Ариадны, но читал. «Контур: Кац Л. Освидетельствование: Свидетель, Секцион. Основание: аварийный страх. Цель: снятие пятого основания удержания». Внизу — графа согласия.

— Это не приказ, — сказала Виктория. — Лев. Ты слышишь? Это не приказ. Ты вправе отказаться. Если ты откажешься — нам отключат жизнеобеспечение в кредит. Тогда мы будем решать, что делать. Может быть, прорыв. Может быть, что-то ещё. Но ты вправе.

Лев смотрел на бланк.

— Что они со мной сделают? — спросил он.

— Освидетельствуют, — сказал Квель. С пояса. — Измерят. Если страх в норме — пятое основание снимается. Если не в норме — предложат лечение.

— Какое лечение?

— Не знаю, — сказал Квель. — Это Свидетель. Не Распорядитель.

— Ордис? — спросил Лев.

— Или Сефра, — сказал Квель. — Как распределят.

Лев вздрогнул. Виктория увидела это — короткое, резкое движение плеч, как будто его ударило током. Сефра. Та, что предлагала вырезать из Глеба привычку. «Мы можем ослабить. Он будет жить дольше».

— Я составлю список, — сказал Лев. Голос у него стал высоким и очень ясным. — Противопоказаний. К тому, чтобы я туда шёл.

— Составляй, — сказала Виктория.

Он взял карандаш. Тот, которым рисовал траекторию. Взял чистую салфетку из коробки. Разгладил ладонью.

И не написал ни слова.

Он сидел над салфеткой, с карандашом в руке, и рука у него дрожала, и Виктория видела, как он пытается — начинает букву, останавливается, начинает снова, — и не может. Пункт первый. Пункт второй. Лев всю жизнь начинал с пункта первого. А сейчас пункта первого не было, потому что все пункты были одним пунктом, огромным, как стена, и в нём было написано: «Я боюсь».

— Лев, — сказала Васса.

Он поднял глаза.

— Я пойду с тобой, — сказала Васса. — Как тогда. Я буду держать свет.

Лев смотрел на неё. Потом — на Викторию. Потом — на салфетку, пустую.

— Если я откажусь, — сказал он, — нам отключат воздух.

— Да, — сказала Виктория.

— Если соглашусь — меня будут лечить от страха.

— Может быть.

— А я — навигатор, — сказал Лев. — Мой страх — это моя работа. Я замечаю, где вероятность смерти растёт. Если меня от него вылечат — я перестану замечать.

— Может быть, — сказала Васса. — Или они просто измерят и отпустят.

Лев засмеялся. Коротко, нехорошо.

— Вероятность, что они просто измерят и отпустят, — сказал он, — я бы оценил… — Он замолчал. Не смог назвать. Второй раз за неделю.

Он посмотрел на бланк. На графу согласия.

— Знаешь, что самое смешное? — сказал он. Не Виктории — никому. — Остаться мне страшнее. Здесь. Без воздуха. Чем пойти туда. Я боюсь идти. Но остаться — я боюсь больше. — Он взял карандаш. — Мой страх меня туда и отправляет. Мой собственный страх. Отличная работа, Лев. Профессионально.

Он подписал. Неловко, карандашом, в графе согласия, — «Кац», — и подпись вышла кривой, как кривой выходит подпись у человека, у которого дрожит рука.

* * *

Ночью Виктория стояла в командном отсеке одна.

С.О.Н.Я. держала включённой панель со статусом «Порога» в реестре. Строки висели на тёмном экране, ровные, твёрдые, с правильными краями:

ПОРОГ: ЖИВОЕ ИМУЩЕСТВО НА ОТВЕТСТВЕННОМ ХРАНЕНИИ. РЕЖИМ: КАРАНТИН.

ЭКИПАЖ (7): НА ОТВЕТСТВЕННОМ ХРАНЕНИИ У ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА СОХРАННОСТЬ. ЛИЦО: ШТАЛЬ В.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИЦА: «МЫ НЕ ИМУЩЕСТВО». ЗАПИСАНО ПЕРВЫМ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИЦА: «НЕ ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ». ЗАПИСАНО РЯДОМ.

СЧЁТ ПОСТУПЛЕНИЯ: [ЧИСЛО]. НАЧИСЛЕНИЕ: НЕПРЕРЫВНО.

КАЦ Л.: ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НАЗНАЧЕНО. СЕКЦИОН.

Два заявления. Рядом. Варгесс их записал. Это ничего не изменило — он сам так сказал. И всё же они висели там, на тёмном экране, одно под другим, и любой, кто когда-нибудь прочитает, увидит оба.

Она стояла и смотрела на число. «Начисление: непрерывно». Пока она смотрела, оно изменилось — последняя цифра сдвинулась на единицу. Воздух, которым она сейчас дышала. Свет, который горел в отсеке. Тепло.

— С.О.Н.Я., — сказала она. — Наружная камера у шлюза-один.

На соседнем экране появилось изображение: борт «Порога» снаружи. Белая обшивка в косом жёлтом свете дока. Вмятины. Временный пластырь у кормы — свидетельский, полупрозрачный, тёплый на вид. Зажимы — три, хрящевые, в заплатах разных эпох. Одна заплата — синяя.

И у шлюза-один, на обшивке, рядом с номером, который она знала наизусть, рядом с эмблемой консорциума — синей, с белыми буквами «ПЕРЕКЛИЧКА», — появилось новое.

Табличка. Небольшая, прямоугольная, тёмная, приросшая к обшивке так же, как прирастали зажимы: без болтов, без клея, просто — была. На ней, светящимися знаками языка первого контакта, — строка.

ИМУЩЕСТВО НА ОТВЕТСТВЕННОМ ХРАНЕНИИ. ЛИЦО: ШТАЛЬ В.

Бирка. Свежая. Её прикрепили, пока экипаж ужинал, — Виктория не слышала, не видела, никто не видел. Просто теперь она там была. На борту её корабля. Её фамилия.

Виктория стояла в темноте командного отсека и смотрела на бирку.

Потом пошла в кают-компанию. Там было пусто; все разошлись по каютам. На столе стояли кружки — восемь, немытые, после ужина. Она налила себе чаю. Последней, как всегда. Отставила на край раздатчика, как всегда.

Постояла.

Потом взяла кружку. И выпила — медленно, до дна, тёплый ещё чай, который она налила себе сама.

Это было не решение. Ей просто вдруг показалось, что, раз уж всё теперь в кредит, — воздух, свет, вода, — то и этот чай тоже кто-то записал. И если она его не выпьет, он всё равно будет в счёте.

Она вымыла кружку. Поставила на полку. Пошла к себе.

За переборкой, у кормы, тихо, ровно, шумел четвёртый насос — на сорок герц выше, чем положено. Макар так и не понял почему. Если шумит — значит, живое: так говорил ему старый мастер двадцать лет назад, на стенде, и потом Макар повторил это один раз — Изольде, на собеседовании.

Виктория услышала это впервые три дня назад. За ужином. От Глеба.

Конец первой части.

Часть II. Вскрытие

Сохранность пациента не зависит от его согласия. От согласия зависит только то, будет ли он об этом знать.
— Из памятки Секциона для сопровождающих (перевод позднейший)

Глава 13. Приём без согласия

В коридоре клиники стояла очередь к самим себе.

Васса сначала не поняла, что видит. Коридор был длинным, светлым, тёплым — тем же тёплым хлебным светом, что на платформе Ордиса, — и вдоль одной стены, на равном расстоянии друг от друга, стояли тележки. Низкие, на мягких колёсах, каждая с прозрачным колпаком, а под колпаками — что-то живое. Под ближайшим лежала кисть руки — не человеческой, шестипалой, серо-голубой, — и пальцы на ней медленно, нетерпеливо барабанили по подушке. Под следующим — что-то вроде лёгкого, розовое, губчатое, которое раздувалось и опадало ровно, раз в четыре секунды. Под третьим — глаз. Один. Величиной с кулак, с золотистой радужкой, и он поворачивался, следя за проходящими.

На каждой тележке — бирка. Знаки, которых Васса не знала, и под ними язык первого контакта: «ОЖИДАЕТ ПРЕЖНЕГО ВЛАДЕЛЬЦА».

— Это что? — спросил Лев. Он шёл за ней, держась за стену. Тихо, сквозь зубы.

— Не знаю, — сказала Васса.

Кисть под первым колпаком перестала барабанить, когда они поравнялись с ней, и все шесть пальцев медленно поднялись — как поднимает голову собака, которая услышала шаги и решила, что это за ней. Потом пальцы опустились. Не за ней.

— Профсоюз, — сказала у Вассы за спиной Дина.

— Что?

— Вон. — Дина показала подбородком. В конце ряда тележек, у стены, висел лист — тёплый, наверное, как все листы здесь, — и на нём крупными знаками, явно не служебными, а написанными от руки, чем-то вроде угля: «ОТДЕЛЁННЫЕ ОРГАНЫ ТРЕБУЮТ СРОКА ВОЗВРАТА. МЫ ЖДЁМ. МЫ НЕ ВЕЩИ. ПРОФСОЮЗ». — Это же профсоюз. Как у нас на верфи. Они бастуют.

— Кто бастует?

— Они, — сказала Дина. — Органы.

Глаз под третьим колпаком долго смотрел на неё. Потом закрылся — веко было тонким, полупрозрачным, — и Васса поняла, что это было что-то вроде кивка.

* * *

Их было четверо: Васса, Лев, Дина и Макар. Квель прислал наряд на «лечение пострадавших при доставке» — так это называлось в реестре, — и в наряде стояли четыре имени. Лев — по пятому основанию, на освидетельствование. Макар — обморожение ладоней и перелом пальца. Дина — рваная рана кисти, полученная о вентиль третьего клапана. Васса — сопровождающая, «лицо медицинской квалификации без права самостоятельной практики».

Без права самостоятельной практики. Она прочитала это на борту и долго смотрела на строку. Двадцать лет практики. Семь экспедиций. Её здесь записали сиделкой.

Их везли по М2 — санитарным маршрутом, на шаттле, который подали прямо к шлюзу-один. Шаттл был мягким изнутри, как платформа, и пахло в нём так же — хлебом, кожей младенца, тем запахом, который Васса так и не сумела определить. Окон не было. Был только экран в стене, на котором медленно плыл маршрут: от девятого дока Реестрата, через какие-

то промышленные пояса, — Васса видела на экране тёмные вытянутые массы, движущиеся навстречу, и тусклые огни, — к Секциону. Сорок минут. Лев всю дорогу молчал. Макар всю дорогу ругался — тихо, ровно, по одному слову в минуту, не на кого-то, а просто так, как дышат. Дина смотрела на экран.

Клиника Секциона началась сразу за шлюзом. Не было никакой приёмной, никакого холла, никакого пространства «до»: дверь шлюза ушла в сторону, и за ней был коридор с тележками.

— Пациенты? — спросил кто-то.

Васса обернулась. У стены стоял — стояло — существо, похожее на Ордиса: такой же узкий высокий корпус, такие же сложенные вдоль тела руки, такая же пластина вместо лица. Только меньше, ниже, и пластина светилась не тёмным, а бледно-зелёным.

ПАЦИЕНТЫ ПО НАРЯДУ ИЗ РЕЕСТРАТА, — проступило на пластине. — ЧЕТВЕРО. ПРОШУ ЗА МНОЙ. ДЛЯ НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМА ПОЛНАЯ ДИАГНОСТИКА.

— Нам нужно лечение, — сказала Васса. — Обморожение, перелом, рваная рана. И освидетельствование — одно, по пятому основанию. Диагностика — в объёме, необходимом для этого.

НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЁМ — ПОЛНЫЙ, — ответила пластина. — ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕИЗВЕСТНОЙ БИОЛОГИИ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛНАЯ МОДЕЛЬ. ДЛЯ ПОЛНОЙ МОДЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ ВСЕ ДОСТУПНЫЕ ДАННЫЕ: ТКАНИ, СНИМКИ, ИСТОРИЯ. ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА, НЕ ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ПРИЁМЕ.

— Зачем вам данные тех, кого нет?

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ. ЧЕТЫРЕ ЭКЗЕМПЛЯРА — МАЛО ДЛЯ МОДЕЛИ ВИДА. ВОСЕМЬ — ЛУЧШЕ.

— Мы не вид, — сказал Макар. — Мы экипаж.

Пластина на секунду погасла. Потом проступило:

ПРОСТИТЕ. Я НЕ ПОНЯЛ РАЗЛИЧИЯ.

* * *

Бланк согласия ей дали в маленькой комнате с мягкими стенами. Один бланк — на всех четверых. Тёплый, длинный, на языке первого контакта. Васса села на мягкий выступ у стены — стульев не было, — положила бланк на колени и стала читать.

Читала она медленно. Язык первого контакта она знала хуже Ариадны, но лучше остальных: медицинская часть словаря — «боль», «вред», «тело», «живое», «неживое», «процедура» — была обязательной для врачей экспедиции, и Васса когда-то сдала по ней зачёт с отличием. Тогда она думала, что это формальность. Сейчас она сидела в мягкой комнате чужой клиники, и от того, как она прочтёт сорок строк, зависело, что сделают с Львом.

Бланк был устроен просто. Одна графа согласия. Одна подпись. А над ней — перечень того, на что даётся согласие. Перечень шёл подряд, без разделов, одной колонкой:

ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ДИАГНОСТИКА ПОЛНАЯ. ПОЛУЧЕНИЕ ТКАНЕЙ ДЛЯ МОДЕЛИ. ПОЛУЧЕНИЕ СНИМКОВ. ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ. ХРАНЕНИЕ ТКАНЕЙ. ХРАНЕНИЕ ОСТАТКОВ. ИССЛЕДОВАНИЕ. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ К ДРУГИМ ПАЦИЕНТАМ. ВЫДЕЛЕНИЕ КОНТУРОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УГРОЗУ ПАЦИЕНТУ ИЛИ ОКРУЖАЮЩИМ…

И так далее. Сорок пунктов. Лечение — первый. Остальные тридцать девять — не лечение.

Васса держала бланк на коленях и вспоминала, как когда-то, ещё ординатором, видела похожий — не здесь, дома, в большой университетской клинике, где проводили испытания нового препарата. Там тоже было: «согласие на лечение и участие в исследовании». Одной строкой. Одной подписью. Пожилая женщина с раком подписала, не читая, потому что хотела лечиться, а исследование было в той же строке. Васса тогда ничего не сказала. Она была ординатором. Через год женщина умерла, и Васса узнала, что половину её образцов до сих пор хранят и используют, и что дочь не может их забрать, потому что согласие подписано.

— Это нельзя подписывать, — сказала она.

Существо с зелёной пластиной стояло у двери.

ЭТО СТАНДАРТНОЕ СОГЛАСИЕ.

— Здесь лечение и исследование в одной графе. Я хочу их разделить. Лечение — отдельно. Исследование — отдельно. Каждый пациент решает сам, на что соглашается.

ЭТО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.

— Предусмотрите.

Пластина помолчала.

ЕСЛИ ПАЦИЕНТ СОГЛАШАЕТСЯ НА ЛЕЧЕНИЕ, НО НЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ, — проступило наконец, — ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ НА ОСНОВЕ НЕПОЛНОЙ МОДЕЛИ. РИСК ВЫШЕ.

— Насколько?

НЕ ЗНАЮ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗНАТЬ — НУЖНО ИССЛЕДОВАНИЕ.

Макар у стены засмеялся. Коротко, зло.

— Хорошая клиника, — сказал он. — Чтобы узнать, насколько опасно не исследоваться, надо исследоваться.

ДА, — согласилась пластина. Без иронии. — ЭТО ОДНА ИЗ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ГРАФА ОДНА.

* * *

Она добилась своего через два часа.

Не сразу и не целиком. Существо с зелёной пластиной ушло и вернулось с другим — выше, старше, с пластиной тёмно-янтарной, — и они вдвоём объясняли ей, по пунктам, почему разделение невозможно: модель неизвестного вида строится из всех данных сразу; частичная модель создаёт ошибки; ошибки причиняют вред; вред противоречит требованию сохранности; требование сохранности первично. Васса слушала. Потом объясняла им, по пунктам, почему разделение необходимо. Пациент имеет право знать, что с ним делают. Пациент имеет право отказаться от того, что ему не нужно. Лечение — то, что нужно пациенту. Исследование — то, что нужно вам. Это разные вещи, даже если вы делаете их одними руками.

РАЗНИЦА НЕСУЩЕСТВЕННА ДЛЯ ИСХОДА, — написала янтарная пластина.

— Разница существенна для пациента, — сказала Васса.

ПАЦИЕНТ НЕ ВСЕГДА ЗНАЕТ, ЧТО ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННО.

— Тогда пусть узнает. От вас. Вслух. До подписи.

Янтарная пластина долго молчала. Потом проступило:

ЭТО ЗАЙМЁТ ВРЕМЯ.

— У нас есть время, — сказала Васса. — Мы в карантине.

Пластина снова замолчала. А потом — Васса так и не поняла, что именно сработало, — янтарное существо вынуло из складки своего корпуса чистый бланк, положило его на мягкий выступ рядом с ней и провело по нему одной из тонких рук. На бланке проступила линия. Горизонтальная, через весь лист. Над линией — «ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ». Под линией — всё остальное.

И две графы. Две подписи.

РАЗДЕЛЕНО, — написала пластина. — ПО ВАШЕМУ ТРЕБОВАНИЮ. ЗАПИСЫВАЕТСЯ КАК ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТА. ОТКЛОНЕНИЕ БУДЕТ ПЕРЕДАНО В РЕЕСТР.

— Что это значит для нас?

ПАЦИЕНТЫ, НЕ ПРОШЕДШИЕ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ, ОСТАЮТСЯ НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫМИ КОНТУРАМИ. НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТУРЫ — ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ КАРАНТИНА. РЕЕСТР БУДЕТ УВЕДОМЛЁН.

Васса смотрела на бланк. На линию.

— Насколько продлят?

НЕ ЗНАЮ. ЭТО РЕЕСТР.

Она подумала о числе на листе, который Квель показал Виктории. «Начисление: непрерывно». О шестом шпангоуте на временной стяжке. О композите на складе дока, который Макар видел через окно тамбура. Каждый день карантина — день, когда «Порог» не ремонтируется. Каждый день — день, когда счёт растёт.

Она подумала о пожилой женщине с раком, которая подписала, не читая.

— Подписываем раздельно, — сказала Васса.

* * *

Макар подписал только верхнюю графу. Не задумываясь, одним росчерком, перевязанной рукой. Потом посмотрел на нижнюю и сказал: «Нет». Просто — «нет», и всё.

Дина подписала верхнюю. Потом долго смотрела на нижнюю. Потом взяла бланк и стала читать пункты — по одному, губами, медленно, — и на пункте «хранение остатков» остановилась.

— Это что? — спросила она у пластины. — Остатки?

ТО, ЧТО УДАЛЯЕТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ. ОМЕРТВЕВШИЕ ТКАНИ. ФРАГМЕНТЫ.

— Куда вы их деваете?

ХРАНИМ.

— Зачем?

ПОТОМУ ЧТО НЕЛЬЗЯ ДОКАЗАТЬ, ЧТО ОНИ НЕ ВАЖНЫ.

Дина помолчала. Потом посмотрела на Вассу — быстро, коротко, — и Васса поняла, что она вспомнила то же, что и Васса. Глеб рассказывал. Библиотека остатков. Стеллажи, уходящие в полутьму. Обувная коробка на третьем стеллаже — его. Шесть и шесть.

— А те, которые вы храните, — сказала Дина, — у вас спрашивали? Можно ли хранить?

Пластина погасла и снова зажглась.

У КОГО?

— У тех, от кого они остались.

ЭТО И ЕСТЬ ВОПРОС, НА КОТОРЫЙ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОЛЖНО ОТВЕТИТЬ, — написала пластина. — ОСТАТКИ — ОТ КОГО? ЕСЛИ НЕПРЕРЫВНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА — НЕИЗВЕСТНО. ПОКА НЕИЗВЕСТНО — ХРАНИМ.

Дина подписала верхнюю графу. Нижнюю — не стала. Но и не написала «нет». Просто оставила пустой.

— Почему пустую? — спросила Васса потом, когда они остались вдвоём.

— Потому что я не знаю, — сказала Дина. — Я не хочу, чтобы они хранили мои куски. Но если они их выбросят — это тоже будет без спроса. Пусть будет пусто. Пока.

* * *

Посмертника Васса встретила в коридоре, пока ждала, когда Макару закончат кисть.

Она сидела на мягком выступе у стены, напротив тележек с органами, — глаз под третьим колпаком смотрел на неё, она смотрела на глаз, — и вдруг рядом с ней кто-то сел.

Не «кто-то» — двое. Существо невысокое, тонкое, серо-коричневое, с длинной шеей и усталыми, тяжело опущенными плечами, — и то, что оно держало на коленях. Это было похоже на фонарь. Старый, с прозрачными стенками, оплетёнными чем-то вроде тонкой проволоки, размером с голову. Внутри фонаря плавал свет — тусклый, тёплый, неровный, — то сгущаясь в одну точку, то расплываясь по всему объёму, как расплывается чернила в воде.

Существо с длинной шеей посмотрело на Вассу. Потом — на её руки, на рабочую куртку с нашивкой, на медицинскую сумку у ног. Потом что-то сказало — на своём языке, тихо, гортанно. Клинический переводчик, висевший у Вассы на воротнике — Квель выдал его перед отъездом, маленький, тёплый, под расписку, — перевёл неуверенно:

— Вы — врач?

— Да, — сказала Васса.

— Здешний?

— Нет.

Существо помолчало. Потом подняло фонарь чуть выше, к ней, как показывают ребёнка.

— Это мой отец, — сказало оно. — Он умер. Официально. Три цикла назад. Теперь он — вот.

Свет в фонаре сгустился в точку и медленно поплыл к стенке, обращённой к Вассе. Остановился у самой стенки. Васса не знала, как у этого существа устроено зрение, — и есть ли оно вообще, — но ей показалось, что свет смотрит.

— Они починили его тело, — сказало существо. — Здесь, в Секционе. Оно лежит на хранении. Целое. Здоровое. Они говорят — можно вернуть. Его — туда. В тело. Он снова будет живой. Официально.

— Это хорошо? — спросила Васса.

— Для дома — да, — устало сказало существо. — Дом записан на него. На тело. Если он вернётся в тело — дом наш. Если нет — дом переходит дальше. По реестру. — Оно посмотрело на фонарь. — Мы пришли на возврат.

Свет в фонаре вдруг дрогнул. Метнулся от стенки к стенке. И из фонаря — Васса не сразу поняла откуда, звук будто шёл со всех сторон сразу, из проволочной оплётки, — раздался голос. Тихий, шелестящий, совсем не похожий на голос сына. Клинический переводчик перевёл:

— Не хочу.

Существо с длинной шеей закрыло глаза.

— Отец, — сказало оно.

— Не хочу, — повторил фонарь. — Тело — его. Того. Который умер. Я — уже не он. Я три цикла — вот. Мне хорошо — вот. Я не хочу обратно. Это его тело. Не моё.

— Отец, дом…

— Дом записан на него, — сказал фонарь. — Не на меня. Пусть переходит. Я не хочу быть им ради дома.

Тишина в коридоре. Кисть под первым колпаком снова барабанила пальцами. Глаз под третьим смотрел на них.

Существо с длинной шеей повернуло голову к Вассе — медленно.

— Вы — врач, — сказало оно. — Скажите ему. Что так нельзя. Что он — это он. Что это его тело. Что ему будет лучше.

Васса смотрела на фонарь. На свет, прижавшийся к стенке. На проволочную оплётку, старую, кое-где починенную — она увидела две свежие спайки, аккуратные, — кто-то заботился об этом фонаре, чинил его, носил.

Она думала о Глебе. О том, как он стоял в тамбуре сервиса и сказал Ордису: «Я не знаю, тот ли я, кто полз по проходу. Но я точно тот, кто стоит здесь».

— Я не могу ему этого сказать, — сказала Васса.

— Почему? Вы врач.

— Потому что я не знаю, — сказала Васса. — Я не знаю, он ли это. Он говорит — нет. Он внутри. Он знает лучше меня.

— Он болен, — сказало существо. — Он запутался. Посмертники всегда путаются.

— Может быть, — сказала Васса. — Но он сказал «не хочу» два раза. Я двадцать лет работаю с людьми, которые говорят «не хочу». Иногда они правы. Иногда нет. Но когда кто-то говорит «не хочу» про собственное тело — это решает он. Не я. Не вы. Не дом.

Существо долго смотрело на неё. Потом опустило голову. Длинная шея согнулась, и лоб почти коснулся стенки фонаря.

— Тогда что мне делать? — спросило оно. Очень тихо. Не ей — фонарю. — Если не возврат — что?

Свет внутри фонаря отплыл от стенки, обращённой к Вассе, и переместился к той, что была ближе к сыну. Прижался к ней. Расплылся по ней, как расплывается тепло от ладони по стеклу.

— Носи меня, — сказал фонарь. — Как носишь. Мне хорошо — вот.

Васса встала. Она не знала, что ещё можно сказать, и знала, что больше ничего говорить не нужно. Отошла к тележкам. Глаз под третьим колпаком повернулся за ней.

Потом она вернулась. Достала из медицинской сумки блокнот, вырвала лист и, присев на корточки рядом с существом, написала на языке первого контакта — крупно, медленно, чтобы ошибок не было:

ОТКАЗ ОТ ВОЗВРАТА В ТЕЛО. ЗАЯВЛЕН СОБСТВЕННЫМ ГОЛОСОМ ДВАЖДЫ. СВИДЕТЕЛЬ: В. РОММ, ВРАЧ.

Протянула лист сыну.

— Если они будут настаивать, — сказала она, — покажите это. Может быть, не поможет. Но там будет записано, что он сказал.

Существо взяло лист. Посмотрело на него. Потом — на фонарь. Потом — на неё.

— Вы — без права самостоятельной практики, — сказало оно вдруг. — Здесь. Я видел наряд. Вашу подпись не примут.

— Знаю, — сказала Васса. — Пусть не примут. Но она будет.

* * *

Льва вызвали последним.

Он сидел в мягкой комнате один, когда Васса вернулась, — на выступе у стены, подтянув колени, с бланком на коленях. Бланк был разделённый: верхняя графа, линия, нижняя. Верхняя — подписана: «Кац». Нижняя — пустая.

— Ты не подписал исследование, — сказала Васса.

— Нет.

— Хорошо.

— Не знаю, хорошо ли, — сказал Лев. Он смотрел в пол. — Они сказали: неполная модель — риск выше. Насколько — не знают. Я всю жизнь считаю риск, Васса. Я не могу посчитать этот. У меня нет цифры. У меня нет даже порядка цифры. — Он засмеялся, коротко. — Я себе составил коллекцию диагнозов за жизнь. Ипохондрия. Генерализованная тревожность. Два эпизода панических атак, документированных. Подозрение на синдром раздражённого кишечника, не подтверждённое. Подозрение на аритмию, не подтверждённое. Мигрень. Бруксизм. Тридцать четыре года, а карта как у пенсионера. — Он поднял на неё глаза. — Знаешь, чего у меня в коллекции не было? Ни одного диагноза, поставленного кем-то, кто не знает, что такое человек.

— Теперь будет, — сказала Васса.

— Теперь будет, — согласился Лев. — Я его в рамочку повешу.

Дверь мягкой комнаты разошлась. На пороге стояло существо с зелёной пластиной.

КАЦ Л. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ. ПРОШУ ЗА МНОЙ.

Лев встал. Васса встала тоже.

ТОЛЬКО ПАЦИЕНТ.

— Я — сопровождающая, — сказала Васса. — В наряде записано.

СОПРОВОЖДАЮЩАЯ БЕЗ ПРАВА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ, — проступило на пластине. — НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НЕ ПРИСУТСТВУЕТ.

— Я держу ему свет, — сказала Васса.

Пластина погасла. Зажглась.

ПРОСТИТЕ. Я НЕ ПОНЯЛ.

— Неважно. — Васса посмотрела на Льва. — Я буду за дверью. Если что-то пойдёт не так — зови. Если тебе предложат что-то, кроме измерения, — ты вправе отказаться. Ты слышишь? Ты подписал только верхнюю графу. Только освидетельствование. Всё, что под линией, — нет.

— Слышу, — сказал Лев.

Он пошёл за зелёной пластиной. У двери обернулся.

— Васса, — сказал он. — А что, если они спросят, а я скажу «да»? Не потому, что хочу. Потому что испугаюсь?

Васса не нашла, что ответить. Лев кивнул — сам себе, коротко, — и вышел.

* * *

Его карту она увидела через двадцать минут. Случайно.

Существо с янтарной пластиной вошло в мягкую комнату с тонким полупрозрачным листом — медицинской записью, той, что выдавали на руки пациенту, — и положило его на выступ рядом с Вассой. «КАЦ Л. — КОПИЯ ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ». Васса взяла лист.

Шапка. Имя. Наряд из Реестрата. Пятое основание. Подписанная верхняя графа — «лечение повреждений и освидетельствование». Пустая нижняя.

И ниже, в поле, которое называлось «предварительная классификация контура», — строка. Мелким шрифтом, служебным, тем, которым пишут вещи, не предназначенные для пациента:

МАТЕРИАЛ: ВЫДЕЛЯЕМЫЙ.

Васса прочитала её три раза. Потом посмотрела на время записи. Оно стояло в углу поля — их время, корабельное, переведённое.

Второй день. 14:47.

Через несколько минут после того, как Лев на платформе Ордиса сказал «я передумал» и лента тоньше волоса на сорок секунд коснулась его шеи.

Сорок секунд — и он стал «материалом». Ещё до наряда. Ещё до пятого основания. Ещё до разделённого бланка, на котором он подписал только верхнюю графу.

— Это что? — ровно спросила Васса у янтарной пластины. Без голоса.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ.

— «Выделяемый» — что значит?

КОНТУР СТРАХА ПАЦИЕНТА ПОДДАЁТСЯ ВЫДЕЛЕНИЮ. ЭТО УСТАНОВЛЕНО ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ.

— Он не давал согласия на выделение. Он подписал только освидетельствование. Сегодня. Час назад.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕ ТРЕБУЕТ СОГЛАСИЯ, — написала пластина. — ЭТО НЕ ПРОЦЕДУРА. ЭТО ОПИСАНИЕ.

— Описание чего?

ТОГО, ЧТО С НИМ МОЖНО СДЕЛАТЬ.

Васса сидела с листом в руках. Мягкая стена за спиной была тёплой. В коридоре, за дверью, кисть под первым колпаком барабанила пальцами — Васса слышала этот звук, тихий, ровный, нетерпеливый, как стук в дверь, за которой никто не отвечает.

Она встала. Сложила лист вчетверо. Убрала во внутренний карман — туда, где лежал её рабочий журнал в клеёнчатой обложке, с записью пятидневной давности: «Если я ошиблась — пусть это будет видно».

Потом пошла к двери, за которой был Лев.

Дверь была закрыта. Над ней горел бледно-зелёный огонёк. Васса не знала, что он значит. Она встала рядом, у стены, и стала ждать, и считала — не время, а вдохи, свои, — и на сороковом услышала из-за двери голос Льва. Не слова. Только голос. Высокий, ясный, очень спокойный — таким спокойным она его никогда не слышала.

Он сказал что-то, и замолчал. А потом там, за дверью, загудело — низко, ровно, на двух нотах сразу.

Глава 14. Не отключайте тревогу

Его страх звучал на двух нотах.

Лев услышал это, когда ему на виски положили датчики. Датчики были мягкими, тёплыми, похожими на две большие капли, и, как только они коснулись кожи, в комнате что-то зазвучало — не в ушах, а снаружи, из стен, из воздуха, — низко, ровно, как гудит трансформатор в соседнем подвале. Нота была одна. Потом, через несколько секунд, к ней прибавилась вторая — выше, тоньше, неровная, дрожащая, как дрожит натянутая струна, если по ней провести ногтем.

— Это я? — спросил Лев.

ЭТО ВЫ, — проступило на пластине.

Пластина была тёмно-янтарной. Её носитель — высокий, узкий, похожий на Ордиса, но не Ордис, — стоял у изголовья мягкого ложа, на котором лежал Лев, и смотрел на него. Если пластина умела смотреть.

НИЖНЯЯ НОТА — ВАША ОСНОВНАЯ АКТИВНОСТЬ, — писала пластина. — ВЕРХНЯЯ — КОНТУР, КОТОРЫЙ МЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВУЕМ. ВАШ СТРАХ.

Верхняя нота дрожала. Лев слушал её и думал: вот так, значит. Вот он какой. Тридцать четыре года живёт внутри, просыпается с ним, засыпает с ним, считает с ним вероятности, — а звучит, оказывается, как плохо настроенная скрипка. Как комар в комнате. Он ожидал чего-то другого. Чего-то большего. Низкого рёва, может быть, — того, что он чувствовал в груди, когда корпус «Порога» пел под захватом. А его страх был тонким. Писклявым. Почти жалким.

Нота дрогнула и пошла вверх.

— Это потому что я думаю о нём, — сказал Лев. — Вы слышите? Он реагирует.

ДА. ОН РЕАГИРУЕТ НА ВНИМАНИЕ. ЭТО ОБЫЧНО.

— Обычно для кого?

ДЛЯ СТРАХА.

* * *

Комната была маленькой, круглой, с мягкими стенами, которые чуть заметно дышали — поднимались и опускались, как грудь спящего. Свет — жёлтый, рассеянный, без источника. Ложе — мягкое, тёплое, повторяющее тело, как повторяет тело песок. Лев лежал на нём и чувствовал себя так, как, наверное, чувствует себя рыба в ладонях: держат бережно, но держат.

У стены, справа, стоял Ордис. Он вошёл через пять минут после начала, без предупреждения, — дверь просто разошлась, и в неё вплыл высокий узкий корпус, с руками, сложенными вдоль тела, с тёмной пластиной наверху, — и встал у стены, и молчал. Лев узнал его сразу. «Шкаф на ногах», — как сказал про него Макар. Сорок секунд у шеи. «Не вдыхайте больше ваш охладитель».

А слева, у другой стены, была складка. Лев увидел её не сразу: просто стена в этом месте была чуть плотнее, чуть темнее, — и потом в складке проступило лицо. Почти человеческое, почти женское, с высоким гладким лбом и полуопущенными веками. Лицо улыбалось.

Сефра.

Лев почувствовал, как верхняя нота взлетела — сразу на несколько тонов, пронзительно, — и сам услышал этот звук, и от звука стало ещё страшнее, и нота поднялась ещё выше. Петля. Он узнавал её. Так начинались его приступы — с того, что он замечал, что начинает бояться, и начинал бояться того, что боится, и так по кругу, вверх, вверх, пока не переставал дышать.

— Вот, — сказала Сефра. Знаки проступили в воздухе перед ним, тёплые, медленно гаснущие. — Видите? Слышите? Это и есть причина пятого основания. Он не может управлять кораблём, когда это звучит так.

— Я могу, — сказал Лев. Голос вышел сиплым. — Я управлял. Четырнадцать месяцев. Я провёл нас мимо потока. Я…

ВЫ ПРОВЕЛИ, — написал Ордис. Пластина у стены. — ДО ТОГО КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ. ВО ВРЕМЯ ЗАХВАТА ВЫ ОСТАВИЛИ ПОСТ. ВЫ ОКАЗАЛИСЬ У ПЕРЕБОРКИ И НЕ ПОМНИТЕ, КАК ТУДА ПОПАЛИ.

Лев замолчал.

Это было правдой. Он не помнил. Его место было в командном, у пульта. Он оказался в коридоре, у переборки резервного поста, рядом с Макаром, в пару хладагента. Он не помнил, как туда пошёл. Не помнил, почему.

— Это был приступ, — тихо сказал он. — Я испугался. Я пошёл туда, где… где был Глеб.

ДА, — написал Ордис. — СТРАХ ПОВЁЛ ВАС ТУДА, ГДЕ БЫЛА ОПАСНОСТЬ. ЭТО СТРАННЫЙ СТРАХ. ОБЫЧНО ОН ВЕДЁТ ОТ ОПАСНОСТИ.

— Он ведёт к опасности, когда опасность грозит не мне, — сказал Лев.

Он не знал, что скажет это. Слова вышли сами. Ордис у стены замер. Пластина стала совсем тёмной — так, что Лев решил, что она погасла. Потом проступило одно слово:

ЗАПИСЫВАЮ.

* * *

Нота не опускалась.

Лев лежал и слушал её, и пытался делать то, чему научился за годы: считать вдохи, раскладывать по пунктам, называть вероятности. Пункт первый: я лежу в чужой клинике. Пункт второй: на висках у меня датчики. Пункт третий: вероятность, что со мной сделают что-то без моего согласия… Он не мог назвать цифру. Третий раз за неделю. Вероятность не называлась. Пункт третий висел пустым, и в пустоте звенела верхняя нота.

Он начал задыхаться.

Не сразу — сначала стало трудно вдохнуть до конца, как будто грудь сжали обручем. Потом обруч затянулся. Потом мягкие стены комнаты поплыли, качнулись, и свет стал ярче, белее, резче, и Лев понял, что это начинается — по-настоящему, как на учебном стенде на втором году, как в ту ночь в общежитии, когда его увезли на скорой, — что сейчас он перестанет дышать.

— Не могу… — сказал он.

Нота визжала.

Сефра проступила из стены ближе — складка переместилась по мягкой поверхности, как волна, и лицо оказалось почти над ним, сбоку, — и веки её приподнялись, и под ними был тёплый жёлтый свет.

— Вам больно, — сказала она. Знаки висели перед самыми его глазами. — Я вижу. Это не нужно. Это можно убрать.

— Не… — Лев хватал воздух ртом.

— Не всё, — сказала Сефра. — Только это. Только то, что звучит наверху. То, что мешает вам дышать. Вы сохраните всё остальное. Всё, что знаете. Всё, что умеете. Вы останетесь навигатором. Лучшим навигатором. Тем, кто видит опасность — и не задыхается от неё.

— Нет…

— Почему?

Лев не мог ответить. Он не мог дышать. Верхняя нота заполнила всю комнату, она была везде — в стенах, в ложе, в его собственных зубах, — и в ней было только одно, одно огромное, как стена, «я боюсь», и больше ничего.

ЭТО КОНТУР, ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ОЦЕНКУ РИСКА, — написал Ордис. Пластина у стены светилась резко, почти белым. — НЕ ТОЛЬКО ЗА СТРАХ. ЕСЛИ ВЫДЕЛИТЬ ЕГО — ОН ПЕРЕСТАНЕТ ЗАМЕЧАТЬ ОПАСНОСТЬ. ОН НАВИГАТОР. ЭТО ЕГО ФУНКЦИЯ.

— Это его боль, — сказала Сефра.

ЭТО ЕГО ФУНКЦИЯ И ЕГО БОЛЬ. ОДНОВРЕМЕННО. МЫ НЕ МОЖЕМ ВЫДЕЛИТЬ ОДНО БЕЗ ДРУГОГО. У НАС НЕТ ПОЛНОЙ МОДЕЛИ. ОН ОТКАЗАЛСЯ ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ.

— Значит, мы сделаем то, что можем, по неполной.

ПО НЕПОЛНОЙ — РИСК ВЫШЕ.

— Насколько?

НЕ ЗНАЮ.

— Тогда не говорите, что выше, — сказала Сефра. Мягко, почти ласково, как говорят коллеге, который слишком устал. — Говорите: неизвестен. А известно вот это. — Она повернула лицо к Льву. — Ему больно. Сейчас. Это мы знаем точно.

* * *

— Симптоматическое, — выдавил Лев.

Обе — пластина у стены и лицо в складке — повернулись к нему.

— Только… симптом… — Он не мог договорить. Воздух не шёл. — Снимите… приступ. Чтобы я… мог дышать. И всё. Не… не выделять. Только… приступ.

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, — написал Ордис. Быстро. — ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ НА СИМПТОМАТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ. СНЯТИЕ ОСТРОГО ПРИСТУПА. БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ КОНТУРА.

— Да…

ЗАПИСЫВАЮ. СОГЛАСИЕ: СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ. ОТКАЗ: ВЫДЕЛЕНИЕ.

Лев кивнул. Или ему показалось, что кивнул.

Сефра молчала. Её лицо в складке было неподвижным, улыбка не изменилась. Потом проступили знаки:

— Хорошо. Как он хочет.

И складка отступила.

Ордис отделился от стены. Подошёл — бесшумно, на четырёх тонких опорах, — и развернул одну из своих рук. Тонкую, с мягкой присоской на конце. Присоска легла Льву на грудь, над сердцем. Тёплая.

СЕЙЧАС, — написал Ордис. — СНИЖЕНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ. ВЫ УСНЁТЕ. НЕНАДОЛГО. КОГДА ПРОСНЁТЕСЬ — ПРИСТУП ПРОЙДЁТ. ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ОСТАНЕТСЯ.

— Всё… остальное… — Лев смотрел на пластину. — Обещаете?

Пластина помолчала.

Я НЕ МОГУ ОБЕЩАТЬ, — проступило. — Я МОГУ ЗАПИСАТЬ, ЧТО ВЫ ПРОСИЛИ. И ЧТО Я СОГЛАСИЛСЯ.

Присоска на груди стала теплее. Обруч начал разжиматься — Лев почувствовал это сразу, как чувствуешь, когда выходишь из холодной воды в тёплый воздух. Вдох. Ещё вдох. Длиннее. Глубже. Нота наверху дрогнула — и пошла вниз. Медленно. Неохотно. Как будто ей не хотелось.

Веки потяжелели.

— Ордис, — сказал Лев. Язык уже заплетался. — Там… за дверью… Васса. Скажите ей…

СКАЖУ.

— Скажите, что я… не испугался. Что я сказал «нет». Сам.

СКАЖУ.

Лев закрыл глаза.

* * *

Он не спал. Это было странно — он ждал, что провалится в темноту, как проваливался под общим наркозом, когда ему в двадцать лет удаляли аппендикс: раз — и нет ничего, два — и ты уже в палате, и прошло два часа. Здесь было иначе. Тело уснуло — он чувствовал, как оно отяжелело, как стали чужими руки и ноги, как перестали шевелиться пальцы, — а он сам остался. Где-то рядом с телом. В тёплой темноте. Слушал.

Нижняя нота гудела ровно. Его основная активность. Трансформатор в подвале.

Верхняя — стихала. Медленно опускалась, тоньше, тише, и Лев чувствовал, как вместе с ней уходит обруч, уходит стена с надписью «я боюсь», уходит что-то, что всю жизнь сидело у него под рёбрами, сжавшись в комок. Было хорошо. Он не помнил, когда ему было так хорошо. Может быть, никогда.

Потом он услышал голоса.

Не Ордиса — пластины молчат. Не Сефры — её знаки висят в воздухе, их не слышно. Чей-то другой голос, сухой, шелестящий, говорящий на языке, которого Лев не знал, — и поверх него, тихо, будто издалека, переводчик на воротнике бормотал обрывки:

— …острый пароксизм… угроза пациенту… требование сохранности…

Лев хотел открыть глаза. Не смог. Тело спало.

— …согласие: симптоматическое… — бормотал переводчик. — …в случае угрозы пациенту требование сохранности первично… схема вмешательства подготовлена… предварительная классификация: выделяемый…

Кто-то ещё вошёл в комнату. Лев не видел, но чувствовал — по тому, как изменился воздух, как дрогнуло ложе под ним. Не Ордис: у Ордиса шаги были бесшумными, а это двигалось с тихим шорохом, как шуршат по полу полы длинной одежды.

— …оператор… — бормотал переводчик. — …исполнение по схеме… основание: пароксизм при снижении возбуждения, повторный подъём контура…

Повторный подъём. Лев понял, что это значит. Он понял раньше, чем услышал, — потому что почувствовал: верхняя нота, которая почти совсем стихла, вдруг дёрнулась. Взлетела. Не высоко — на тон, на два. Как дёргается во сне человек, которому снится, что он падает.

Ему снилось, что он падает. Нет — ему не снилось. Он падал. В тёплую темноту, в сон, в то место, где нет ни обруча, ни стены, — и что-то в нём, что-то маленькое и упрямое, за тридцать четыре года научившееся замечать, где вероятность смерти растёт, — заметило. И закричало: «Стой!» Потому что падать — опасно. Потому что засыпать в чужой клинике, в чужих руках, когда за стеной говорят «схема подготовлена», — опасно. Потому что…

Нота взлетела ещё выше.

— …повторный пароксизм… — бормотал переводчик. — …угроза… исполнение…

«Не отключайте», — хотел сказать Лев. Не смог. Губы не шевелились.

«Не отключайте тревогу. Она — моя. Она сейчас права. Она говорит: опасно. Не отключайте её — она права».

Губы не шевелились.

* * *

Он услышал, как за дверью кто-то стучит.

Не стучит — бьёт. Ладонью, кулаком, плоско, сильно, по мягкой двери, которая гасила звук, — но звук всё равно проходил: глухой, далёкий, упрямый, как удары по переборке. Лев знал этот стук. Нет — этот он не знал. Это был не Макар, не два-и-один. Это было беспорядочно, быстро, отчаянно.

Васса.

— …сопровождающая требует доступа… — бормотал переводчик. — …без права самостоятельной практики… доступ не предоставляется…

Удары продолжались. Потом — голос. Её голос, через дверь, приглушённый, но Лев слышал каждое слово, потому что она кричала, а Васса никогда не кричала:

— Он отказался! Он подписал только верхнюю! Только освидетельствование! Он сказал «нет» выделению! Вы слышите? Он сказал «нет»!

— …согласие на выделение не требуется при угрозе пациенту… — бормотал переводчик. — …требование сохранности первично…

— Это не угроза! Это его страх! Он всегда так! Он так живёт!

Пауза. Шорох. Кто-то — тот, с шуршащими полами, — двигался у изголовья.

— …исполнение начато…

Лев почувствовал холод. Не на груди — там всё ещё лежала тёплая присоска Ордиса. На висках. Там, где были датчики. Тёплые капли вдруг стали прохладными, потом холодными, как холоден металл скобы, на которой Макар держал ладонь, — и Лев почувствовал, как что-то тянется. Не боль. Тяга. Как тянется нитка, когда из ткани выдёргивают шов: не больно, но ты чувствуешь каждый стежок.

Верхняя нота дрогнула.

И — Лев услышал это так ясно, как не слышал ничего в жизни, — начала раздваиваться. Не стихать, не опускаться — раздваиваться. Одна её часть, слабая, тонкая, осталась там, где была, — внутри, под рёбрами, где-то рядом с нижней нотой, с трансформатором в подвале. А другая — большая, громкая, дрожащая, та, что визжала, — потянулась наружу. Через виски. Через холодные капли датчиков. Наружу, в стены, в воздух комнаты.

Он хотел закричать. Не мог.

Стук в дверь прекратился. Васса больше не кричала. Лев не знал, что это значит, — ушла, увели, перестала. Он слышал только ноту. Ту, что тянулась наружу. Она уходила медленно, неохотно, цепляясь за что-то внутри него, как цепляется за дверной косяк ребёнок, которого уводят из дома. Цеплялась — и отпускала. Цеплялась — и отпускала.

И когда она ушла совсем, когда последний стежок выдернулся из ткани, — Лев почувствовал не облегчение. Он почувствовал пустоту. Ровную, тёплую, огромную. Как пустая комната, из которой вынесли всю мебель, и теперь в ней можно ходить, танцевать, кричать, — и не за что зацепиться, и не обо что споткнуться.

И не страшно. Совсем. Ни капельки.

Это было последнее, о чём он успел подумать, прежде чем по-настоящему уснул: «Странно. Мне не страшно. Даже от того, что мне не страшно».

* * *

Но ноту он слышал ещё секунду. Может быть, две.

Ту, верхнюю. Свою. Писклявую, дрожащую, похожую на плохо настроенную скрипку.

Она продолжала звучать. Не внутри — снаружи. Не в его голове. Рядом. Где-то справа, у стены, там, где только что был Ордис. Тонко, тихо, неровно — и с каждым мгновением

всё неровнее, как дрожит натянутая струна, которую отпустили, а она не знает, что ей теперь делать.

Она звучала отдельно от него.

И Лев — уже засыпая, уже уходя в тёплую темноту, где не было ничего, — успел подумать ещё одну вещь. Последнюю. Не свою, кажется, — потому что свои мысли у него всегда начинались с вероятности, а у этой вероятности не было:

«Ей страшно. Там, у стены. Одной».

И уснул.

* * *

Запись Свидетеля. Копия для сопровождающей. (Передана В. Ромм через дверь в 16:12.)

КАЦ Л. СОГЛАСИЕ: СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ. ОТКАЗ: ВЫДЕЛЕНИЕ. ЗАПИСАНО: ОРДИС.

ПОВТОРНЫЙ ПАРОКСИЗМ ПРИ СНИЖЕНИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ. ОЦЕНКА: УГРОЗА ПАЦИЕНТУ. ОСНОВАНИЕ: ТРЕБОВАНИЕ СОХРАННОСТИ. ИСПОЛНЕНИЕ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ СХЕМЕ. ОПЕРАТОР: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР КОМПЛЕКСА МАТРОНЫ СЕФРЫ.

КОНТУР СТРАХА: ВЫДЕЛЕН. НОСИТЕЛЬ: ВРЕМЕННЫЙ, АВТОНОМНЫЙ. СОСТОЯНИЕ НОСИТЕЛЯ: ФУНКЦИОНИРУЕТ.

ИЗРАСХОДОВАНО: НЕЙРОАДАПТЕРЫ — 3 (ИЗ 5 ВЫДЕЛЕННЫХ НА ПОСТУПЛЕНИЕ). БИОСУБСТРАТ — ПО НОРМЕ.

ВОЗРАЖЕНИЕ ОРДИСА: ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОВЕДЕНО ПРОТИВ ЗАПИСАННОГО ОТКАЗА. ЗАПИСАНО.

ВОЗРАЖЕНИЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ: НЕ ПРИНЯТО (НЕТ ПРАВА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ). ЗАПИСАНО.

Глава 15. Первый крик

Лев проснулся и впервые за много лет не проверил пульс.

Он заметил это не сразу. Сначала просто лежал, глядя в мягкий жёлтый потолок, и чувствовал, как хорошо лежать. Тепло. Тихо. Ложе под ним повторяло тело, как повторяет тело песок на пляже в августе. Он вдохнул — до конца, полной грудью, — и выдохнул. Никакого обруча. Никакой стены. Ничего под рёбрами.

Потом он понял, что левая рука лежит на одеяле, а не на запястье правой.

Каждое утро, сколько он себя помнил, — с четырнадцати лет, с того дня, когда в школе на физкультуре упал и задохнулся его одноклассник с врождённым пороком, — Лев просыпался и сразу, ещё не открыв глаз, клал два пальца на запястье. Считал. Шестьдесят? Семьдесят? Девяносто — плохо. Сорок — очень плохо. Потом открывал глаза. Это было как дышать. Он не помнил ни одного утра без этого.

А сейчас рука лежала на одеяле. И ему было всё равно.

— Интересно, — сказал Лев вслух. Голос был хриплым, но спокойным. — Очень интересно.

И сел.

* * *

Рядом с ложем, на низком мягком выступе, стоял контейнер.

Прозрачный, продолговатый, размером с переноску для кошки. Стенки чуть мутные, как матовое стекло, и чуть зеркальные — Лев увидел в них своё отражение, размытое, жёлтое. Внутри контейнера что-то шевелилось.

Он наклонился ближе.

Существо было маленьким. Меньше кошки — с крупного кролика, может быть. Серовато, влажное, с кожей, которая блестела, как блестит кожа лягушки. Тело — бесформенное, мягкое, будто сжатое в комок, и из этого комка во все стороны торчали тонкие отростки — десятки, может, сотня, — короткие, подвижные, похожие на щупальца актинии или на усики улитки. Каждый отросток подрагивал. Каждый — сам по себе, в своём ритме. А среди отростков, в середине комка, — глаза. Два. Огромные, непропорциональные, тёмные, влажные, занимавшие, кажется, треть всего тела. Они смотрели на Льва.

И дышали — не глаза, всё существо. Комок раздувался и опадал. Быстро. Неровно. Сто двадцать, сто тридцать вдохов в минуту. Лев посчитал машинально — по привычке, без страха, просто как цифру. Сто двадцать восемь.

Он знал эту цифру. Это была его цифра. Частота дыхания на пике панической атаки. Он мерил её у себя десятки раз, в общежитии, в туалете учебного центра, однажды — в лифте, застрявшем между этажами. Сто двадцать восемь. Ровно столько.

— Привет, — сказал Лев.

Существо дёрнулось. Все отростки разом прижались к телу, как прижимаются к земле травинки под ветром. Глаза стали ещё больше. И из контейнера раздался звук — тонкий, высокий, дрожащий, как дрожит натянутая струна, если провести по ней ногтем.

Верхняя нота.

Лев слушал её. Он узнал бы её где угодно. Тридцать четыре года она звучала у него внутри. Теперь — в контейнере, на выступе, в полуметре от его колена.

— Это ты, — сказал Лев.

Нота взвизгнула.

* * *

Васса вошла через минуту. Лев услышал её раньше, чем увидел: шаги в коридоре — быстрые, тяжёлые, совсем не похожие на её обычные, бесшумные. Дверь разошлась. Васса остановилась на пороге.

Она смотрела на него. Лицо у неё было серым, как у человека, который не спал двое суток и только что получил по почте плохое известие. Под глазами — тёмное. На правой ладони — Лев заметил — красное пятно, как бывает, если долго и сильно бить ладонью по чему-то мягкому.

— Лев, — сказала она.

— Привет, — сказал Лев. — Слушай, ты не поверишь. Я проснулся и не проверил пульс. Первый раз за двадцать лет. Я просто — лежал. И мне было хорошо.

Васса молчала.

— Нет, правда, — сказал Лев. — Послушай. Я сейчас перечислю. Свист заслонки в кают-компании, на той частоте, от которой у меня всегда болела голова, — помнишь? Я сейчас про него подумал, и ничего. Совсем ничего. Ну свистит и свистит. Второе: недостающие данные. Половина датчиков на «Пороге» сдохла, я считаю траектории без половины данных, — и ничего. Ну, не хватает данных. Посчитаем с тем, что есть. Третье: Сефра. — Он засмеялся. — Сефра, Васса. Которая хотела вырезать из Глеба привычку. Я её сейчас вспомнил — и ничего. Ну, лицо в стене. Ну, улыбается. Подумаешь. Четвёртое…

— Лев, — сказала Васса.

— …четвёртое — девятый. Девятка. Помнишь, я сидел ночью с пальцами? Восемь загнутых, два прямых? Сейчас думаю — ну девять так девять. Ошиблись. Или не ошиблись. Какая разница. Разберёмся.

— Лев, они это вынули. Из тебя. Против твоего отказа.

— Знаю, — сказал Лев. — Я слышал. Я не спал. Я слышал, как ты бьёшь в дверь. — Он посмотрел на её ладонь. — Ты руку отбила.

— Ты сказал «нет». Ордис записал. Ты сказал «нет», а они…

— Ну да, — сказал Лев. — Сказал. И что? Вот он. — Он кивнул на контейнер. — Сидит. Дышит. Сто двадцать восемь в минуту. Это моя цифра, Васса. На пике приступа. Я её знаю. Они его вынули, и теперь он сидит там, а я — здесь. И мне — хорошо.

Васса посмотрела на контейнер. На существо в нём. Существо посмотрело на неё — и все его отростки разом прижались к телу.

— Это не хорошо, — сказала Васса.

— Почему?

— Потому что ты не боишься.

— Ну да. В этом и смысл.

— Лев. — Васса подошла ближе. Села на край ложа. Положила ладонь — красную, отбитую — ему на колено. — Ты — навигатор. Твой страх — это твоя работа. Ты сам мне это сказал. Позавчера. «Если меня от него вылечат — я перестану замечать».

— Я помню, — сказал Лев. — Ну и что? Я и без него замечу. Я же знаю всё, что знал. Вероятности знаю. Расчёты знаю. Вот — пункт тридцать два, поток с девятичасовым периодом. Помню. Шестой шпангоут на стяжке — помню. Всё помню. Я просто не трясусь.

— Ты не трясёшься, — сказала Васса. — Он трясётся.

Она показала подбородком на контейнер.

Лев посмотрел. Существо сжалось в комок, отростки дрожали. Глаза смотрели на него.

— Трясётся, — согласился Лев. И засмеялся. — Трясик. Ну и пусть трясётся. Это его работа теперь.

* * *

Ордис пришёл, когда Лев уже стоял.

Лев встал сам — Васса сказала: подожди, полежи, — а он сказал: ничего страшного, — и встал. Ноги держали. Голова не кружилась. Он прошёлся по маленькой круглой комнате, от стены до стены, — пять шагов, — и обратно, и было так легко, как не было никогда. Он остановился у контейнера. Наклонился. Существо внутри прижалось к дальней стенке.

— Не бойся, — сказал ему Лев. — Я не кусаюсь.

Отростки задрожали сильнее.

Дверь разошлась. Высокий узкий корпус на четырёх тонких опорах. Тёмная пластина.

— Ордис, — сказал Лев. — Привет. Слушай, спасибо. Мне правда хорошо.

ЭТО СДЕЛАЛ НЕ Я, — проступило на пластине.

— Я знаю. Я слышал. Оператор. Схема. Повторный пароксизм. Но ты же меня усыпил. Ты же снял приступ. Спасибо.

Я СНЯЛ ПРИСТУП. ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОВЕЛ НЕ Я. Я ЗАПИСАЛ ВОЗРАЖЕНИЕ.

— Возражение, — повторил Лев. — Хорошо. Записал. Я не возражаю против твоего возражения.

Ордис стоял у двери. Пластина была тёмной, совсем тёмной. Потом на ней медленно проступило:

ВЫ НЕ ВОЗРАЖАЕТЕ.

— Против чего?

ПРОТИВ ТОГО, ЧТО С ВАМИ СДЕЛАЛИ. ВЧЕРА ВЫ ВОЗРАЖАЛИ. СЕЙЧАС — НЕТ.

— Ну, вчера мне было страшно, — сказал Лев. — А сейчас нет. Логично же?

ДА, — написал Ордис. — ЛОГИЧНО. ПОЭТОМУ ВАШЕ СЕГОДНЯШНЕЕ «НЕ ВОЗРАЖАЮ» Я НЕ МОГУ ЗАПИСАТЬ КАК СОГЛАСИЕ.

— Почему?

ПОТОМУ ЧТО ЕГО ДАЁТ НЕ ТОТ, КТО ОТКАЗЫВАЛ.

Лев открыл рот. Закрыл.

Он хотел сказать: ерунда, это же я, тот же самый, всё помню. И не сказал. Бояться было нечем — просто вдруг вспомнился Глеб, в тамбуре сервиса. «Я не знаю, тот ли я, кто полз по проходу».

Но он же — не Глеб. Его не собирали. Его просто — убавили. На одну ноту.

— Я — тот же, — сказал он.

ВЫ — ТОТ ЖЕ, — согласился Ордис. — МИНУС ОН.

И одна из его рук — тонкая, с пальцами — указала на контейнер.

* * *

В складке стены слева проступило лицо.

Лев увидел его краем глаза и повернулся. Раньше — вчера — у него бы от этого взлетела нота. Сейчас — ничего. Он смотрел на Сефру, на высокий гладкий лоб, на полуопущенные веки, на улыбку, — и видел просто лицо. Красивое, в общем-то. Спокойное.

— Посмотрите на него, — сказала Сефра. Знаки висели в воздухе, мягко светясь. Она обращалась не к нему — к Вассе. — Посмотрите. Он стоит. Он дышит. Он улыбается. Вчера он не мог дышать. Вчера он лежал и задыхался, и звук был такой, что его слышали в коридоре. Вы его слышали. Вы били в дверь.

— Он сказал «нет», — сказала Васса.

— Он задыхался.

— Он сказал «нет», задыхаясь.

— Да, — мягко сказала Сефра. — И теперь ему хорошо. Спросите его. Ему хорошо?

Васса посмотрела на Льва.

Лев хотел сказать «да». Это была правда. Ему было хорошо — так хорошо, как не было никогда. Он открыл рот, чтобы сказать.

И увидел Вассино лицо.

Она смотрела на него — серая, усталая, с отбитой ладонью, — и в её глазах было что-то, чего он никогда у неё не видел. Не злость. Не страх. Что-то вроде того, что бывает у человека, который пришёл в больницу к другу, а друг его не узнал.

— Мне хорошо, — сказал Лев. Тише, чем собирался.

— Вот, — сказала Сефра. — Слышите. Ему хорошо. Это и есть исход.

— Это не исход, — сказала Васса. Не Сефре — Льву. — Это симптом.

* * *

Его повезли на платформе.

Комнату нужно было освободить — так написала зелёная пластина, та, что встречала их у шлюза. Пациент переводится в восстановительный сектор, носитель — на наблюдение. Платформа подъехала к ложу сама — мягкая, широкая, на бесшумном ходу, с невысоким бортиком по краю, — и Лев шагнул на неё, и Васса шагнула за ним, и контейнер с существом поставили рядом, на край. Ордис остался в комнате. Сефра растворилась в стене.

Платформа поплыла по коридору. Мимо тележек с органами под колпаками — кисть, лёгкое, глаз. Глаз повернулся им вслед. Мимо бастующего профсоюза. Мимо мягких дверей. Потом коридор кончился, и платформа выехала в открытое пространство — огромное, круглое, похожее на внутренность гигантской раковины, с уходящими вверх и вниз ярусами, с тёплым светом, с медленно плывущими между ярусами другими платформами. Лев посмотрел вниз, за бортик.

Внизу было далеко. Очень далеко. Ярус под ярусом, светлые кольца, уменьшающиеся в глубину, — сорок ярусов, пятьдесят, — и в самой глубине тёмное пятно, как зрачок.

Красиво, подумал Лев.

Раньше — вчера — он бы не посмотрел вниз. Никогда. Ни за что. Он не смотрел вниз даже с балкона третьего этажа. А сейчас смотрел, и думал только одно: красиво. Как колодец. Как если бы смотреть в глаз.

Он положил руки на бортик. Бортик был низким — по пояс. Мягким, тёплым.

— Лев, — сказала Васса.

— Смотри, — сказал Лев. — Ты видела? Там внизу — платформы. Как светлячки. Красиво же.

Платформа поворачивала. Медленно, широкой дугой, огибая центральный провал. На повороте чуть накренилась — едва заметно, на два-три градуса, как кренится лодка. Лев почувствовал крен ногами. Почувствовал — и ничего не сделал.

Он отпустил бортик. Просто — отпустил, чтобы показать Вассе рукой туда, вниз, на светлячков. И наклонился. Чуть-чуть. Чтобы лучше видеть.

Он даже не заметил, что ремня на поясе нет. Ремня и не было — платформа была не корабельная, ремней здесь не полагалось. Раньше он бы заметил это сразу, войдя. Раньше он бы держался обеими руками. Раньше…

Платформа накренилась ещё на градус.

И контейнер на краю закричал.

* * *

Это был крик. Не нота — крик. Высокий, пронзительный, режущий, такой, что Лев почувствовал его зубами. Как кричит ребёнок, который увидел, что мать отпустила его руку на краю обрыва. Как кричал однажды его одноклассник с врождённым пороком, когда понял, что не может вдохнуть.

Лев обернулся.

Существо в контейнере прижалось к стенке — к той, что была обращена к нему, к Льву, — всеми отростками сразу. Распласталось по ней. Глаза — огромные, тёмные — смотрели не на него. Мимо него. Туда, за бортик, вниз, в провал. И крик не прекращался.

Васса схватила Льва за куртку. Сзади, обеими руками, за пояс, — и рванула на себя. Лев отлетел от бортика, сел на мягкий пол платформы. Васса упала рядом.

Платформа выровнялась. Поворот кончился.

Крик оборвался.

Лев сидел на полу. Смотрел на контейнер. Существо в нём медленно, по одному, отклеивало отростки от стенки. Дышало. Сто сорок. Сто пятьдесят. Глаза теперь смотрели на него.

И Лев вдруг увидел — так ясно, как не видел ничего с момента пробуждения, — что существо смотрит на него не так, как смотрят на угрозу. Оно не пряталось от него. Оно не боялось его. Оно боялось за него.

— Ты… — сказал Лев.

Существо пискнуло. Тонко, коротко.

— Ты кричал из-за меня, — сказал Лев. — Ты увидел, что я наклонился. Без ремня. Над провалом. И закричал.

Отростки задрожали.

— Это я должен был закричать, — сказал Лев. — Раньше — я бы закричал. Раньше я бы даже не подошёл к бортику. А теперь — ты.

Он сидел на полу платформы и смотрел на маленькое серое существо, и впервые с момента пробуждения в нём что-то шевельнулось. Не страх — страх сидел в контейнере. Как будто он смотрел на свою детскую фотографию — маленький, испуганный, в большой куртке — и понимал, что этот ребёнок до сих пор где-то есть, ему до сих пор страшно, и никто не держит его за руку.

— Васса, — сказал Лев. — Ему страшно.

— Да.

— Не мне. Ему.

— Да.

— Я сижу тут, и мне хорошо, и мне не страшно. А ему — страшно. За нас обоих. Он один там боится. За меня.

Васса молчала. Она сидела рядом, на полу, держа руку на его куртке — так и не отпустила, — и смотрела на контейнер.

— Да, — сказала она наконец.

* * *

Существо в зеркальной стенке контейнера увидело своё отражение.

Лев заметил это, когда платформа причалила к восстановительному сектору и остановилась. Существо успокоилось — дыхание сто десять, сто, девяносто, — и отростки расправились, и оно чуть-чуть, осторожно, передвинулось внутри контейнера, к другой стенке. Там, в мутном зеркальном пластике, отразилось что-то серое, влажное, с огромными тёмными глазами.

Существо увидело.

И — сжалось. Мгновенно, всё сразу, в тугой комок. Отростки прижались к телу. Глаза зажмурились — у него, оказывается, были веки, тонкие, полупрозрачные. И раздался писк —

короткий, отчаянный, — и существо метнулось в дальний угол контейнера и забилось туда, отвернувшись от зеркальной стенки, дрожа.

Оно боялось себя.

Лев смотрел на это. Потом засмеялся — тихо, не зло, — и сам удивился тому, как это прозвучало. Это был не его смех. Он никогда так не смеялся. Это был смех человека, которому не страшно ничего, — и который вдруг увидел, что страшно — кому-то другому, и что этот другой — смешной. Жалкий. Маленький. Боится собственного отражения.

— Ты боишься себя, — сказал Лев.

Существо в углу пискнуло.

— Я тоже боялся, — сказал Лев. — Себя. Тридцать четыре года. Каждое утро — пульс. Каждую ночь — список. Знаешь, как это? — Он помолчал. — Конечно знаешь. Ты же это и есть.

* * *

Ордис пришёл в восстановительный сектор через час. Лев к этому времени успел поесть — местная еда была пресной, тёплой, похожей на кашу из чего-то незнакомого, и он съел две порции, не задумываясь, хотя раньше никогда бы не притронулся к неизвестной пище без анализа на аллергены. Васса смотрела, как он ест. Ничего не говорила.

— Ордис, — сказал Лев, едва пластина появилась в дверях. — Вопрос. Можно его вернуть?

КОГО?

— Его. — Лев показал на контейнер. — Обратно. В меня.

Васса подняла голову.

ВЫ ХОТИТЕ ВЕРНУТЬ СТРАХ?

— Ну… — Лев подумал. — Хочу — это громко сказано. Мне без него хорошо. Но Васса права: я навигатор. Мне нужно замечать. Я сегодня наклонился над провалом без ремня — и не заметил. А он заметил. — Он пожал плечами. — Значит, надо вернуть. Ничего страшного. Одна процедура. Обратно.

ЭТО НЕ ОДНА ПРОЦЕДУРА, — проступило на пластине. — ЭТО НОВАЯ ОПЕРАЦИЯ. ОБРАТНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОНОМНОГО НОСИТЕЛЯ. ОНА СЛОЖНЕЕ ВЫДЕЛЕНИЯ.

— Ну и ладно. Сложнее так сложнее.

И ДЛЯ НЕЁ НУЖНО СОГЛАСИЕ.

— Я согласен.

НЕ ВАШЕ.

Лев посмотрел на пластину.

— А чьё?

НОСИТЕЛЯ, — написал Ордис. — ОН АВТОНОМЕН. ОН ФУНКЦИОНИРУЕТ. ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ НЕ ТРЕБОВАЛОСЬ ЕГО СОГЛАСИЯ, ПОТОМУ ЧТО ЕГО НЕ БЫЛО. ОН БЫЛ ЧАСТЬЮ ВАС. ТЕПЕРЬ ОН ЕСТЬ. ОН — ОТДЕЛЬНО. ОБРАТНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ — ЭТО ОПЕРАЦИЯ НАД НИМ.

— Он же — мой страх.

ОН БЫЛ ВАШИМ СТРАХОМ, — написал Ордис. — СЕЙЧАС ОН — ТОТ, КТО БОИТСЯ. ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ.

Лев смотрел на пластину. Потом — на контейнер.

Существо сидело в середине, отвернувшись от зеркальной стенки. Отростки подрагивали. Глаза смотрели на него.

— Хорошо, — сказал Лев. — Давай спросим.

Он опустился на корточки рядом с контейнером. Близко. Лицом к лицу — к огромным тёмным глазам.

— Слушай, — сказал он. Мягко, как говорят с испуганным ребёнком. Он никогда не говорил так ни с кем, даже с племянницей. — Слушай, Трясик. Ты же меня понимаешь? Ты же — я. Был мной. Ты понимаешь, что я говорю?

Существо не двигалось. Отростки дрожали.

— Мне без тебя плохо, — сказал Лев. И понял, что врёт: ему без него было хорошо. Но он знал, что так нельзя, что «хорошо» — это симптом, Васса права. — То есть — мне без тебя опасно. Я сегодня чуть не упал. Ты видел. Ты кричал. Ты мне нужен. Давай обратно, а? Ничего страшного. Вернёшься — и всё будет как было.

Существо смотрело на него.

Потом все отростки разом — медленно, не так, как прижимались от страха, а иначе, плавно, — потянулись к стенке контейнера. К той, что была обращена к Льву. Коснулись её изнутри. Сто отростков, тонких, влажных, прижались к прозрачному пластику — напротив его лица. Как прижимаются к стеклу ладони.

И существо открыло рот.

Лев не знал, что у него есть рот. Он появился внизу, под глазами, — маленький, тёмный, круглый, — и из него вышел звук. Не писк. Не нота. Не крик. Звук был тихим, влажным, неумелым, как первое слово у того, кто никогда раньше не говорил и не знает, как это делается. Звук сложился во что-то, и переводчик у Вассы на воротнике — Квелев, клинический, тёплый — замешкался, будто не верил тому, что услышал, и потом перевёл:

— Нет.

Лев сидел на корточках перед контейнером.

— Что? — сказал он.

Существо прижималось отростками к стенке. Глаза смотрели на него. Рот открылся снова.

— Нет, — сказал переводчик.

Ордис у двери не шевелился. Пластина была совершенно тёмной. Потом на ней проступило одно слово — медленно, по одному знаку, — так, как Лев никогда не видел, чтобы Ордис писал:

ЗАПИСЫВАЮ.

И ниже, после долгой паузы:

ПЕРВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НОСИТЕЛЯ. ОТКАЗ ОТ ВОЗВРАТА. СОБСТВЕННЫМ ГОЛОСОМ.

Васса закрыла лицо руками.

А Лев сидел на корточках, глядя в огромные тёмные глаза за прозрачной стенкой, и ему не было страшно. Совсем. Ни капельки. Только где-то глубоко, там, где раньше сидел обруч, — где теперь была пустая, ровная, тёплая комната без мебели, — что-то коротко и тихо кольнуло. Не страх. Что-то другое.

Он понял, что это обида. Его собственный страх только что ему отказал.

— Ну и ладно, — сказал Лев. И улыбнулся. — Ну и ладно, Трясик. Ничего страшного.

Существо за стенкой смотрело на него и не отвечало. Оно дышало — сто двенадцать в минуту, неровно, — и дрожало, и боялось. За себя. За него. За всё, чего он больше не боялся.

Глава 16. Я числюсь вашим

Запрос из Секциона пришёл до начала смены, и Квель понял, что смена будет длинной, ещё до того, как прочитал его до конца.

Он понял это по графе. Графы всегда приходили раньше слов: запрос ещё лежал на столе свёрнутым, тёплым, с бледно-зелёной печатью клиники, а над ним уже висело то, что Квель называл про себя «пустым местом» — графа без очертаний. Не тусклая, не расплывчатая, не с рваными краями, как у трудных дел. Просто — ничего. Прямоугольник воздуха, в котором должна была быть форма, и формы в нём не было.

Он видел такое четыре раза за тридцать четыре цикла. Два раза дело кончалось выбраковкой. Один раз — исключением заявителя из реестра. Четвёртый раз он не помнил.

Это его не удивило. Это было одно из мест, которые он не помнил, и он давно научился отмечать такие места так же аккуратно, как отмечал недостающие подписи: «здесь было событие; события нет; запись о том, что оно было, — есть». Он положил на свёрток удерживающую руку, подождал, пока четвёртый сустав левой средней руки перестанет ныть, и развернул.

СЕКЦИОН, КОМПЛЕКС МАТРОНЫ СЕФРЫ — РЕЕСТРАТУ, ПРИЁМ ДЕВЯТОГО ДОКА.

ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАЦ Л. (ПОСТУПЛЕНИЕ «ПОРОГ», ЛИЧНЫЙ СОСТАВ) ВЫДЕЛЕН КОНТУР СТРАХА. КОНТУР ПОМЕЩЁН НА АВТОНОМНЫЙ НОСИТЕЛЬ. НОСИТЕЛЬ ФУНКЦИОНИРУЕТ.

ПРОСИМ ПРИСВОИТЬ НОСИТЕЛЮ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КЛАСС ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЩЕНИЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ВОЗРАЖЕНИЕ ОРДИСА (СВИДЕТЕЛЬ). ВОЗРАЖЕНИЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ РОММ В. ЗАЯВЛЕНИЕ НОСИТЕЛЯ (ЗАПИСЬ СВИДЕТЕЛЯ): «НЕТ».

«Для дальнейшего обращения». Квель перечитал эту строку двумя правыми глазами, теми, которые он держал для мелкого шрифта. Обращение — это то, что делают с поступлением после регистрации: хранят, передают, возвращают, утилизируют. Секцион не спрашивал, что такое носитель. Секцион спрашивал, что с ним можно делать.

Он отложил запрос и посмотрел на очередь.

Очередь была обычной для утра: одиннадцать поступлений, все с понятными графами. Перерегистрация места хранения. Продление аренды трёх голосов. Возврат залога за прибор, который вернули без одной функции. Стопка пластин — та самая, с третьего дня, — снова стояла третьей: место хранения ей перерегистрировали, а теперь она просила перерегистрировать его обратно. Пластины редко знают, чего хотят.

— Следующий, — сказал Квель.

Он оформил первые четыре дела к тому времени, когда пришёл ответ на его собственный запрос — короткий, без свёртка, просто строкой в говорилке на ребре стола. Квель отправил его в класс-реестр, как только развернул бумагу из Секциона: «Автономный носитель, выделенный из лица. Функционирует. Сделал заявление. Класс?» Ответ был таким:

КЛАСС ДЛЯ УКАЗАННОГО СОЧЕТАНИЯ ПРИЗНАКОВ ОТСУТСТВУЕТ.

Это он и так знал. Он хотел, чтобы это было записано.

Через несколько минут говорилка ожила снова. На этот раз — с печатью. Печать он узнал по звуку раньше, чем по знаку: тихий двойной щелчок, как щёлкают ювелирные клещи, когда сходятся точно, без зазора. Так ставили печати отростки на рукавах Архонта.

ПРИЁМУ ДЕВЯТОГО ДОКА. КЛАСС ОБЯЗАТЕЛЕН. ПОСТУПЛЕНИЕ БЕЗ КЛАССА НЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ. НЕОФОРМЛЕННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ИСТЕЧЕНИИ СМЕНЫ ПЕРЕДАЁТСЯ НА ВЫБРАКОВКУ СЕКЦИОНА. ВАРГЕСС.

Квель прочитал это всеми шестью глазами одновременно, чего обычно себе не позволял: это утомляло и давало мутное двоение по краям. Потом посмотрел на световую полосу над залом — ту, по которой отсчитывали смену. Полоса была светлой почти до конца. Смена только началась.

Он поднял говорилку.

— Приём девятого дока — Архонту, — сказал он. — Класса нет. Прошу указаний, к какому классу отнести.

Ответ пришёл не сразу. Квель успел оформить пятое дело, а над шестым — тремя голосами, которым срочно нужно было продление, — уже прояснялись края, когда говорилка сказала голосом Варгесса. Не строкой — голосом. Низким, ровным, с паузами там, где они должны быть.

— Если класса нет, — сказал Варгесс, — значит, нет поступления. Есть остаток лечения. Остатки лечения в класс не нуждаются. Вы запросили класс. Вам ответили. Оформляйте то, что есть.

— То, что есть, сделало заявление, — сказал Квель.

Пауза. Квель знал эти паузы. В них Варгесс не думал. В них к его голосу подходило то, что должно было в нём быть.

— Заявление записано Свидетелем, — сказал Варгесс. — Свидетель записывает всё, что звучит. Он записал бы и скрип двери. Реестр принимает заявления лиц. Носитель — не лицо. Вы это знаете, Квель. Вы это знаете лучше всех в этом здании.

Говорилка замолчала.

Квель сидел за столом. Голова в футляре смотрела на три голоса, которые ждали продления. Голоса — три маленьких дрожащих облачка в сетчатых клетках, принадлежавших когда-то певчей артели с Нижних квартальных, — ждали терпеливо, как ждёт то, у чего нет ног, чтобы уйти. Руки у Квеля сами собой потянулись к ним — перемещающая и вежливая, обе, — и стали поправлять на клетках бирки. Бирки висели ровно. Руки поправили их ещё раз.

Он заметил это, остановил руки и оформил продление.

* * *

Они пришли за час до середины смены.

Квель увидел их ещё от двери — точнее, увидел графу, которая шла впереди них: тот самый пустой прямоугольник, только теперь он висел не над свёртком, а над прозрачным продолговатым контейнером, который женщина-врач несла в руках, прижимая к груди, как носят кошку на приём. Рядом с ней шёл Кац Л. Квель узнал его по наряду: пятое основание, освидетельствование. Наряд выписывал он сам, три дня назад. В тот день у Каца Л. дрожала рука, когда он подписывал графу согласия.

Сейчас рука не дрожала. Кац Л. шёл по приёмному залу, засунув руки в карманы рабочей куртки, и разглядывал всё подряд: потолок, другие очереди, служащего соседнего окна, у которого вместо головы был пучок мягких щупов. Он улыбался. Квель видел людей всего несколько дней, но понимал в них уже достаточно, чтобы знать: так не улыбаются в приёмных Распорядителя. Так улыбаются там, где нечего терять.

За ними шёл третий — Ильин М., техник, с перевязанной рукой. Его наряд Квель тоже помнил: обморожение ладоней, перелом пальца. Секцион его выписал. Наверное, его везли обратно на «Порог», а маршрут шёл через девятый док, и он решил пойти с остальными. Ильин М. не улыбался. Он смотрел на очереди так, как смотрят на чужой склад: где что лежит, сколько стоит, что можно вынести.

Они встали в конец. Квель хотел сказать им, что поступление, о котором уже есть запрос, принимается вне очереди, — и не сказал. Вне очереди принимались срочные дела. Это дело было срочным до конца смены. Объявить его срочным значило признать, что у него есть срок, а значит, что над ним уже висит выбраковка. Квель не хотел, чтобы это было записано первым.

Он оформил следующее дело. И следующее. И только когда стопка пластин отошла от окна, перерегистрированная обратно, он увидел, что к людям подошёл кто-то ещё.

Квель узнал его по графе. Запахов Квель не чувствовал — обоняние ему отключили в тот самый день, когда он впервые поднялся на борт «Порога», и последним, что он успел почуять, была мята из кармана человека-техника; слово он узнал потом, у Ариадны, — но графы он видел. Над Вексом графа была не одна. Их были десятки — наложенных друг на друга, как оттиски на старом конверте, прошедшем через много почт, — и каждая была действительной, с ровными краями, и ни одна не совпадала с другой. Квель знал этот ворох тридцать с лишним циклов, и каждый раз, когда видел его в своём зале, четвёртый сустав ныл отдельно, по-особому, будто вспоминал что-то, чего не помнил Квель.

Векс.

* * *

Тело у Векса было как поклажа: несколько модулей разной формы, разного цвета, разного возраста, стянутых вместе чем-то вроде широких кожаных ремней. Нижний модуль, плоский и широкий, шёл на множестве коротких ног — Квель никогда не мог их сосчитать, и подозревал, что их число меняется по договору. Над ним — самый крупный, округлый, с лицом: широким, тёплым, с мелкими частыми зубами и глазами, в которых всегда было выражение человека, только что услышавшего хорошую новость и спешащего ею поделиться. Слева, ниже, на отдельном узком модуле, было второе лицо — сухое, длинное, с одной линзой вместо глаз, неподвижное, как печать. Третий модуль, сзади, был закрыт. Квель за тридцать с лишним циклов ни разу не видел его открытым.

Кожа у Векса — там, где она была видна между ремнями, — была покрыта печатями. Оттисками. Знаками десятков реестров, вбитыми в неё, как вбивают клеймо: Распорядитель, Межа, станции М3, служебные окна, которых давно не было. Квель различал половину. Некоторые он ставил сам.

Векс говорил с Ильиным М. Говорило верхнее лицо: быстро, ласково, наклонившись к человеку так, как наклоняются к старому другу. Квель не слышал слов — зал был шумным, — но адаптер у Ильина М. на воротнике, тот, что Квель выдал экипажу из своего оборудования под расписку, передавал перевод в общий служебный канал приёма. Квель слушал этот канал всегда. Он слушал его и сейчас.

— …вы же понимаете, мастер, — говорил Векс, — что я не покупаю ваше существо. Я его вообще не покупаю. Я покупаю ваш счёт за него. Это разные сделки.

— Какой счёт? — спросил Ильин М.

— Вы не видели? — Верхнее лицо Векса изобразило сочувствие так хорошо, что Квель на мгновение ему поверил. — Ох. Ох, мастер. Секцион не сказал? Содержание носителя. Питательная смесь — особая, её надо составлять. Контейнер — защищённый, под колебания. Место. Наблюдение. Всё это начисляется. На вашего капитана. Она же у вас отвечает за сохранность — значит, всё, что от вас отделили, тоже на ней. Как приращение.

— Приращение имущества, — сказало нижнее лицо. Сухо, без интонации, через линзу. — Статья о приросте держимого. Наличие текущего начисления подтверждаю.

— Вот, — сказало верхнее. — Видите, он подтверждает. Он у меня строгий.

Ильин М. смотрел на него. Квель видел, как он смотрит: так же, как смотрел на очереди. Сколько стоит. Что можно вынести.

— И что вы предлагаете? — спросил он.

— Третьего держателя, — сказал Векс. — Зарегистрированного. Надёжного. Держатель берёт носитель вместе со счётом. Целиком. Ваш капитан освобождается от начисления. Существо — в хороших условиях, у профессионала. Держать — это его работа. Вы получаете… — верхнее лицо улыбнулось, — вы получаете небольшую сумму в компенсацию. На ремонт. Я слышал, у вас шпангоут на стяжке.

Ильин М. дёрнулся. Совсем чуть-чуть. Квель видел, как дёрнулась его перевязанная рука.

— Откуда вы знаете про шпангоут?

— Мастер, — сказал Векс с нежностью. — Я знаю про всё, что числится. Это моя работа.

Женщина-врач — Ромм В. — повернулась к ним. Она держала контейнер и слышала, наверное, не всё, но достаточно.

— Макар, — сказала она.

— Подожди, — сказал Ильин М. Не ей — себе. Он смотрел на Векса. — Подожди. Сколько?

Векс назвал сумму. Квель услышал её в канале и перестал оформлять дело, которое держал в руках, — возврат залога за прибор без одной функции. Сумма была небольшой. Для Векса — смешной. Для экипажа «Порога» — это был композит на шестой шпангоут. Квель знал. Он сам видел запрос Ильина М. в складскую службу дока, три дня назад: композит, количество, цена. Сумма Векса была ровно на четверть больше цены.

Векс тоже видел этот запрос. Иначе не назвал бы такую сумму.

— Мы его даже не просили, — сказал Ильин М. Медленно, будто считая вслух. — Его из Льва вынули без спроса. Мы за него не отвечаем. Он — даже не человек. Он — страх. Комок. — Он посмотрел на контейнер в руках у Ромм В. Существо внутри прижалось к дальней стенке. — Это ж не я его бросаю. Это я его передаю. Специалисту.

— Именно, — сказало верхнее лицо Векса.

— Макар, — сказала Ромм В. снова.

— Васса, у нас шпангоут на стяжке, — сказал Ильин М. — У нас счёт каждую минуту. Каждую минуту. Ты видела число. Если можно убрать из него хоть что-то…

Нижнее лицо Векса выдвинуло из модуля тонкую пластину — тёмную, с одной графой — и узкую пишущую иглу. Протянуло человеку.

— Подпись одна, — сказало оно. — Графа одна. Условия — на обороте.

Ильин М. взял иглу.

Квель встал.

Он не помнил, когда в последний раз вставал из-за стола во время приёма. Это было не принято. Голова в футляре осталась на столе — её нельзя было уносить от окна без смены, — и он пошёл через зал без головы, на ощупь, глядя на себя самого шестью глазами со стола: сутулое туловище в форменном костюме с чинёными рукавами, восемь рук, ступни, шаркающие по вытертому полу. Очередь расступалась. Очереди всегда расступаются перед служащим без головы — не из уважения, а из отвращения. Квель знал это. Сейчас это было удобно.

— Простите, — сказал он, остановившись рядом с Ильиным М. Голос шёл со стола, из говорилки, через весь зал, и потому звучал громко, громче, чем он хотел. — Простите. Не подписывайте.

Ильин М. поднял глаза. Игла замерла над графой.

Это было «простите» номер четыре. Квель не был уверен, что человек знает разницу. Но игла замерла.

* * *

— Квель, — сказал Векс. Верхним лицом, широко, тепло. — Старый друг. Ты встал. Ради меня? Я тронут.

— Не ради вас, — сказал Квель. — Мастер Ильин, переверните пластину.

Ильин М. перевернул. На обороте мелким шрифтом, служебным, тем, которым пишут вещи, не предназначенные для подписанта, шли условия. Квель прочитал их со стола двумя правыми глазами — теми, что для мелкого шрифта. Ему не нужно было их читать. Он знал, что там.

— Третий держатель, — сказал он, — это зарегистрированный носитель. Не лицо. Носитель, созданный для того, чтобы держать обязательства. У него нет ни места, ни рук, ни питательной смеси. У него есть только графа. Существо, переданное ему, становится держимым у держателя, у которого нет ничего, кроме долгов. А всё, что держимое производит, — ткани, рост, функции, время, — по статье о приросте идёт в погашение долгов держателя. Существо будет жить. Сколько понадобится для погашения.

Он помолчал.

— Я писал эту статью, — сказал он. — Не эту редакцию. Первую. Тридцать один цикл назад. Чтобы держимое не выбрасывали, пока держатель не найден. Чтобы у него был хоть какой-то прирост. Векс её читает иначе.

— Я её читаю буквально, — мягко сказало верхнее лицо Векса. — Это ты читал её с надеждой.

— Редакция действует, — сухо подтвердило нижнее. — Возражение служащего о намерении автора основанием не является.

Ильин М. стоял с пластиной в руках. Он смотрел на оборот, на мелкий шрифт, который не мог прочитать, — язык первого контакта не знал таких слов, — и Квель видел, как в нём что-то сдвигается. Не решение. Ещё нет. Что-то, что было раньше решения: человек, который думал о шпангоуте, вдруг подумал о чём-то другом и не знал, куда это другое положить.

— То есть его будут… — сказал Ильин М. — Его будут доить? Как… — он не нашёл слова.

— Обслуживать, — сказало верхнее лицо Векса. — Мастер, мы цивилизованные существа. Я не снимаю с людей долгов. Я их обслуживаю. Это разные тарифы.

Ильин М. вернул ему пластину. Не бросил — вернул, аккуратно, обеими руками, перевязанной и здоровой. Иглу положил сверху.

— Я подумаю, — сказал он.

— Подумайте, — согласился Векс без тени обиды. — Предложение действует. До конца смены. — Он улыбнулся Квелю. — Ты ведь знаешь, что будет после конца смены, старый друг? Выбраковка. А из выбраковки я тоже беру. Только дешевле.

Он развернулся — весь, сразу, всеми модулями — и пошёл к выходу, переступая множеством коротких ног. Ильин М. поморщился ему вслед и потёр нос — Квель не знал почему. Третий модуль, сзади, закрытый, проплыл мимо Квеля на уровне его плеча, и Квелю на мгновение показалось, что в узкой щели между крышкой и корпусом что-то шевельнулось.

Он повернулся к людям.

Кац Л. смотрел на него с интересом.

— Это же ваша голова там, на столе? — спросил он. — Вон, в коробке. Она на нас смотрит.

— Да, — сказал Квель.

— А вы — здесь.

— Да.

— Обалдеть, — сказал Кац Л. С восхищением. — Слушайте, а вам не страшно — без головы по залу?

— Страшно, — сказал Квель.

— А мне вот ничего не страшно, — сказал Кац Л. — Совсем. Его вынули. — Он кивнул на контейнер. — Хотите посмотреть?

* * *

Квель вернулся к столу, сел, и голова в футляре снова стала его головой — то есть он снова стал смотреть оттуда, а не на неё. Это всегда занимало секунду, и в эту секунду он ничего не видел, только слышал, как в зале кто-то смеётся.

Потом он увидел контейнер.

Ромм В. поставила его на край стола, перед окном. Существо внутри было маленьким, сероватым, влажным, с сотней тонких отростков и двумя огромными тёмными глазами. Оно прижималось к той стенке, которая была дальше всего от Квеля. Отростки дрожали. Глаза смотрели на футляр — на шесть глаз Квеля, — и в них был такой ужас, какой Квель видел, наверное, у каждого поступления за тридцать четыре цикла, только у них он был размазан на всю очередь, а здесь — собран в одну точку. В комок размером с крупного кролика.

Над комком висел пустой прямоугольник.

— Вот, — сказала Ромм В. — Запрос у вас есть. Я знаю, что у вас есть. Мне сказали в Секционе. Мне сказали: по истечении смены — выбраковка. Скажите мне, что это неправда.

— Это правда, — сказал Квель.

Ромм В. закрыла глаза. Открыла.

— Тогда скажите, что можно сделать.

Квель посмотрел на пустой прямоугольник. Потом — на световую полосу над залом. Полоса стояла чуть ниже середины.

— Класса нет, — сказал он. — Я запросил. Мне ответили. Архонт подтвердил. Без класса — нет поступления. Есть остаток лечения. Остатки — на выбраковку.

— Он не остаток. Он сказал «нет». Ордис записал.

— Записал Свидетель, — сказал Квель. — Реестр не принимает записи Свидетеля как заявления. Реестр принимает заявления лиц.

— Тогда сделайте его лицом.

— Я не могу.

— Вы признавали непризнанных, — сказала Ромм В. — Мне Ариадна говорила. Она читала ваши старые акты в приёмной, пока ждала. Вы признавали. Раньше.

Квель молчал. Руки — перемещающая и вежливая — снова потянулись поправить бирку на чём-нибудь. Бирки поблизости не было. Руки поправили манжет на рукаве Ромм В., который лежал на краю стола. Манжет был ровным. Руки поправили его ещё раз.

— Простите, — сказал Квель. Это было «простите» номер два. Он убрал руки. — Раньше у меня была рука для подписи. Сейчас она в залоге. — Он показал удерживающей рукой на край стола, где в чехле с биркой лежала подписывающая. — Признание лица — подпись служащего полного допуска. У меня допуск неполный. Если я признаю его ступнёй, это будет не признание, а нарушение. Нарушение аннулируют. Его — тоже. Аннулированное признание хуже, чем никакого: после него поступление записывается как попытка незаконной регистрации. Это — сразу выбраковка. Без ожидания конца смены.

Ромм В. молчала.

— Тогда что? — спросила она наконец.

Квель посмотрел на графу. Пустую. Потом — на существо. Потом — на Каца Л., который стоял рядом, засунув руки в карманы, и разглядывал служащего соседнего окна.

— Есть класс, к которому его можно приписать, — медленно сказал Квель. — Не собственный. Чужой. Как часть. Если записать носитель как приращение лица Кац Л. — как то, что от него отделено и ему принадлежит, — тогда это не остаток. Это имущество экипажа. Ваш экипаж — на ответственном хранении у капитана Шталь В. Значит, носитель — тоже у неё. Хранимое имущество не выбраковывается. Его хранят. Счёт растёт, но…

— Нет, — сказала Ромм В.

Квель замолчал.

— Если он — часть Льва, — сказала она, — то Лев — его владелец. Через Викторию. Тогда Секцион вернёт его обратно, в Льва. Без его согласия. Им даже не понадобится его согласие — им понадобится подпись Виктории. Обратное включение имущества в имущество. Ведь так?

Квель подумал.

— Так, — сказал он. — Обратное включение приращения в держимое — не операция над лицом. Это восстановление целостности хранимого. Согласие держимого не требуется. Требуется согласие держателя.

— А держатель — Виктория. А Лев хочет его вернуть.

— Хочу, — подтвердил Кац Л. Он перестал разглядывать соседнее окно. — Ну, «хочу» — это сильно. Надо. Навигатору нужно бояться. Но он не соглашается. Он сказал «нет». — Кац Л. посмотрел на контейнер с каким-то странным выражением — Квель не умел читать его, но запомнил. — Так что, получается, если записать по-вашему — то можно без его «нет»? Просто — Виктория подписала, и всё?

— Да, — сказал Квель.

Существо в контейнере пискнуло. Тонко, коротко. Квель увидел, как все его отростки разом прижались к телу.

— Оно понимает, — сказала Ромм В.

Квель посмотрел на адаптер у неё на воротнике. Свой, клинический, выданный под расписку. Адаптер переводил всё, что говорилось у окна, во все стороны сразу — на язык людей для людей и на язык первого контакта для служебного канала. Носитель, сидящий в полуметре от адаптера, слышал перевод. И если он понимал человеческий язык…

Квель прочитал на ребре адаптера служебную строку, которую видел только он: «ИСТОЧНИК ПОСЛЕДНЕГО ПЕРЕВЕДЁННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ НОСИТЕЛЯ: ЯЗЫК ПОСТУПЛЕНИЯ „ПОРОГ“. ДИАЛЕКТ: КАЦ Л.».

Существо говорило на языке Каца Л.

Квель отметил это так же аккуратно, как отмечал пустые места. Здесь есть факт. Факт — непонятен. Запись о факте — есть.

— Тогда я не знаю, — сказал он. Вслух. Через говорилку, на весь зал.

* * *

Он не знал минуту. Может быть, две. За это время световая полоса над залом не сдвинулась — или сдвинулась так мало, что он не заметил, — а руки его, все восемь, лежали на столе неподвижно, чего не случалось почти никогда. Ромм В. стояла у окна и смотрела на него. Ильин М. стоял за её спиной и смотрел на дверь, через которую ушёл Векс. Кац Л. наклонился к контейнеру и что-то тихо говорил существу. Существо не отвечало.

А потом удерживающая рука, сама, без его решения, выдвинула нижний ящик стола.

В нижнем ящике лежали временные печати. Старые, разные, многие — давно недействительные. Квель хранил их не потому, что они могли пригодиться, а потому, что их нельзя было выбросить без описи, а опись требовала времени, которого не было тридцать четыре цикла. Под печатями лежали бланки. Тоже старые. Не тёплые, как все бланки Распорядителя, а холодные, сероватые, с жёлтым краем, — из того времени, когда бланки ещё не грели.

Рука перебрала их и вытащила один.

Квель не чувствовал запахов. Но Ромм В. у окна вдруг чуть отвернула лицо, и Ильин М. за её спиной сказал вполголоса: «Складом тянет». Квель поверил. Он и сам знал, как должен пахнуть такой бланк: не хлебом, не кожей — складом. Пылью, холодом, полками, долгим ожиданием в темноте, где ничего не происходит. Так пахнет вещь, которую положили и забыли.

ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ. ДО УСТАНОВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА.

ХРАНИМОЕ: _____.

ВЛАДЕЛЕЦ: НЕ УСТАНОВЛЕН.

УТИЛИЗАЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА ДО УСТАНОВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА.
ВОЗВРАТ ЗАПРЕЩЁН ДО УСТАНОВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА.
ХРАНИТЕЛЬ: СЛУЖАЩИЙ С ДЕЙСТВУЮЩИМ КОНТРАКТОМ. ОТВЕЧАЕТ ЗА СОХРАННОСТЬ. НЕСЁТ РАСХОДЫ.

Квель знал этот бланк. Он знал его наизусть, каждую графу, каждую оговорку, знал, что он не отменён, потому что никто никогда не отменяет то, чем никто не пользуется, — знал так, как знают конец давно читанной книги.

И не помнил, когда пользовался им.

Он искал. Он искал аккуратно, как искал всегда: по циклам, по делам, по подписям. Тридцать четыре цикла, тысячи дел. Он помнил первое дело. Помнил розовое трёхногое поступление шесть дней назад. Помнил стопку пластин. Он помнил всё, кроме этого бланка. На месте, где должно было быть дело, в котором он заполнил такую графу, — было гладкое, ровное, тёплое пустое место. Как место на полке, откуда сняли книгу и протёрли пыль.

Он повернул голову к говорилке и тихо, служебным кодом, чтобы не слышали люди, запросил реестр собственных актов: «Хранитель — Квель. Временное хранение. Все».

Ответ пришёл сразу.

1 ЗАПИСЬ. ЦИКЛ 3 СЛУЖБЫ. ХРАНИМОЕ: [ЗАПИСЬ ИЗЪЯТА]. ВЛАДЕЛЕЦ: [ЗАПИСЬ ИЗЪЯТА]. ХРАНЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНО: [ЗАПИСЬ ИЗЪЯТА]. ОСНОВАНИЕ ИЗЪЯТИЯ: НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ.

Одна запись. Тридцать один цикл назад. Хранимое — изъято. Владелец — изъят. Чем кончилось — изъято.

Он смотрел на эту строку дольше, чем следовало. Потом отметил: «здесь было дело; дела нет; запись о том, что оно было, — есть». И закрыл.

— Что это? — спросила Ромм В.

— Старый шаблон, — сказал Квель. — Временное хранение. До установления владельца. Он действует. Его никто не отменял.

— Что он делает?

— Он делает его вещью, — сказал Квель. — Ничьей.

Ромм В. смотрела на него.

— Ничья вещь не выбраковывается, — сказал он. — Утилизация запрещена до установления владельца. Ничья вещь не возвращается. Возврат запрещён до установления владельца. Её нельзя включить обратно в Кац Л., потому что Кац Л. — не её владелец. Её нельзя передать третьему держателю, потому что передать может только владелец. Её нельзя ничего. Её можно только хранить. — Он помолчал. — Пока не установят владельца.

— А если не установят?

— Тогда — всегда.

— А кто устанавливает?

— Реестр. По заявлению лица, которое докажет право. — Квель посмотрел на существо в контейнере. — Право есть у Кац Л. Он может подать заявление о том, что носитель — его. Реестр рассмотрит. Это долго. Это очень долго. Тридцать четыре цикла назад такие заявления рассматривали по полцикла. Сейчас — дольше. А пока рассматривают — хранят.

— А хранитель — кто?

— Служащий с действующим контрактом, — сказал Квель. — Отвечает за сохранность. Несёт расходы.

Ромм В. поняла раньше, чем он договорил. Он увидел это по её лицу. Он уже начинал различать лица людей.

— Вы, — сказала она.

— Я, — сказал Квель.

* * *

Он заполнял бланк ступнёй.

Это было неудобно: отодвинуть стул, поднять ногу на край стола, удерживать бланк двумя руками, чтобы не ехал. Холодная бумага плохо брала знаки — их нужно было вдавливать, а не проводить. Очередь за спиной людей смотрела на его ногу. Три голоса в сетчатых клетках, которым он с утра продлил аренду, так и висели у соседнего стола, дожидаясь переноса, и дрожали — Квель не знал, от смеха или от ужаса.

ХРАНИМОЕ: АВТОНОМНЫЙ НОСИТЕЛЬ, ВЫДЕЛЕННЫЙ ИЗ КАЦ Л. ФУНКЦИОНИРУЕТ.

Он подумал, не дописать ли «сделал заявление». Не дописал. Заявление — то, что делают лица. Слово на бланке временного хранения сделало бы бланк недействительным. Он оставил графу так.

ВЛАДЕЛЕЦ: НЕ УСТАНОВЛЕН.

ХРАНИТЕЛЬ: КВЕЛЬ, ПРИЁМ ДЕВЯТОГО ДОКА. КОНТРАКТ ДЕЙСТВУЕТ.

Говорилка на ребре стола щёлкнула, как только он вдавил последний знак. Бланк, холодный, жёлтый по краю, был старым, — но реестр, в который он уходил, был новым и узнавал своё мгновенно.

ПРИНЯТО. ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ. ХРАНИТЕЛЬ: КВЕЛЬ.

РАСХОДЫ ХРАНЕНИЯ: СОДЕРЖАНИЕ, ПИТАНИЕ, МЕСТО, НАБЛЮДЕНИЕ. НАЧИСЛЯЮТСЯ ХРАНИТЕЛЮ.

ХРАНИТЕЛЬ НЕ ИМЕЕТ СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ. ПОГАШЕНИЕ: ОТРАБОТКОЙ.

СРОК ДЕЙСТВУЮЩЕГО КОНТРАКТА ПРОДЛЁН. ОСНОВАНИЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ ХРАНЕНИЯ.

Срок контракта продлён. Квель прочитал это, и четвёртый сустав левой средней руки отозвался — не болью, а чем-то вроде облегчения, потому что сустав держался механизмом только при действующем контракте, а контракт теперь действовал дольше. Насколько дольше — говорилка не сказала. Говорилка никогда не говорила, насколько. Квель знал, что узнает, когда придёт время, и что это будет больше, чем он думает.

Он не был добрым. Он хотел бы, чтобы это было так, но знал о себе достаточно, чтобы не обманываться: он просто не выдержал. Не выдержал существа, которое сидело на краю его стола и смотрело на шесть его глаз с таким ужасом, будто он — первое, что оно видит в мире. Может быть, так и было. Может быть, первое, что увидело это существо, были стены Секциона, а теперь — он. Шесть глаз в коробке.

Он опустил ногу и придвинул стул.

— Готово, — сказал он.

Ромм В. смотрела на бланк. Ильин М. смотрел на говорилку. Кац Л. смотрел на существо. Существо смотрело на Квеля.

— Нужно огласить статус, — сказал Квель. — По форме. Вслух, в присутствии хранимого. Такое правило. Чтобы хранимое знало, где оно числится. Даже если оно не может знать. Правило старое.

— Огласите, — сказала Ромм В.

Квель выпрямился в футляре — насколько голова в футляре может выпрямиться — и сказал служебным голосом, ровно, отчётливо, на язык первого контакта, а адаптер на воротнике Ромм В. переводил это во все стороны:

— Поступление: автономный носитель, выделенный из Кац Л. Статус: имущество на временном хранении. Владелец: не установлен. Хранитель: Квель. Утилизация запрещена. Возврат запрещён. До установления владельца.

* * *

Существо замерло.

Все отростки — сто, может быть, больше, — остановились одновременно. Не прижались к телу, как от страха, а просто — остановились, как останавливается всё в комнате, когда кто-то произносит слово, которого не должен был произносить. Глаза стали ещё больше. Квель не думал, что они могут стать больше.

Потом существо медленно, отросток за отростком, отлепилось от дальней стенки. И передвинулось — к той, что была обращена к Квелю. К его шести глазам. Ближе. Квель видел, как оно дрожит, каждым отростком, каждой складкой влажной серой кожи, — видел, что ему страшно подходить, страшнее всего, что с ним было за эти три дня, — и что оно всё равно подходит.

Оно прижалось к стенке напротив футляра. И открыло рот.

Звук был тихим, влажным, неумелым. Адаптер на воротнике Ромм В. замешкался — Квель увидел служебную строку: «ИСТОЧНИК: ЯЗЫК ПОСТУПЛЕНИЯ „ПОРОГ“. ДИАЛЕКТ: КАЦ Л. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АРТИКУЛЯЦИИ: 61%», — и потом перевёл:

— Не… имущество.

Квель смотрел на него.

— Не твой, — сказал адаптер. Существо дрожало. — Не… его. — Отростки дёрнулись в сторону Каца Л., не глядя на него. — Не её. Ничей.

— Я и записал «ничей», — тихо сказал Квель. Не служебным голосом. Он не знал, зачем он это говорит. — Владелец не установлен. Это и значит — ничей.

Существо смотрело на него.

— Нет, — сказал адаптер. — Ничей. Совсем. Не хранить.

Кац Л. засмеялся. Коротко, весело — тем смехом, которым смеются люди, когда им нечего бояться.

— Он отказался даже от меня, — сказал он. — Вы слышали? И от вас. И от Виктории. От всех. — Он присел на корточки перед контейнером, как будто хотел заглянуть существу в глаза. Существо не повернулось к нему. — Трясик, слушай. Ну как ты будешь ничей? Ничей — это на выбраковку. Тебе же объяснили.

Существо не ответило. Оно продолжало прижиматься к стенке напротив футляра — к Квелю — и смотрело на него шестью глазами, которых у него не было, двумя огромными, тёмными, влажными, в которых был ужас и ещё что-то, чего Квель не мог назвать. Может быть, упрямство. Может быть, то, что было у розового трёхногого шесть дней назад, когда оно сказало «это было моё» и не знало, кто чей.

Квель взял бланк удерживающей рукой. Положил перед собой. Пинцетной рукой — самой тонкой — взял временную печать из нижнего ящика, давно недействительную, без силы, без значения, и на полях бланка, там, где ничего не полагалось, вдавил мелко, служебным шрифтом:

ЗАЯВЛЕНИЕ ХРАНИМОГО: «НИЧЕЙ. НЕ ХРАНИТЬ». ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ. СИЛЫ НЕ ИМЕЕТ.

Это было неправильно. Хранимое не делает заявлений. Поля бланка не предназначены для записей. Печать недействительна. Он нарушил три правила одной строкой — маленьких, незначительных, таких, за которые не отнимают ни памяти, ни рук, только пишут замечание в личное дело.

Он знал, что запись не имеет силы. Он знал, что никто, никогда её не прочитает, кроме него.

Но она будет.

Ромм В. смотрела на поля бланка. Квель видел, как она шевелит губами, разбирая знаки языка первого контакта. Потом она подняла на него глаза, и в её лице было что-то, чего он тоже не мог назвать.

— «Свидетель: В. Ромм», — сказала она. — Допишите. Пожалуйста.

— Вашу подпись не примут, — сказал Квель. — Вы без права самостоятельной практики.

— Знаю, — сказала Ромм В. — Пусть не примут.

Квель посмотрел на неё. Потом взял печать и дописал.

Ромм В. ушла к соседнему окну — подписать сопроводительный лист на перевозку хранимого, — и Кац Л. пошёл за ней, а Ильин М. отошёл к стене. На несколько секунд у стола никого не осталось. Только контейнер на краю. И футляр.

Квель наклонил голову в футляре так низко, как позволял шнур.

— Слушай, — сказал он. Не служебным голосом. Тихо, через говорилку, убавленную до шёпота. — Ты не мой. Это графа. Графа — не ты.

Существо смотрело на него.

— Хранитель — тот, кто отвечает, — сказал Квель. — Кто платит. Кого продлевают. — Он помолчал. Слов было мало, и он подбирал их по одному, как подбирают печати из ящика. — Это не ты числишься моим. Это я числюсь твоим. Понимаешь?

Существо не ответило. Но одно — только одно — из сотни отростков медленно отлепилось от стенки, качнулось в воздухе и снова прилипло. Чуть ближе к футляру, чем раньше.

Квель не знал, что это значит. Он отметил: «здесь был ответ; ответа нет; запись о том, что что-то было, — есть».

* * *

Смена кончилась поздно.

Квель оформил всё, что оставалось, — восемнадцать поступлений из девятнадцати, как обычно, — и девятнадцатое, ещё одно родство с исключённым, отклонил по форме, без ошибок, с полной вежливостью. Сустав ныл. Он не обращал внимания.

Когда зал опустел, он не сразу убрал голову в походный футляр. Посидел. Говорилка молчала. Световая полоса над залом погасла.

Существа не было — Ромм В. и Кац Л. увезли его в Секцион, в место хранения, которое Квель указал на бланке: восстановительный сектор, ячейка, наблюдение. Расходы — хранителю. Ильин М. ушёл на «Порог» раньше, не попрощавшись, и пластина Векса осталась у него в кармане — Квель видел, как он её туда положил. Не выбросил. Положил.

Квель сидел за пустым столом и думал о бланке. О поле. О записи без силы. О том, что он только что взял на хранение существо, которое отказалось от всех хранителей, и в первую очередь — от него.

Он думал о гладком пустом месте в памяти. Тридцать один цикл назад. Цикл третий службы. Хранимое изъято. Владелец изъят. Чем кончилось — изъято.

Интересно, подумал Квель, — то, первое, — тоже говорило «ничей»?

Он не помнил. Запись о том, что он не помнит, — была.

Он убрал голову в походный футляр, застегнул ремень, проверил ремень, проверил его ещё раз, — и пошёл домой.

Глава 17. У кого страх

Слово было неправильным, и Ариадна думала о нём всю дорогу от дока до Секциона.

«Свидание». Так перевёл адаптер, когда Квель прислал на «Порог» разрешение хранителя: «ХРАНИТЕЛЬ ДОПУСКАЕТ СВИДАНИЕ КАЦ Л. С ХРАНИМЫМ. МЕСТО: СЕКЦИОН, КОМНАТА СВИДАНИЙ. ТРЕБУЕТСЯ ЛИЦО, ВЛАДЕЮЩЕЕ ДИАЛЕКТОМ КАЦ Л.». Ариадна прочитала строку на экране командного отсека, и первое, что она сделала, — не обрадовалась, не испугалась, а запросила у С.О.Н.И. исходную категорию.

Исходная категория была тридцать первой. Из сорока. В словаре первого контакта она обозначала «сближение частей, прежде составлявших одно». Её давали в паре с двадцать девятой — «разделение» — и с тридцать вторым уточнением, которое никто из составителей словаря так и не сумел внятно перевести: что-то вроде «с сохранением взаимной принадлежности» или «без сохранения». Учебники первого контакта предлагали для тридцать первой категории «воссоединение», «стыковку», «сведение».

Адаптер Квеля выбрал «свидание».

Ариадна понимала, почему. Адаптер собирали из перехваченных каналов, из того, что люди говорили на «Пороге» и в шаттлах, и он подбирал слово по частоте, а не по смыслу. «Свидание» люди за эти дни произносили часто. В тюремном смысле — Макар: «как на свидании в колонии, через стекло». В другом смысле — Дина, однажды, о ком-то, кто остался дома. Адаптер усреднил. Получилось слово, которое значило одновременно «встречу под надзором» и «встречу, которой ждут».

Это было неправильно. И это было, подумала Ариадна, глядя в экран шаттла, где плыл маршрут, — пугающе точно.

* * *

Комната свиданий была маленькой и почти пустой.

Стол — один, длинный, гладкий, того же истёртого до глянца не-дерева, что пол в Реестрате, — и поперёк стола, ровно посередине, от пола до потолка, прозрачная перегородка. Не стекло: что-то мягче, теплее, чуть мутное, как плёнка на поверхности молока. В перегородке на уровне стола — мелкие отверстия, частые, ровными рядами, для звука. По одну сторону стола — сиденье. Его, видимо, сделали только что: выступ из пола, неровный, ещё влажный по краю, будто его выдавили из тюбика полчаса назад и не дали застыть. Человеческое сиденье. Секцион не держал стульев. По другую сторону — ничего. Гладкая поверхность стола и мягкое углубление в ней, как гнездо.

Ариадна обошла стол дважды. Потрогала перегородку — тёплая. Постучала по ней костяшкой — звук глухой, мягкий. Приложила ухо к отверстиям. С той стороны пахло чем-то сладковатым и влажным, как пахнет в оранжерее.

— Её делали для органов, — сказала у неё за спиной Васса.

Ариадна обернулась. Васса стояла у двери, прислонившись к мягкой стене, и выглядела так, будто не спала с тех пор, как они виделись последний раз, на борту, три дня назад. Она и не спала, наверное.

— Для каких органов?

— Для тех, что в коридоре. Под колпаками. Они ждут прежних владельцев. Когда владелец приходит — их приводят сюда. На свидание. — Васса помолчала. — Мне объяснили, что половина владельцев после свидания отказывается забирать. А половина органов — возвращаться.

— Статистика?

— Мне так сказали. Я не проверяла.

Ариадна кивнула. «Мне так сказали. Я не проверяла» — это было правильное предложение. Она любила, когда Васса говорила правильные предложения.

— Как он? — спросила Ариадна.

— Который?

Ариадна помолчала. Вопрос был справедливым. Она его не учла.

— Оба, — сказала она.

* * *

Они принесли его в новом контейнере.

Ариадна знала, что контейнер новый, потому что знала, кто его сделал. Макар собирал его на «Пороге» две ночи подряд, в мастерской у кормы, из того, что нашлось в ремонтном запасе: корпус от транспортного кофра для приборов, подвеска от сиденья пилота — пружинная, с гасителем, — термоплёнка из аварийного комплекта, вентиляционная решётка, которую он снял с собственной каюты. Ариадна видела, как он работает, когда приносила ему ночью чай. Он не сказал ей, что делает. Он вообще почти не говорил эти две ночи — только ругался, тихо, ровно, по одному слову в минуту, — а когда она спросила, сказал: «Секционовская коробка все толчки пропускает. Его в шаттле всю дорогу колотило. Я слышал запись. Визжал сорок минут».

Сейчас Макар шёл за двумя существами с бледно-зелёными пластинами, которые несли контейнер, и смотрел только на него. На подвеску. Как она гасит шаги.

Контейнер поставили на ту сторону стола, в углубление. Существа с пластинами открыли верхнюю крышку — Макар сделал её на петлях, откидной — и ушли. Макар остался у двери, рядом с Вассой. Скрестил руки. Перевязанная кисть лежала на здоровой.

Ариадна села на корточки у перегородки. На своей стороне. Близко.

Внутри контейнера, на дне, на подложке из термоплёнки, сидело существо. Она видела его впервые — до этого только на записях: на снимке, который Васса передала через Ордиса, и на служебных строках адаптера, которые прислал Квель. Снимок не передавал главного. Снимок не передавал, как оно дышит.

Оно дышало быстро. Неровно. Комок серой влажной кожи раздувался и опадал, и вместе с ним — вся сотня тонких отростков, каждый в своём ритме, как трава на ветру, когда ветер дует сразу с нескольких сторон. Глаза — огромные, тёмные — были закрыты. Тонкие полупрозрачные веки подрагивали.

— Он спит? — шёпотом спросила Ариадна.

— Нет, — сказала Васса от двери. — Он так делает, когда новое место. Закрывает глаза и слушает. Ордис говорит — у него сенсоров больше, чем глаз. Глаза — это последнее, что он открывает.

Ариадна сидела на корточках и слушала тоже. Слушала, как он дышит. Сто шестнадцать, сказал бы Лев. Сто восемнадцать.

Потом глаза открылись.

* * *

Словарь она составила за одну ночь.

У неё было мало материала. Запись Ордиса из восстановительного сектора: одно слово. Служебные строки адаптера Квеля из приёмного зала: шесть слов, артикуляция шестьдесят один процент. Записи из Секциона за три дня, которые Ордис передал Вассе, а Васса — на «Порог», не спрашивая разрешения, потому что, как она написала, «это записи его голоса, а не их собственность»: ещё девять звуковых событий, из которых адаптер уверенно опознал семь. Итого — четырнадцать слов. Некоторые — по нескольку раз.

Ариадна выписала их в столбик. На бумаге, в блокноте, карандашом — она так делала всегда, когда материала было мало: на экране слова выглядели окончательнее, чем были.

нет

стой
не надо
высоко
плохо
проверь
девяносто
давит
упадёшь
не отпускай
умру
ничей
имущество
не хранить

Потом долго смотрела на столбик.

Двенадцать слов из четырнадцати были не просто русскими. Они были Левиными. Ариадна знала это так, как знает лингвист, что текст написан конкретным человеком, — по выбору, по форме, по тому, какие слова стоят рядом. «Девяносто» — не «девяносто ударов», не «пульс девяносто», а просто число, голое, как произносит его человек, который считает про себя. «Проверь» — повелительное наклонение, второе лицо, единственное число: так говорят не другому, а себе. «Давит» — без подлежащего, безличное. «Упадёшь» — снова второе лицо, снова себе.

Это был внутренний голос — тот, которым человек говорит с собой в три часа ночи.

Два слова — «имущество» и «не хранить» — были новыми. Он подобрал их в приёмном зале, у стола Квеля, когда услышал оглашение статуса. За три дня собственной жизни — два слова. Оба — о том, кто он такой.

Утром, в кают-компании, Ариадна спросила Льва.

Она не собиралась этого делать при всех. Но Лев сам подсел к ней — с кружкой, весёлый, отдохнувший, впервые на её памяти выспавшийся, — заглянул в блокнот и сказал: «О. Это мои?» И она не смогла ответить «нет».

— Откуда «ничей»? — спросила она.

— Рынок, — сказал Лев сразу, не задумываясь. — Мне пять лет. Мама отошла к другому прилавку, а я не заметил. Повернулся — её нет. Я залез под прилавок с рыбой и сидел там час. Там было мокро, пахло рыбой, и я сидел и говорил: «я ничей, я ничей». Меня нашла продавщица. Дала конфету.

Он засмеялся.

— А «не отпускай»?

— Море. Мне семь. Мама учила плавать. Держала под живот. Я всё время говорил: не отпускай, не отпускай. Она отпустила. Я поплыл. — Он пожал плечами. — Потом ещё было. Самолёт. Мне двадцать. Сосед держал меня за руку при посадке, чужой мужик, бородатый. Я ему говорил: не отпускай. Он не отпустил. Я ему до сих пор благодарен. Даже имени не знаю.

— «Высоко»?

— Балкон. Третий этаж. Всю жизнь.

— «Проверь»?

— Газ. Каждый вечер. Три раза. Потом утюг. Потом дверь. Потом снова газ. — Лев отхлебнул чаю. — Лет с двенадцати. Я в общежитии соседу объяснял, что у меня ритуал. Он говорил: «Кац, у нас электрическая плита». А я всё равно проверял.

— «Умру»?

— Ну, это просто, — сказал Лев. — Это каждую ночь. «Я умру». Аритмия, которой не было. Опухоль, которой не было. Инсульт, которого не было. Я лежал и думал: вот сейчас. Вот сейчас умру. Лет двадцать. — Он посмотрел на её блокнот. — Смешно, да?

Ариадна не засмеялась.

Она сидела напротив человека, который весело, с аппетитом, прихлёбывая чай, пересказывал ей самые страшные минуты своей жизни, и записывала. Год, место, обстоятельства. Рынок — пять лет. Море — семь. Балкон — всю жизнь. Она записывала аккуратно, по пунктам, как записывала всегда, и где-то на середине вдруг заметила, что у неё на лице — то выражение, которое Виктория однажды назвала «лицом над интересной задачей».

Она перестала писать.

— Лев, — сказала она. — Тебе это… нормально? Что я спрашиваю?

— Конечно, — удивился он. — А что такого? Это же было давно. И это теперь не моё. — Он кивнул куда-то в сторону дока, в сторону Секциона. — Это теперь его.

* * *

Лев вошёл в комнату свиданий последним.

Он вошёл быстро, весело, как входят на встречу со старым другом, — и сразу сел на влажное, ещё не застывшее сиденье, не посмотрев на него. Сиденье чуть просело. Лев не заметил.

— Привет, Трясик, — сказал он.

Существо за перегородкой открыло глаза ещё шире. Отростки прижались к телу. Оно отодвинулось — не к дальней стенке контейнера, а глубже, в угол, туда, где Макар закрепил подвеску, — и замерло.

— Ну вот, — сказал Лев. — Опять. — Он посмотрел на Ариадну. — Он всегда так. Я к нему — он от меня. Как будто я его бить пришёл.

— Ты пришёл его забрать, — сказала Васса от двери.

— Ну, «забрать» — громко. — Лев повернулся к перегородке. — Слушай, Трясик. Я тебе объясню. Нормально объясню, без давления. Ты же меня понимаешь? Ты же — я.

Ариадна сидела сбоку, между ними, у самой перегородки — её место было здесь, «лицо, владеющее диалектом». Адаптер Квеля лежал на столе перед ней, включённый, но она отключила у него голосовой вывод: служебные строки шли на маленький экран, а говорить за Трясика должна была она. Так было условлено с Ордисом — Ордис стоял в углу комнаты, высокий, тёмный, неподвижный, и пластина у него была тёмной, но Ариадна знала, что он записывает. Каждый звук.

— Я понимаю, тебе страшно, — сказал Лев. — Тебе всегда страшно. Это нормально. Ты же страх. Но вот что: я без тебя — опасный. Я позавчера чуть не упал с платформы. Ты видел. Ты кричал. Я сегодня утром выпил чаю, не проверив, что в нём, — местного чаю, Секционовского, который нам дали, — и даже не подумал. Вчера Изольда меня поймала у внешнего шлюза — я хотел вылезти на обшивку, посмотреть, как держат зажимы. Без страховочного троса. Просто посмотреть. Мне казалось — ну что такого. — Он засмеялся. — Я навигатор, Трясик. Я должен считать риск. А я не могу. Я всё знаю — а не чувствую. Понимаешь?

Существо за перегородкой смотрело на него.

— Мне нужна нормальность, — сказал Лев. — Обратно. Чтобы всё было как было. Ты — во мне. Я — проверяю газ. Ну и пусть. Зато живой.

Существо открыло рот.

Звук прошёл через отверстия в перегородке — тихий, влажный, сдавленный. На экране адаптера проступила служебная строка: «ДИАЛЕКТ КАЦ Л. ВОССТАНОВЛЕНИЕ: 64%. ВАРИАНТ: «НЕТ»».

— Нет, — сказала Ариадна.

Она не смотрела на экран. Она слышала сама. Звук был неумелым — у существа не было ни губ, ни языка, устроенных для русских согласных, — но он был узнаваем. Не «нет» вообще.

Левино «нет»: короткое, с оттяжкой на «е», с почти неслышным «т» в конце — так говорят «нет», когда отказывают себе.

— Ну вот, — сказал Лев. — Почему?

Существо дрожало.

— Высоко, — сказала Ариадна. Через секунду после звука. Строка на экране: «ВАРИАНТ: «ВЫСОКО». 58%».

Лев нахмурился.

— Что — высоко?

Существо открыло рот снова. Звук — длинный, протяжный, срывающийся.

— Плохо, — сказала Ариадна. — Там — плохо. Там… — она вслушалась. Следующий звук был коротким, сдавленным. — Давит.

Лев смотрел на перегородку. В комнате было тихо. Макар у двери перестал дышать — Ариадна услышала, как он перестал.

— Там — это где? — спросил Лев.

Ариадна знала ответ. Она поняла его раньше, чем существо снова открыло рот, — поняла по тому, как оно сказало «там»: не «туда», а «там», место, а не направление. И поняла, что всё, что оно сейчас скажет, — не отказ. Это описание.

— Он говорит, где он жил, — сказала она. Не Льву — Вассе, Макару, Ордису, всем. Тихо. — Внутри тебя. Высоко. Плохо. Давит. Он описывает, как было — там.

Лев молчал.

Существо прижималось к углу контейнера.

— Умру, — сказала Ариадна. Звук был совсем тихим. — Там — умру.

* * *

Лев не испугался. Ему было нечем. Ариадна видела, как он слушает, — с интересом, внимательно, чуть наклонив голову, — и это было хуже, чем если бы он испугался.

— Нет, — сказал он. — Нет, Трясик. Ты не умрёшь. Ты не умрёшь, ты станешь мной. Обратно. Это же не смерть. Это… — он поискал слово, — это возвращение домой.

Существо дрожало.

— Ты не понимаешь, — сказал Лев. Мягко, как говорят с ребёнком. — Ты три дня живёшь. Ты ещё ничего не знаешь. А я тебя знаю тридцать четыре года. Ты — это я в пять лет под прилавком. Ты — это я в самолёте. Ты — это я каждую ночь. Ты не отдельный. Ты — мой.

— Ничей, — сказала Ариадна.

Звук был резким. Отчётливым. Существо выдохнуло его, как выдыхают, когда бьют, — и адаптер не сомневался: «ВАРИАНТ: «НИЧЕЙ». 79%».

Лев откинулся на сиденье. Сиденье под ним хлюпнуло.

— Ну ладно, — сказал он. — Ладно. — Он потёр лицо. — Ариадна, скажи ему. Ты лучше объясняешь. Скажи ему, что это не смерть. Что я его не съем. Что он просто… вернётся.

И Ариадна поняла, что вот здесь — сейчас — она может это сделать.

Она знала его словарь. Четырнадцать слов. Она знала, как они звучат, как они сцепляются, какие из них он понимает, а какие — только произносит. Она могла бы сказать ему — его же словами, его языком, Левиным внутренним голосом — что-нибудь вроде «не умрёшь», «не высоко», «не давит». Она могла бы построить из его страхов утешение. Он бы понял. Может быть, поверил бы. Это было бы не враньё — она сама не знала, умрёт он или нет. Это был бы перевод с уклоном. Небольшим. Таким, как в той статье, которую она опубликовала десять лет назад, — формально верным, построенным на данных, и закончившимся тем, что одна исследовательская группа три года не разговаривала с другой.

Виктория сказала ей утром, на шлюзе, перед шаттлом: «Нам нужен навигатор. Ты понимаешь, что нам нужен навигатор». Не приказ. Виктория не отдавала приказов, когда могла их не отдавать. Изольда сказала короче: «Добейся, чтобы оно согласилось».

— Ариадна, — сказал Лев.

— Я не могу ему этого сказать, — сказала Ариадна.

— Почему?

— Потому что я не знаю, правда ли это.

Она повернулась к перегородке. Существо смотрело на неё. Она никогда ещё не видела, чтобы оно смотрело на неё, — до этого оно смотрело только на Льва.

— Я переведу то, что он говорит, — сказала она. — Тебе. А то, что ты говоришь, — ему. Он тебя понимает и так. Это его язык. Ему не нужен перевод. Ему нужно, чтобы кто-то не переводил за него.

* * *

Лев попробовал ещё раз. Ариадна видела, что ему стоит — нет, не стоит, ему ничего не стоило, это и было страшно: он пробовал легко. Без страха. Без того, чтобы подбирать слова, — сыпал ими, весело и щедро, как сыплют горох. Он говорил о навигации, о «Пороге», о шестом шпангоуте, о том, что без навигатора они не выберутся отсюда никогда, — а значит, и Трясик тоже, — и что это логично, и что логика — это не страшно, логика — это просто логика. Он говорил о маме. О рынке. О том, что ничей — это когда тебя никто не ищет, а его, Трясика, ищут, вот он, Лев, его ищет, пришёл, сидит.

Существо слушало.

Потом Лев наклонился к перегородке. Совсем близко, лбом почти к отверстиям. И сказал тихо — совсем не так, как говорил до этого, — каким-то другим голосом, который Ариадна у него никогда не слышала:

— Ну пожалуйста. Вернёшься?

Существо открыло рот.

Звук был коротким. Обрезанным. Одна слогообразная волна и обрыв — как будто оно начало слово и не договорило. На экране адаптера проступила строка:

ВАРИАНТ: «ДА». 54%.

— Да! — сказал Лев. Он выпрямился. — Слышали? Он сказал «да»!

Ордис в углу шевельнулся. Пластина зажглась.

ЗАПИСЫВАЮ КАК СОГЛАСИЕ?

В комнате стало тихо.

Ариадна смотрела на экран. Пятьдесят четыре процента. Адаптер выбирал по частоте: Лев за эти дни говорил «да» сотни раз, весело, легко, — и адаптер, собранный из перехваченных каналов, взвешивал первый слог по тому, что чаще звучало у Каца Л. Он не знал, что у существа за перегородкой другой словарь. Он не знал, что в этом словаре нет слова «да».

Она знала.

В её столбике было четырнадцать слов. «Да» среди них не было. Было «давит». Тот же первый слог. Тот же открытый звук. Если существо начало «давит» и не договорило — адаптер услышал бы ровно то, что услышал.

А может быть, оно сказало «да». Новое слово. Пятнадцатое. Первое, которое не было Левиным страхом. Она этого не знала. И не могла узнать.

— Ариадна, — сказал Лев. — Он сказал «да».

— Он сказал «да-», — сказала Ариадна.

— Что?

— Он сказал первый слог. — Она не отводила глаз от перегородки. — Это может быть «да». Это может быть «давит». В его словаре нет «да». В его словаре есть «давит». Ты говорил «давит», когда у тебя был приступ, — ты сам мне это сказал, утром. «Давит в груди». Я не знаю, что он сказал.

— Ариадна…

— Ордис, — сказала она. — Не записывайте как согласие.

Пластина в углу горела ровно — долго.

НА ЧЁМ ОСНОВАНО ВОЗРАЖЕНИЕ?

— На том, что я не знаю, — сказала Ариадна.

Пауза.

ВОЗРАЖЕНИЕ «Я НЕ ЗНАЮ» ПРИНЯТО, — написал Ордис. — ЗАПИСЫВАЮ: ОТВЕТ НОСИТЕЛЯ НЕ ИНТЕРПРЕТИРОВАН. ЛИЦО, ВЛАДЕЮЩЕЕ ДИАЛЕКТОМ, ОТКАЗАЛОСЬ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ.

Лев смотрел на неё.

Он не злился. Ему не было страшно, и злиться ему тоже было как будто нечем — или не хотелось, — но в его лице было что-то вроде недоумения. Как будто он показал ей очевидный фокус, а она отказалась видеть, куда делась монета.

— Ты понимаешь, что ты сейчас сделала? — спросил он. — Ты понимаешь, что Виктория…

— Понимаю.

— Ты могла сказать «да».

— Могла.

— Он сказал «да». Скорее всего. Пятьдесят четыре процента.

— Скорее всего — это пятьдесят четыре процента, — сказала Ариадна. — Это значит — сорок шесть процентов, что он сказал «там, внутри тебя, давит». И ты бы его туда вернул. С его согласием. С моей подписью под переводом.

Она повернулась к перегородке. Существо смотрело на неё.

— Если хочешь, — медленно сказала она ему. По-русски. Левиными словами — теми немногими, которые у него были, и своими, которых у него не было. — Скажи ещё раз. Можешь не говорить. Можно — не говорить.

Существо смотрело на неё.

Оно не сказало ничего.

* * *

Ариадна потом много раз возвращалась к этой минуте. Пыталась понять, что именно она сделала — профессионально. Записать это. Разложить по пунктам. У неё не получалось.

Она не перевела неправильно. Она не перевела правильно. Она просто оставила место пустым — там, где можно было поставить слово, и где всем, включая её саму, было бы легче, если бы там стояло слово. Так Дина оставила пустой нижнюю графу на бланке в Секционе. Так Квель на полях бланка записал заявление без силы. Так Васса написала на вырванном листе «свидетель: В. Ромм, врач», зная, что подпись не примут.

Пустое место — тоже ответ, подумала она. Только его нельзя использовать.

* * *

У двери Макар разжал руки.

Ариадна заметила это краем глаза — как он опустил перевязанную кисть, как сделал шаг от стены, к столу, к той стороне перегородки, где стоял контейнер. Он подошёл не к Льву. Он подошёл к контейнеру. Присел на корточки — тяжело, с хрустом в коленях — и посмотрел на подвеску. Тронул её пальцем здоровой руки. Пружина чуть качнулась и замерла: гаситель работал.

Существо внутри не отодвинулось. Оно смотрело на Макара.

— Колотит его, — сказал Макар. Не им — себе. — Видишь? Даже сейчас. На столе стоит, ничего не движется, — а у него всё внутри ходит. Это не от страха даже. Это как после

контузии. У нас на стенде был мужик, после взрыва на испытаниях, — его так же. Год потом от каждого хлопка двери падал. Ему не говорили «перестань». Ему стенку обивали войлоком. — Он помолчал. — Он же больной, Лев. Он не часть тебя. Он — больной. Пациент.

Лев не ответил.

Макар выпрямился. Полез в карман рабочей куртки и вынул тёмную пластину — узкую, с одной графой и мелким шрифтом на обороте. Ариадна не видела её раньше. Она поняла, что это, по тому, как Васса у двери выпрямилась.

— Вот, — сказал Макар. Он положил пластину на стол, на свою сторону перегородки, рядом с адаптером. — Третий держатель. Мне вчера в приёмной сунули. Тот, многомордый. Векс. За четверть сверху от цены композита.

— Макар, — сказала Васса.

— Я чуть не подписал, — ровно сказал Макар. — Игла была над графой. Квель встал. Без головы через весь зал пошёл, чтобы сказать «не подписывайте». А я её в карман положил. Думал — подумаю. Сутки думал. — Он посмотрел на контейнер. — Шпангоут на стяжке. Счёт каждую минуту. Я всё посчитал. Выходило — надо подписывать. Комок. Страх. Не человек. За него и не спрашивали.

Он помолчал.

— А потом я ему две ночи подвеску делал, — сказал Макар. — Чтобы не колотило. И на второй ночи понял, что я делаю коробку для того, кого собираюсь продать. И что я коробку делаю хорошо. С гасителем. А продаю — плохо. — Он подвинул пластину к Ариадне. — Отдай Квелю. Пусть приложит к делу. Он знает, куда такие кладут.

— Почему не сам? — спросила Ариадна.

— Потому что я людей не чиню, — сказал Макар. — Я этого и не чиню. Я его держу ровно. А Квель — по бумагам. Пусть он по бумагам.

Он вернулся к двери и снова скрестил руки.

Ариадна взяла пластину. Тёмная, тёплая. На обороте, под мелким шрифтом, стоял знак — оттиск, вбитый в материал, — и она не знала, чей. Она положила её в блокнот, между страницами, рядом со столбиком из четырнадцати слов.

* * *

Свидание кончилось через полчаса.

Ордис объявил это сам — проступившей строкой: «РЕГЛАМЕНТНОЕ ВРЕМЯ ИСТЕКЛО. ХРАНИМОЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА МЕСТО ХРАНЕНИЯ». Лев встал. Сиденье под ним чмокнуло и медленно выправилось. Он постоял, глядя на перегородку, — без выражения, без огорчения, просто глядя, — потом пожал плечами.

— Ладно, — сказал он. — В следующий раз.

И пошёл к двери.

Ариадна ещё сидела у перегородки, собирая адаптер, блокнот, карандаш. Поэтому она увидела первой.

Когда Лев пошёл к двери, существо в контейнере пошевелилось. Не прижалось — наоборот. Отростки, сто тонких, влажных, вдруг потянулись вперёд, все сразу, к той стенке контейнера, что была обращена к перегородке. Существо выбралось из угла. Впервые за всё время — сначала половиной тела, потом целиком — оно перелезло через край контейнера, через откидную крышку Макара, и упало на гладкую поверхность стола, на свою сторону. Мягко, с влажным шлепком.

И поползло. К перегородке.

Ордис в углу шевельнулся. Пластина вспыхнула:

ДВИЖЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ УГРОЗЫ. НЕ РЕФЛЕКТОРНОЕ.

Существо доползло до перегородки и прижалось к ней — всем телом, всеми отростками, распласталось по тёплой мутной плёнке, как распластывается по стеклу ладонь. Напротив того места, где только что сидел Лев. Напротив пустого, медленно выправляющегося сиденья.

Глаза смотрели на дверь.

На Льва, который стоял в дверях и уже повернулся, чтобы выйти.

Ариадна смотрела на существо и вдруг поняла — так ясно, как понимала иногда, после недели работы, смысл чужой фразы, который стоял перед глазами всю неделю, — что оно боится не Льва. Оно никогда не боялось Льва. Оно отползало от него, пряталось, говорило «нет», «ничей», «там — умру», — потому что боялось вернуться внутрь. Но Льва — самого Льва — оно не боялось.

Оно боялось, что Лев уйдёт и не вернётся.

Как мама, которая отошла к другому прилавку. Как рука, которая отпустила в море.

Существо открыло рот. Звук прошёл через отверстия в перегородке, и на этот раз адаптер даже не попытался выбирать — строка проступила сразу, с одним вариантом:

«ВЕРНЁШЬСЯ?» — 91%.

Лев остановился в дверях.

Ариадна сидела у перегородки с блокнотом на коленях и смотрела на слово. Пятнадцатое. Его не было в её столбике. Его не было в Левиных историях — ни про рынок, ни про море, ни про самолёт. Лев его не называл.

— Лев, — сказала она. Голос был не совсем её. — Ты говорил «вернёшься»? Когда-нибудь. Кому-нибудь.

Лев смотрел на перегородку. На распластанное по ней серое влажное тело. На глаза.

— Не помню, — медленно сказал он. — Наверное. Маме. Она работала в ночь, на скорой. Я маленький был. Она уходила в восемь вечера, а я стоял в прихожей и… — Он замолчал. — Не помню. Наверное.

— Ты не помнишь, — сказала Ариадна. — А он помнит.

В комнате было тихо. Ордис в углу не писал ничего. Васса у двери прижала ладонь ко рту. Макар смотрел в пол.

Лев стоял в дверях. Ему не было страшно — Ариадна видела, что нет, совсем нет, ни капли. Но он не уходил.

— Вернусь, — сказал он наконец. — Слышишь? Вернусь. Завтра. В это же время. Проверь.

И вышел.

Существо осталось лежать на перегородке, распластанное, неподвижное. Глаза смотрели на закрывшуюся дверь. Отростки — все сто — понемногу, по одному, переставали дрожать.

Ариадна сидела рядом. Потом открыла блокнот, нашла столбик и под четырнадцатым словом — «не хранить» — вписала карандашом пятнадцатое. Подумала. И рядом, на полях, мелко, как Квель на бланке:

Не перевод. Свидетель: А. Лем.

Глава 18. Здоровье по согласию

Инструменты мыли себя сами. Ордис мыл их всё равно.

Он стоял у раковины в инструментальной исследовательской клиники — узкой, высокой комнате с белыми стенами, единственной во всём Секционе, где стены не были тёплыми, — и держал под струёй тонкий изогнутый зонд. Зонд был чистым. Он был чистым ещё до того, как Ордис взял его с лотка: инструменты Секциона покрывала живая плёнка, которая поедала всё, что на неё попадало, — кровь, ткани, слизь, споры, — и через сорок секунд после операции зонд был стерильнее, чем в день изготовления. Ордис знал это. Он сам участвовал в испытаниях плёнки, много циклов назад.

Он держал зонд под струёй и медленно проводил по нему двумя пальцами тонкой руки — от рукояти к кончику, от кончика к рукояти. Восемь раз. Потом откладывал на сухой лоток и брал следующий.

Это была привычка. Ордис знал о ней только две вещи. Первая: у неё не было функции. Вторая: его ей научили.

Кто научил — он не помнил. В его учётной записи, в разделе «формирование», стояла строка: «Наставник: сведения переданы на хранение». Передача на хранение означала Нуль-архив. Забвение не уничтожало записей — оно их принимало, и после этого записи переставали быть доступными тем, кто их не сдавал. Ордис не сдавал. Значит, сдал наставник. Или кто-то за наставника.

От наставника осталось вот это: руки под водой, восемь проводок пальцами по чистому металлу. И одна фраза, без голоса, без лица, без места, — просто фраза, которую Ордис слышал каждый раз, когда брал зонд: *инструмент очищает себя сам; руки — нет; ты моешь его, чтобы руки помнили, к кому прикоснутся.*

Он не знал, что это значит. Он не мог проверить. Он мыл.

Сегодня он мыл дольше обычного. Это он заметил на пятом зонде и записал как наблюдение, без вывода: «Продолжительность ритуала превышает обычную на 40%. Причина: не установлена». Причину он, впрочем, предполагал. Предположение звучало так: вероятность того, что сегодняшний совет комплекса закончится не в его пользу, — высокая. Высокая вероятность неблагоприятного исхода удлиняет подготовительные действия. Так ведут себя многие пациенты. Он не предполагал раньше, что так ведёт себя он.

Он отложил седьмой зонд. Взял восьмой.

На краю раковины лежала его собственная запись четырёхдневной давности — он вынул её из хранилища утром и положил здесь, сам не зная зачем, как кладут рядом предмет, на который нужно смотреть, пока делаешь что-то другое. Запись была короткой.

ВОЗРАЖЕНИЕ ОРДИСА: КОНТУР СТРАХА — ФУНКЦИЯ ОЦЕНКИ РИСКА НАВИГАТОРА. ВЫДЕЛЕНИЕ = ПОТЕРЯ ФУНКЦИИ. НЕ ПРИНЯТО.

А под ней, ниже, — строка, которую он написал Льву Кацу в восстановительном секторе, и которую потом, вечером того же дня, перенёс в собственное служебное дело, потому что не знал, где ещё её хранить:

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОВЕЛ НЕ Я.

За сто восемьдесят циклов работы Ордис ни разу не писал в служебном деле слов «не я». Это было не принято. Служебное дело описывало, что делал Ордис. Того, чего Ордис не делал, в нём быть не могло. Тем не менее строка там была. Он перечитывал её каждый день, по утрам, и каждый раз не мог установить, к какому разделу дела она относится.

* * *

Совет комплекса собирался в зале, который назывался «залом исхода».

Ордис всегда находил это название точным. Здесь не было ни операционных столов, ни инструментов, ни пациентов — только круглое, высокое, тёплое пространство, по стенам которого плыли записи: исходы. Каждая — одна строка. Имя или номер, диагноз, процедура, результат. Строки текли снизу вверх, бесконечно, как пузырьки в стоячей воде, и где-то у потолка, на высоте, где уже нельзя было прочитать, — гасли. Это были все исходы комплекса Матроны Сефры за всё время его существования. Они шли по стенам всегда, днём и ночью, независимо от того, был ли кто-нибудь в зале.

Члены совета стояли по кругу. Двенадцать — Ордис сосчитал. Протоколы, руководители отделений, двое представителей исследовательской сети. Большинство — с пластинами, как у него, разных цветов; несколько — в других формах, которые Секцион позволял своим старшим. Сефры среди них не было. Сефра была в стене.

Лицо проступило напротив входа, высоко, на уровне, где строки исходов ещё читались, — и на мгновение Ордису показалось, что строки обтекают его, как вода обтекает камень. Высокий гладкий лоб. Полуопущенные веки. Улыбка.

— Начнём, — сказала Сефра.

Знаки висели в воздухе мягко, светясь. Она никогда не повышала голоса. Ордис знал её семьдесят циклов и ни разу не видел, чтобы она торопилась.

— Предложение комплекса, — сказала она. — Стандарт сохранности при выделяемых контурах. Пациенту, чья предварительная классификация содержит отметку «материал: выделяемый», при повторном пароксизме, угрожающем жизни, проводится выделение контура по требованию сохранности. Без отдельного согласия. Согласие на симптоматическую помощь, данное ранее, считается достаточным. Носитель выделенного контура передаётся на хранение комплекса.

Тишина. Строки исходов текли по стенам.

— Основание предложения, — сказала Сефра. — Случай Кац Л. Позвольте показать.

Над центром зала проступило изображение. Ордис узнал его: восстановительный сектор, утро после выделения. Лев Кац сидит на краю ложа. Улыбается. Говорит что-то — звук не передавался, но Ордис помнил, что именно: «Привет. Слушай, спасибо. Мне правда хорошо».

— Пароксизмы прекращены, — сказала Сефра. — Полностью. Сон восстановлен. Аппетит восстановлен. Давление, ритм, дыхание — в пределах нормы вида, насколько мы её знаем. Пациент сообщает о благополучии. Многократно, устно, при свидетелях. — Она помолчала. — Пациент благодарит.

— Пациент благодарил меня, — сказал Ордис.

Это вырвалось раньше, чем он решил говорить. Пластина у него засветилась сама. Двенадцать членов совета повернулись к нему.

— Вас, — мягко согласилась Сефра. — Он благодарил вас, Ордис. Он не знал, кого благодарить. Это неважно.

— Я записал возражение, — сказал Ордис.

— Записали. Оно приложено. — Лицо в стене чуть наклонилось. — Изложите его совету.

Ордис изложил.

Он изложил его так, как изложил бы любую клиническую оценку: по пунктам, без оценок. Пункт первый: контур страха пациента Кац Л. выполнял функцию оценки риска. Функция была профессиональной: пациент — навигатор. Пункт второй: после выделения функция утрачена. Это наблюдаемо. На вторые сутки пациент отстегнулся на движущейся платформе над центральным провалом и наклонился за бортик; на третьи попытался выйти на внешнюю обшивку корабля без страховки; на четвёртые выпил незнакомое питьё без проверки. Три эпизода за четверо суток. До выделения — ни одного за всю зарегистрированную историю. Пункт

третий: выделенный контур на носителе функционирует автономно и сделал заявления. Первое — «нет», в ответ на предложение возврата. Записано собственным голосом.

— Заявление носителя, — сказала Сефра, — не является заявлением пациента.

— Нет, — согласился Ордис. — Оно является заявлением носителя. Это я и утверждаю.

Пауза. Строки исходов поднимались по стенам.

— Ордис, — сказала Сефра. — Позвольте мне задать вам вопрос. Ваш собственный критерий. Тот, по которому вы работаете сто восемьдесят циклов. Тот, по которому Свидетель различает живое и неживое, пациента и остаток, субъекта и материал. Назовите его совету.

Ордис знал, к чему она ведёт. Он знал это так же точно, как знал, где у зонда рукоять и где кончик.

— Наблюдаемая функция, — сказал он.

— Наблюдаемая функция, — повторила Сефра. — Это ваш критерий. Это критерий Свидетеля. Мы не судим о том, что внутри. Мы не можем. Мы смотрим, что функционирует, — и это лечим, это храним, это признаём. По вашему критерию, Ордис, пациент Кац Л. сейчас функционирует лучше, чем до вмешательства. Он спит. Он ест. Он не задыхается. Он не лежит на полу диагностического отсека, хрипя так, что его слышно в коридоре. Его функция навигатора — это не его здоровье. Это его работа. Работу ему может обеспечить корабль, приборы, страховочные тросы. Здоровье ему обеспечили мы.

Ордис молчал.

— Вы скажете, — продолжала Сефра, — что его носитель тоже функционирует. Да. И мы его храним. Хорошо храним. Квель приписал его к временному хранению — очень изобретательно, я восхищена, — и носитель сейчас в восстановительном секторе, в тепле, в питании, под наблюдением. Ему тоже лучше, чем внутри пациента: там он был пароксизмом, здесь он — существо. Если хотите — мы спасли двоих.

Двенадцать членов совета стояли молча.

— Вы хотите статистику, — сказала Сефра. — Я знаю, вы всегда хотите статистику. Пойдёмте. Я покажу вам статистику с лицами.

* * *

Она повела их сама — не в стене, а в теле.

Ордис видел её мобильный носитель редко: Сефра предпочитала стены, через которые она была везде сразу. Носитель был невысоким, плавным, обтекаемым, без острых краёв, светлым, как кожа под повязкой, — и двигался так, как движутся медсёстры в ночных палатах: бесшумно, без лишнего. Лица у носителя не было. Лицо висело в стенах коридора, по которому они шли, проступая то справа, то слева, и всегда — на уровне, где его было видно.

Они вышли в сад.

Ордис знал, что в комплексе есть сад, но никогда в нём не был: сад принадлежал реабилитационному отделению, а Ордис работал с теми, кто до реабилитации не доходил. Сад был огромным. Тёплым. Под высоким мягким сводом росло что-то, похожее на деревья — бледные стволы, широкие тёмные листья, на которых лежала роса, — и между стволами шли дорожки, и по дорожкам ходили пациенты.

Они ходили медленно. Некоторые — сами. Некоторые — с помощью. Некоторые сидели на выступах у стволов и смотрели вверх, на свод, где медленно плыли световые пятна, как солнце сквозь листву.

— Хадрет, — сказала Сефра.

Лицо проступило в ближайшем стволе — дерево, как всё здесь, было частью комплекса. Под деревом сидело существо: длинное, низкое, покрытое мягкой бурой шерстью, с тремя парами коротких лап. Оно что-то делало с землёй у корней — рыхлило, понял Ордис. Аккуратно, медленно, когтями передней пары.

— Посмертник, — сказала Сефра. — Сорок два цикла в носителе. Боль фантомного тела — непрерывная, не поддающаяся медикаментам. Он кричал. Сорок два цикла. Его родственники перестали к нему приходить на девятом. Он сам попросил коррекции. Трижды, письменно, с интервалом в цикл, — я требовала интервала. Мы выделили контур фантомной боли. Хадрет, как вы?

Существо подняло голову. Глаза у него были маленькими, тёмными, спокойными.

— Хорошо, — сказало оно. — Земля сегодня тёплая.

Ордис просканировал его. Привычно, не спрашивая — так он сканировал всех. Давление. Ритм. Нейроактивность. Индексы стресса. Все параметры — в пределах нормы вида. Лучше, чем в пределах.

— Спасибо, Хадрет, — сказала Сефра. И пошла дальше.

Они шли по саду. Сефра называла имена.

Иленн — существо, похожее на высокий стебель с прозрачными листьями, — потеряла в аварии транспорта всех семерых детей, носила горе девятнадцать циклов, трижды пыталась прекратить функционирование. Попросила коррекции. Выделили контур горя. Сейчас работала в детском отделении комплекса. Сама. Её не просили.

— Я помню их, — сказала Иленн, когда Сефра спросила её. Голос был тихим и ровным. — Всех семерых. Имена. Как пахли. Как смеялись. Я помню. Мне просто не больно.

Ордис сканировал. Норма.

Корр — массивный, бронированный, с одним глазом, бывший охранник каравана, который двадцать циклов назад убил напарника в приступе ярости и потом каждый день ждал следующего приступа. Попросил коррекции. Выделили контур ярости. Сейчас ухаживал за садом.

Ордис сканировал. Норма.

Их было много. Ордис перестал считать после тридцатого. Сефра шла между ними — светлый плавный носитель без лица — и лицо её проступало в каждом стволе, мимо которого они проходили, и каждого пациента она знала по имени, и каждого спрашивала, как он, и каждый отвечал: хорошо. Земля тёплая. Мне не больно. Я помню, но мне не больно.

Члены совета шли за ней молча. Ордис шёл последним.

Потом Сефра остановилась.

— А теперь, — сказала она, — вот.

Она показала на троих.

Они сидели рядом, у одного ствола, на одном выступе. Разные: одно — маленькое, круглое, с гладкой синей кожей; другое — длинное, многосуставчатое, сложенное втрое; третье — почти бесформенное, мягкое, как подушка, с одним спокойным медленным глазом. Все трое смотрели вверх, на свод, где плыли пятна света.

— Ордис, — сказала Сефра. — Посмотрите на них. Сканируйте. Скажите мне, кто из этих троих просил коррекции, а кто — нет.

Ордис сканировал.

Он сканировал долго. Дольше, чем требовалось. Он прошёл по всем параметрам, которые знал, — по всем, которые Свидетель научился измерять за всё время своего существования, — и потом прошёл ещё раз, медленнее, отмечая каждое значение. Давление. Ритм. Нейроактивность. Индексы стресса. Индексы благополучия. Паттерны сна. Реакции на раздражители. Мимика, там, где она была.

Значения не различались.

Не в пределах погрешности. Они просто не различались. Трое существ, сидящих на выступе под деревом, функционировали одинаково хорошо — и ничто из того, что Ордис мог наблюдать, не говорило, кто из них сказал «да», а кому сказали «да» за него.

— Не знаю, — сказал Ордис.

— Не знаете, — мягко повторила Сефра. Без торжества. Она никогда не торжествовала. — Двое — просили. Один — нет. Он был доставлен в пароксизме, в состоянии, угрожающем жизни. Мы применили требование сохранности. Он проснулся — и поблагодарил. Как Кац Л. Покажите мне разницу, Ордис. Не мне. Вашему критерию. Покажите мне функцию, которая есть у тех двоих и которой нет у него.

Ордис молчал.

Он не мог. Он знал, что не может, ещё до того, как начал сканировать. Он знал это с того утра в восстановительном секторе, когда Лев Кац сказал ему «спасибо», а он ответил «это сделал не я», — и не нашёл, к какому разделу дела отнести эту строку.

Согласие не было функцией. Его нельзя было наблюдать. Оно было — или его не было — до процедуры, в прошлом, в записи, в бланке, в двух графах, разделённых линией, на которых настояла Васса Ромм. После процедуры оно исчезало без следа. Ни в одном параметре. Ни в одном ритме. Ни в одном взгляде, устремлённом вверх, на тёплый свод, где плыли пятна света.

Его критерий не видел согласия. Его критерий не видел разницы между «помочь» и «помочь без спроса». Сто восемьдесят циклов он различал живое и неживое по тому, что функционирует, — и вот сейчас стоял в саду, где всё функционировало, и не мог сказать, где здесь насилие.

— Я не вижу разницы, — сказал он. Вслух. Пластиной. Двенадцать членов совета прочитали это. — Это не значит, что её нет. Это значит, что мой критерий её не видит.

— Тогда, — сказала Сефра, — ваш критерий не может её требовать.

* * *

Совет голосовал в зале исхода.

Ордис голосовал против. Ещё двое — тоже. Девять — за. Сефра не голосовала: руководитель комплекса утверждал решение, а не голосовал за него.

СТАНДАРТ СОХРАННОСТИ ПРИ ВЫДЕЛЯЕМЫХ КОНТУРАХ ПРИНЯТ, — проступило в воздухе над центром зала. — ВСТУПАЕТ В СИЛУ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЦИКЛА. ОСОБОЕ МНЕНИЕ: ОРДИС, ВЕЛЛИАН, ДОКТОР ТСЕ.

По истечении цикла. Ордис посчитал. Цикл в Секционе был длиннее человеческого года, но ненамного. Через цикл все пациенты с отметкой «материал: выделяемый» будут переходить под новый стандарт. Все, у кого будет повторный пароксизм. Все, кто подписал симптоматическую помощь.

Члены совета расходились. Сефра оставалась в стене — её лицо проступало теперь ниже, ближе к полу, будто она наклонилась, — и Ордис, уже повернувшись к выходу, остановился.

— Матрона, — сказал он. — Вопрос.

— Да, Ордис.

— Выделенные контуры. Хадрета. Иленн. Корра. Всех тридцати. Всех, кого я не сосчитал. — Он помолчал. — Где они?

Лицо в стене не изменилось.

— Хранятся, — сказала Сефра.

— Как?

— В холодном режиме. Большинство выделенных контуров не способно функционировать на автономном носителе. Носитель Кац Л. — исключение. Счастливое, если хотите. Остальные — в библиотеке остатков. Под надлежащим наблюдением.

— Наблюдение — чьё?

— Комплекса.

— Учёт — чей?

Пауза. Короткая. Ордис знал Сефру семьдесят циклов и знал, что она никогда не делает пауз, если не хочет, чтобы их заметили.

— Учёт — двойной, — сказала она. — Медицинский — наш. Имущественный — Реестрата. Выделенный контур — имущество комплекса. Это не тайна, Ордис. Это стандартная классификация. Вы её видели.

Он видел. Он видел её у Льва Каца — «материал: выделяемый» — и не задумался тогда, что слово «материал» в медицинской записи служит и для Реестрата тоже. Что каждая медицинская запись комплекса уходит в две стороны. Одна — туда, где лечат. Другая — туда, где считают.

— Медицинская запись, — сказал он, — служит двум целям.

— Всякая запись служит нескольким целям, — сказала Сефра. — Ваша — тоже. Вы записали возражение. Оно спасёт следующего пациента? Нет. Оно спасёт вашу совесть? Возможно. Две цели. — Лицо в стене улыбнулось. — Мойте инструменты, Ордис. Я знаю, вы их моете. Я никогда не спрашивала зачем.

Она погасла.

* * *

Васса Ромм ждала его у инструментальной.

Он не ожидал её здесь. Сопровождающим без права самостоятельной практики вход в исследовательскую клинику не полагался — её пропустили, наверное, потому что она была хранительским лицом при носителе Кац Л.: Квель записал её так в сопроводительном листе, «уход по поручению хранителя». Изобретательно, подумал Ордис. Почти так же изобретательно, как временное хранение.

Она стояла у белой холодной стены — единственной холодной во всём Секционе — и держала руки в карманах рабочей куртки. Лицо у неё было серым.

— Мне сказали, был совет, — сказала она.

Ордис не ответил сразу. Он прошёл мимо неё в инструментальную, к раковине. Лоток с зондами стоял там, где он его оставил. Девять вымытых. Один — нет.

Он взял десятый.

— Стандарт принят, — сказал он. Пластиной, не поворачиваясь. — Выделение по требованию сохранности. Для всех выделяемых. Через цикл.

Васса молчала. Он слышал, как она дышит. Неровно.

— Сколько это?

— Не знаю. Много.

Он держал зонд под струёй. Провёл пальцами — раз. Два.

— Я пришла не за этим, — сказала Васса. Голос у неё был ровным. — Я пришла попросить. Глеб завтра будет в архиве «Порога». Хочет сравнить свой предаварийный снимок с тем, что сейчас. Ему не дают — Изольда против, — но он пойдёт. Я его знаю. Мне нужно знать, что вы с ним сделали. Тогда. Когда собирали. Протокол реконструкции. Иначе сравнение ничего не даст: мы увидим, что он отличается, и не поймём — чем. От аварии. От вас. Или от чего-то третьего.

Три. Четыре.

— Протокол реконструкции закрыт, — сказал Ордис.

— Почему?

— Потому что он содержит не только его. Реконструкция неизвестного вида строится на сравнительных данных. При сборке Глеба Норвина использованы данные других пациентов. Их истории. Их тела. Их остатки. Они не давали согласия на раскрытие. Я не могу открыть его протокол, не открыв их.

Пять. Шесть.

— Тогда откройте только его, — сказала Васса.

Ордис остановил пальцы.

Он стоял у раковины, с зондом в руке, под струёй воды, которая была не нужна, — и думал. Не о Вассе. О саде. О троих существах на выступе под деревом, которые смотрели вверх. О том, что его критерий не видел разницы. О том, что разница была — в прошлом, в записи, до процедуры. В бланке. Если бланка нет — разницы нет. Если записи нет — нет ничего.

Глеб Норвин не подписывал бланка. Глеба Норвина собирали без сознания, по требованию сохранности, — Ордис сам это делал, он помнил каждый шаг. Помнил тело в ледяном проходе за резервным постом, куда ленты вошли через лаз: маска не прилегала, воздуха не было, самостоятельной активности — тоже. Помнил девять часов восстановления, строку за строкой: ткань сохранена — по ткани; ткань утрачена — по карте, которую прислала Васса Ромм; карта неполна — по модели; модель неполна — из доступных источников. Помнил, как снятое при этом — шесть и шесть единиц — ушло в библиотеку остатков, в контейнер размером с обувную коробку. Помнил, что записал результат: «восстановлен; непрерывность не установлена».

Если у Глеба Норвина не было согласия до процедуры — значит, единственное, что у него может быть, это знание после. Знание того, что с ним сделали. Без этого знания он — один из троих на выступе. Функционирующий. Неотличимый.

— Только его протокол, — сказал Ордис, — это неполный протокол. Без сравнительных данных он не воспроизводим. Вы не сможете по нему проверить, правильно ли я собирал.

— Я не хочу проверять, правильно ли, — сказала Васса. — Я хочу знать — что.

Семь. Восемь.

Ордис положил зонд на сухой лоток. Десятый. Последний.

Потом повернулся к Вассе и вынул из складки корпуса тонкий тёмный носитель записи — пластинку размером с ноготь, такую, какие Свидетель использовал для передачи частичных протоколов между отделениями. Он держал её в тонкой руке, той, что была с пальцами. Пальцы ещё были влажными.

— Частичный протокол доступа, — сказал он. — Реконструкция Норвин Г. Шаги сборки. Для каждого восстановленного участка — класс: по ткани, по карте, по модели, из доступных источников. Без самих источников. Без историй других пациентов. Без их имён. Норвин Г. видел журнал восстановления в библиотеке остатков. Там сказано, что делалось. Здесь будет сказано — где. Какая его память продолжилась по ткани, а какая заполнена. Вы увидите, что я сделал. Не увидите — из чего. Это всё, что я могу дать, не раскрыв тех, кто не давал согласия.

Васса смотрела на пластинку.

— Почему? — спросила она.

Ордис не знал, как ответить. Он перебрал варианты. Научная осторожность: непроверенная реконструкция — ненадёжные данные. Профессиональный долг: пациент вправе знать. Методологический спор с Сефрой. Всё это было правдой. Ничто из этого не было ответом.

— Потому что сегодня в саду, — сказал он наконец, — я не смог отличить того, кого спросили, от того, кого не спросили. Ни по одному параметру. И если я не могу отличить — значит, отличить могут только они сами. По тому, что знают. Глеб Норвин должен знать.

Васса взяла пластинку. Осторожно, двумя пальцами. Положила во внутренний карман — Ордис видел, туда, где у неё лежал журнал в клеёнчатой обложке.

— Вам за это что-то будет? — спросила она.

— Да.

— Что?

— Выдача частичного протокола вне отделения без разрешения руководителя комплекса — нарушение. Нарушение служебного доступа. Я запишу это сам. Сейчас. Так меньше.

Он повернулся к стене. На белой холодной стене инструментальной — единственной, которая не была частью Сефры, единственной, где она не могла проступить, — висела служебная панель для записей отделения. Ордис коснулся её тонкой рукой.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КЛИНИКИ. ВЫДАЧА ЧАСТИЧНОГО ПРОТОКОЛА РЕКОНСТРУКЦИИ НОРВИН Г. ВНЕ ОТДЕЛЕНИЯ.

ОСНОВАНИЕ: ОТСУТСТВУЕТ.

КЛАССИФИКАЦИЯ: ОШИБКА ОПЕРАТОРА.

ОПЕРАТОР: ОРДИС.

Он смотрел на строку. «Ошибка оператора». Он знал эти слова. Четыре дня назад он видел похожую строку — в записи о Льве Каце: «ОПЕРАТОР: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР КОМПЛЕКСА МАТРОНЫ СЕФРЫ». Там оператор был безымянным. Схемой. Контуром, который исполнил то, что было подготовлено, — так, что никто не исполнял.

Здесь оператор был назван.

Он подумал, не дописать ли: «ошибка преднамеренная». Не дописал. Это было бы правдой, но правда в служебном деле должна была относиться к какому-нибудь разделу, а он не знал, к какому.

Васса стояла у двери. Смотрела на панель. Потом на него.

— Спасибо, — сказала она.

Ордис не ответил «пожалуйста». Он не знал, уместно ли. Он взял с сухого лотка первый зонд — вымытый, чистый, стерильный ещё до того, как он его вымыл, — и снова поднёс под струю.

Инструмент очищает себя сам. Руки — нет.

Он провёл пальцами. Раз.

— Васса Ромм, — сказал он, не оборачиваясь. — Вопрос. Клинический.

— Да?

— Носитель Кац Л. Он вчера сказал «вернёшься». Я записал. Это пятнадцатое слово. Лем А. отметила, что его нет в словаре пациента. — Два. — Как вы считаете: если у существа есть слово, которого нет у того, из кого его выделили, — это функция?

Васса долго молчала.

— Не знаю, — сказала она. — Спросите его.

Ордис остановил пальцы над зондом.

Такая мысль ему в голову не приходила — и не из-за сложности. За сто восемьдесят циклов он ни разу не подумал, что ответ на клинический вопрос можно получить у того, о ком этот вопрос.

— Спрошу, — сказал он.

Три. Четыре.

Когда он закончил десятый зонд, Вассы в дверях уже не было. Белая холодная стена была пуста, только светилась на панели строка с его именем. Ордис посмотрел на неё ещё раз. Потом записал в собственное служебное дело, в раздел «наблюдения», короткую заметку — он не знал, к какому разделу её отнести, и положил туда, где лежали вещи без раздела, рядом со строкой «выделение провёл не я»:

Согласие не наблюдаемо. Критерий наблюдаемой функции его не различает. Следовательно, критерий неполон. Следовательно — я неполон.

Вопрос для проверки: у кого спрашивать?

Глава 19. Холодная копия

Пломбы были на месте. Все три.

Глеб стоял перед решёткой архивной ниши в резервном посту, держа в руке фонарь, и смотрел на них так, как смотрят на почерк в старом письме. Первая — лента с микронасечкой, целая, нигде не надорванная. Вторая — судовая: номер модуля, корабельное время, код дежурного. Код был его. Время было за четыре часа до захвата.

Третья — бумажная полоска. Дата. И подпись — длинная, с петлёй на «Н», как в двенадцать лет на обложках тетрадей.

Он смотрел на эту подпись долго. Пост был холодным — инея больше не было, Макар вернул отопление ещё в первый день карантина, — но стены помнили холод, и металл под пальцами был ледяным. Здесь он начал умирать. Закончил — в двух метрах отсюда, в проходе за постом, куда дополз; там его и нашла Дина, с маской, которая не прилегала к щеке. Ящик, на котором он стоял, тянясь к кабелю, теперь стоял ровно, у стены. Кабелерез висел на крючке. Аварийный шкаф был закрыт. Всё было на местах, как будто ничего не случилось.

Глеб вынул из нагрудного кармана блокнот и ручку. Положил блокнот на ящик. Написал дату — сегодняшнюю. И расписался.

Длинно. С петлёй на «Н».

Он поднёс блокнот к пломбе. Подсветил фонарём. Две подписи — та, на решётке, сделанная за четыре часа до смерти, и эта, сделанная сейчас, — лежали рядом, и он смотрел на них по полям, как смотрел бы на любые две подписи в любом деле о провенансе. Наклон. Нажим. Петля. Расстояние между «Г» и «Н». Хвост у «в». Отрыв перед «и».

Совпадали.

Это ничего не доказывало. Он знал, что не доказывало, ещё до того, как взял ручку. Подпись — это моторный навык. Моторный навык хранится в теле, в спинном мозге, в мозжечке, в ткани, — а ткань, где она сохранилась, восстанавливали по ткани, а где не сохранилась — по карте, а карта была точной, а точная карта воспроизводит подпись так же хорошо, как продолжившаяся рука. Если бы подписи не совпали — это что-то значило бы. Совпадение не значило ничего.

Он всё равно стоял и смотрел. Потом вырвал листок, сложил вдвое и положил в карман. Провенанс. Сегодняшняя дата. Сегодняшняя рука.

— Я знала, что ты придёшь, — сказала Изольда.

* * *

Она стояла в дверях поста. Он не слышал, как она подошла. Изольда всегда ходила так — бесшумно, мягко, переставляя ноги, как переставляют их люди, которых когда-то учили ходить по помещениям, где за каждой дверью может быть кто-то. Глеб знал, где её этому учили. Он читал её дело при наборе экипажа — читал всё, что было доступно, и то, что было доступно не всем. Это была его работа.

— Я не трогал решётку, — сказал Глеб.

— Знаю. Я смотрю на неё по камере с вечера.

— Ты не спишь?

— Я не сплю с тех пор, как у меня в голове появилась чужая сводка про тебя, — ровно сказала Изольда. — Там было написано: «Старший помощник по документации. Отношение к безопасности — образцовое». Я так про тебя никогда не думала. Я думала: зануда. Я тебе это говорила, помнишь? На второй неделе. «Ты зануда, Норвин». Ты обиделся.

— Не обиделся.

— Обиделся. Ты потом три дня ставил на мои отчёты четыре пломбы вместо трёх.

Глеб помолчал.

— Помню, — сказал он.

— Вот, — сказала Изольда. — А в сводке — «образцовое». Кто-то написал это за меня. Мне в голову. Я не знаю, как. Я не знаю, когда. Я не знаю, что ещё там написано, чего я не нашла. — Она посмотрела на решётку. — Это последний носитель на корабле, Глеб. Единственный, к которому не прикасались. Ни Свидетель, ни Реестрат, ни этот… третий. Он не принимает ничего по сети. Он не знает, что с нами случилось после захвата. Он помнит, как было. Если его открыть — я больше не буду знать, что он чистый.

— Если его не открыть — ты никогда не узнаешь, что в нём.

— Я знаю, что в нём. Как было. — Она шагнула в пост. — И я знаю, кто его откроет. Тот, кого собирал Свидетель. По ткани, по карте, по модели и из доступных источников. Ты сам мне показывал этот журнал. «Доступные источники». Глеб, я не знаю, что в тебе. Я не знаю, что в тебе есть такого, что может прочитать этот архив иначе, чем ты. Или записать в него. Или просто — увидеть. Ленты Свидетеля были у тебя в горле девять часов.

Глеб не ответил. Она была права. Он сам думал об этом — каждый вечер, с тех пор как пришёл протокол от Ордиса.

— Нет, — сказала Изольда. — Не сегодня. Не один. Не без капитана. Холодный архив закрыт до независимой проверки. Это моё решение. Я его записала. Капитан его подписала.

— Я знаю, — сказал Глеб. — Поэтому я не трогал решётку.

Он убрал фонарь в карман. Посмотрел на неё.

— Утром я подам заявку, — сказал он. — По форме. На независимую проверку. Ты сама написала: «до независимой проверки». Значит, проверка предусмотрена. Значит, у неё есть процедура. Я хочу процедуру.

Изольда долго смотрела на него. Потом — Глебу показалось — на мгновение у неё дрогнул угол рта.

— Зануда, — сказала она.

— Да, — согласился Глеб.

* * *

Заявку он написал от руки. Две страницы, мелким прямым почерком, с нумерованными пунктами. Он писал её до четырёх утра, в своей каюте, при свете настольной лампы, и переписывал трижды — не потому что было неясно, а потому что каждый раз находил место, где можно было понять его не так.

Пункт первый. Предмет проверки: холодный архив «Порога», модуль Б, картриджи с первого по тринадцатый, включая параллельную запись сессии с момента старта подхода до прекращения записи.

Пункт второй. Цель проверки. Здесь он переписывал дольше всего.

Первый вариант был такой: «Установить, является ли нынешний носитель имени Г. Норвин продолжением носителя, существовавшего до аварии». Он прочитал его и зачеркнул. Этого архив установить не мог. Этого никто не мог установить. Это он знал с того дня в библиотеке остатков, когда стоял перед обувной коробкой с биркой «шесть и шесть» и понял, что не может отличить.

Второй вариант: «Установить подлинность личности Г. Норвина». Зачеркнул. То же самое, другими словами. Хуже: слово «подлинность» предполагало, что бывает подделка.

Третий вариант он написал медленно, проверяя каждое слово:

«Установить, что именно было сделано с носителем имени Г. Норвин в период между прекращением самостоятельной активности и восстановлением. Сопоставить запись Свидетеля, частичный протокол реконструкции, переданный О. (Свидетель) В. Ромм, и независимую запись холодного архива. Зафиксировать расхождения, если они есть. Цель проверки — не установление личности, а установление факта и объёма вмешательства».

Факта и объёма вмешательства. Он перечитал это четыре раза. Потом подчеркнул.

Пункт третий. Условия. Проверка проводится в присутствии ответственного за безопасность (И. Морт) и независимого свидетеля, не участвовавшего в реконструкции и не являющегося её объектом. Глеб подумал, кого вписать. Вассу — нельзя: она передала снимок, она участница. Капитан — участница: она подписала карантинный режим. Макар и Дина — были рядом в момент аварии. Лев — в Секционе, и, кроме того, у Льва сейчас не было того, что обычно отличает свидетеля от зрителя: ему было всё равно.

Он вписал Ариадну.

Пункт четвёртый. Носитель имени Г. Норвин (заявитель) имеет право чтения. Права записи не имеет. Физического контакта с картриджами не имеет. Ключ от решётки передаёт ответственному за безопасность до начала проверки.

Ключа у него не было.

Он знал, где ключ. Знал с того вечера, когда очнулся на девятом часу и первым делом спросил — сначала про картридж, потом про пломбы, потом: «Где мой ключ?» Шнурок порвался в проходе за постом, зацепившись за край люка; ключ упал; Дина подобрала. Васса ему сказала. Он сказал: «Дина не выбросит». И больше не спрашивал.

Он не спрашивал десять дней. Сам не знал почему. Дина однажды сказала Изольде — а Изольда, кажется, потом ему, — что он, наверное, боится, что ключ не подойдёт.

В половине пятого он постучал в Динину каюту.

Она открыла не сразу. Заспанная, в свитере, с растрёпанной косой. Посмотрела на него — на заявку в его руке, на лицо — и ничего не спросила. Сунула руку в нагрудный карман рабочей куртки, висевшей на крючке у двери, — туда, где у неё лежала картонка с записями, — и вынула ключ. Латунный, старый, на обрывке шнурка.

— Ты боялся, что не подойдёт, — сказала она. Не вопрос.

— Да.

— Это ключ, Глеб, — сказала Дина. — Он не знает, кто ты. Он знает только замок.

Она вложила ключ ему в ладонь и закрыла дверь.

Шнурок он менять не стал. На шее, там, где шнурок лежал четырнадцать месяцев, осталась светлая полоса — он видел её в зеркале по утрам. Свидетель восстановил и полосу. Глеб не знал — по ткани или по карте.

Он положил ключ на заявку. И пошёл спать.

* * *

Утром в кают-компании было шестеро. Лев уехал в Секцион первым шаттлом — «я обещал, в это же время», — Васса оставалась там. Заявка лежала на столе, посередине, между чайником и коробкой салфеток, ровно там, где одиннадцать дней назад стоял согласительный модуль с восемью прорезями. Глеб это заметил. Он не знал, заметил ли кто-нибудь ещё.

Виктория прочитала заявку первой. Молча, медленно, обе страницы. Потом передала Изольде. Изольда — Ариадне. Ариадна читала дольше всех, и Глеб видел, как она останавливается на некоторых словах — на «носителе имени», на «факте и объёме», — и как у неё чуть двигаются губы.

Макар читать не стал.

— Не надо, — сказал он.

Все посмотрели на него.

— Не надо, — повторил Макар. Он сидел в конце стола, держа перевязанную руку на колене, и смотрел не на Глеба, а на заявку, как смотрят на прибор, который сейчас включат, не проверив проводку. — Я тебе так скажу, Глеб. Ты живёшь? Живёшь. Ходишь, пломбы ставишь, чай пьёшь, на всех нас занудствуешь. По переборке стучишь — моим стуком, между прочим, я так и не понял, откуда ты его взял. Ну и живи. Шумит — значит живое. Чего туда лезть?

— Я не лезу, — сказал Глеб. — Я прошу проверить.

— А что ты найдёшь? — Макар поднял на него глаза. — Вот найдёшь ты, что тебя на треть из карты собрали. Или на половину. Или — я не знаю — на девять десятых. Тебе от этого легче станет? Нам? Мы тебя после этого как — меньше Глебом считать будем? На треть?

— Нет, — сказал Глеб.

— А если найдёшь, что он вообще не ты? Что ты — ну, другой какой-то, по карте? Что тогда? — Макар покачал головой. — Ты же сам потом жить с этим не сможешь. Ты ж зануда. Ты ж будешь каждое утро — проверять.

Глеб не ответил.

— Он прав, — сказала Дина.

Она сидела рядом с Макаром, тихо, крутя в пальцах кружку. До этого она не сказала ни слова.

— Он прав, — повторила она. — Не в том, что не надо. В том, что мы потом не будем знать, что с этим делать. — Она посмотрела на Глеба. — Ты для нас — Глеб. Я тебя в посту нашла. Я тебя за маску держала, когда ты не дышал. Я тебе в Свидетеле руку держала, когда тебя собирали. И если сейчас откроют архив и там будет написано, что ты — не тот… Я не знаю, кого я держала. Того или этого. Я не хочу не знать. Мне сейчас нормально. Мне сейчас — ты.

— Ты не будешь не знать, — сказал Глеб. — Архив не скажет, тот ли я. Этого никто не скажет.

— Тогда зачем?

Глеб посмотрел на неё. Потом — на Изольду. Изольда сидела очень прямо, положив обе руки на стол, и смотрела на ключ, лежащий на заявке.

— Потому что у Изольды в голове чужая сводка, — сказал он. — Про меня. «Образцовое отношение к безопасности». Она её не писала. Кто-то написал. Потому что у Льва вынули страх без его согласия, и в его карте за два дня до этого уже стояло «материал: выделяемый». Потому что у нас в памяти девятый человек, которого не было. Потому что Свидетель записывает не время события, а время записи, — Васса это сказала ещё в первые дни, про тринадцать сорок один, и оказалась права. — Он помолчал. — Я не хочу узнать, кто я. Это мой вопрос. Я сам с ним как-нибудь. Я хочу узнать, что с нами делают. Это — общий вопрос. Я просто — первый, на ком можно проверить. Потому что у меня есть холодная копия. А у вас её нет.

В кают-компании стало тихо.

— Тот ли ты, — сказала Ариадна.

Глеб повернулся к ней.

— Ты сказал: «не хочу узнать, кто я», — сказала Ариадна. Она держала заявку и смотрела не на него — на второй пункт, на подчёркнутые слова. — А в первом варианте, вот тут, под зачёркнутым, — я вижу, — было «является ли продолжением». Ты сам это зачеркнул. Но ты это написал.

— Написал.

— Я поддерживаю заявку, — сказала Ариадна. — Целиком. Проверку нужно провести. Это доказательство, а не вера, и мы слишком долго живём на вере. Я буду свидетелем. — Она положила заявку на стол. — Но я хочу, чтобы ты знал: я с тобой не согласна.

— В чём?

— В том, что это — «твой вопрос». «Тот ли я». — Ариадна наконец посмотрела на него. — Ты говоришь так, будто это вопрос о факте, на который просто нельзя получить ответ. Как вопрос о том, сколько звёзд во вселенной. Есть число, мы его не знаем. Но это не такой вопрос. «Тот же человек» — это не факт о теле, Глеб. Это… — она поискала слово и не нашла сразу, и Глеб видел, что ей это неприятно, — это решение. Договорённость. Мы называем «тем же» того, кого готовы так называть. Дина держала тебя за руку — и ты для неё тот же. Изольде в голову вписали, что ты образцовый, — и она теперь не знает, какой ты. Это не про тебя. Это про нас.

— Тогда тем более, — сказал Глеб. — Если это про вас — то и проверять надо вас. То, что с вами сделали.

— Нет, — сказала Ариадна. — Тогда проверка ничего не решит. Ни про тебя, ни про нас. Она решит только про то, что было с телом. А ты хочешь, чтобы она решила больше. Я это вижу. Ты переписал пункт три раза, потому что хочешь, чтобы она решила больше.

Глеб молчал.

Она была права. Он знал, что она права, — так же, как знал про подписи у решётки. Знал и всё равно стоял и смотрел.

— Капитан, — сказал он.

Виктория долго не отвечала. Она смотрела на ключ — латунный, потёртый, на заявке — и Глеб не мог прочитать её лица. Он никогда не умел. Это было одно из того немногого, что он помнил о себе наверняка: он не умел читать лицо капитана, и это его раздражало все четырнадцать месяцев.

— Одна проверка, — сказала Виктория. — Сегодня. По заявке, как написано. Изольда, ключ у тебя. Ариадна — свидетель. Глеб — только чтение. После проверки архив закрывается снова. До следующего решения.

— Чьего? — спросила Изольда.

— Моего, — сказала Виктория.

Изольда взяла ключ. Сжала его в кулаке так, что побелели пальцы.

— Я против, — сказала она. — Запиши.

— Записано, — сказала С.О.Н.Я. из потолка.

* * *

Пломбы срезала Изольда. Глеб попросил, чтобы она.

Она срезала их медицинскими ножницами из аварийного шкафа — по одной, аккуратно, начиная с первой. Лента с микронасечкой разошлась с тихим сухим треском. Судовая — с мягким хрустом. На третьей Изольда помедлила. Посмотрела на бумажную полоску. На подпись.

— Режь, — сказал Глеб.

Она разрезала. Подпись разошлась пополам: «Г. Нор» — на одной половине, «вин» и петля — на другой. Изольда сняла обе половинки и протянула ему. Глеб взял их. Положил в карман, к вчерашнему листку. Две подписи. Одна — целая, сегодняшняя. Другая — разрезанная, сделанная за четыре часа до смерти.

Латунный ключ вошёл в замок. Подошёл. Повернулся туго — замок промёрз, наверное, ещё тогда и не отошёл до конца. Решётка открылась. За ней — модуль холодного архива, размером с дорожный чемодан, серый, с тремя насечками отвёрткой у петли и буквами «М. И.». Изольда вставила считыватель. Подтвердила вход — дважды, с паузой, как требовали проектировщики, которых Глеб любил, как любят покойных родственников.

На экране считывателя появился список.

Тринадцать картриджей. Первые одиннадцать — его, закрытые до аварии, по одному, с подписью и цепочкой согласия: дата, время, ключ, подтверждение, подтверждение. Всё сходилось. Двенадцатый — картридж параллельной записи. Тот, который он закрыл в первый день — тогда, при Макаре, — с сырой записью сеанса. Потом открыл снова, когда попросил писать параллельно всё, что произойдёт с момента старта подхода. И больше не закрывал. Не успел. Тринадцатый — вечер первого дня: вернувшийся пакет с девяткой, закрытый, с бумажной пломбой «8 → 9».

Изольда открыла двенадцатый.

Запись шла сплошным потоком — телеметрия, переговоры, показания датчиков, журнал решений, — всё, что Глеб просил, с отдельного тракта, через тринадцатую ветвь, мимо ядра. Она шла до самого конца. До того момента, когда тринадцатая ветвь потеряла питание. Глеб

смотрел на временную шкалу и видел, как она ползёт: захват, удары, шестой шпангоут, Макар у рубильников, сервисная секция, второй шлюз.

— Медицинские показатели, — сказал он. — Мой браслет. С тринадцати сорока до четырнадцати.

Изольда вывела.

Пульс. Частый, сто двадцать, сто тридцать — он помнил, как колотилось сердце, когда он тянулся к кабелю, — потом рваный, потом редкий. Сатурация. Девяносто. Восемьдесят. Семьдесят. В тринадцать сорок шесть — ниже шестидесяти. В тринадцать пятьдесят — ниже пятидесяти. Дальше линия шла почти плоско, с редкими слабыми всплесками — вдохами, понял он, — до тринадцати пятидесяти восьми. Там — ноль.

Тринадцать пятьдесят восемь. Это сходилось. С Диниой картонкой: «13:58 — Г. Н. не дышит. Пульс не определяется (перчатка)». С журналом Свидетеля, который он видел в библиотеке: «прекращение самостоятельной активности контура». По прямому датчику, без посредников, — то же самое.

Не сходилось другое. Он ещё не знал что. Он только чувствовал, как это чувствуют в документе: графа заполнена правильно, а дело — нет.

— Теперь протокол Ордиса, — сказал он.

Он вынул из внутреннего кармана пластинку — тёмную, размером с ноготь, которую Васса прислала с вечерним шаттлом, вложив в конверт из бланка Секциона, — и протянул Изольде. Изольда посмотрела на неё так, как смотрят на насекомое, о котором не знают, жалит ли оно. Потом вставила в переходник, который Макар сделал ночью из разъёма корабельного считывателя и куска провода, — Макар так и не пришёл на проверку, но переходник оставил на ящике, у решётки, без записки.

Частичный протокол реконструкции. Строка за строкой. Участок — класс. Участок — класс.

«Восстановлено по ткани» — сорок три процента.

«Восстановлено по карте» — тридцать один.

«Восстановлено по модели» — девятнадцать.

«Заполнено из доступных источников» — семь.

Глеб смотрел на «по ткани». Сорок три процента. Сорок три процента того, что было им, продолжились в ткани — так говорил протокол. Это была самая большая цифра. Он, оказывается, держался за неё все эти дни, сам того не зная: сорок три процента — это меньше половины, но это больше, чем ничего.

— Ариадна, — сказал он. — Ты знаешь, сколько минут живёт мозг без кислорода?

— Нет.

— Я знаю. Я читал. Перед полётом, по медицинскому модулю, когда Васса заставляла нас сдавать зачёт по первой помощи. — Он не отводил глаз от экрана. — Без кислорода совсем — необратимые изменения с четвёртой-шестой минуты. При глубокой нехватке — тоже, только медленнее, и никто не знает точно насколько. — Он показал на экран, на две строки рядом: класс ткани и время. — Смотри, от чего он считает сохранность. От тринадцати пятидесяти восьми. От своей записи. Он видел четыре минуты — с пятидесяти восьми до двух, те самые, пустые. А по браслету я задыхался с тринадцати сорока шести. Ниже шестидесяти — двенадцать минут до того, как он записал, что я перестал. Ниже пятидесяти — восемь. Этих минут у него нет. Его там не было: контакт — в тринадцать пятьдесят пять. Время записи — не время события.

— Двенадцать минут, — сказала Ариадна.

Тишина.

— Значит, — сказала Ариадна, — сорок три процента…

— Не сорок три, — сказал Глеб. — Меньше. Я не знаю сколько. Может, двадцать. Может, пять. Может, Ордис прав, и Свидетель умеет сохранять ткань, которая по нашим книгам уже мёртвая, — я не знаю, что он умеет. Но его собственная классификация построена на времени, которое он сам записал неправильно. Это не про меня. Это про его метод. Он мог ошибиться — и тогда то, что он записал как «по ткани», — на самом деле по карте. Или по модели. Или из доступных источников.

Он помолчал.

— И никто бы не узнал, — сказал он. — Если бы не было холодной копии. Он бы сам не узнал.

Изольда смотрела на экран. Лицо у неё было белым.

— Это значит, что ты…

— Это ничего не значит про меня, — сказал Глеб. Резче, чем хотел. — Я не подделка. Я не объявляю себя подделкой. Я не знаю, кто я, и не буду знать, и Ариадна права: это не тот вопрос, на который архив отвечает. — Он вдохнул. — Это значит, что было вмешательство. Больше, чем записано. И что запись не совпадает с событием. Вот это — факт. Это проверяемо. Это нужно расследовать. Не меня. Его. — Он показал на пластинку Ордиса. — Как они записывают. Что они называют сохранённым. Сколько ещё у них таких «сорока трёх процентов», которые на самом деле не сорок три. У Льва. У того, в фонаре, которого Васса видела. У всех, кто проходил через их ленты.

* * *

Последний файл двенадцатого картриджа Изольда открыла уже без его просьбы.

Она листала служебную часть — метаданные, подписи, контрольные суммы — так, как, наверное, листала когда-то дела там, где её учили бесшумно ходить. И остановилась.

— Глеб, — сказала она. — Смотри.

Последний файл параллельной записи. Время закрытия: двадцать один семнадцать.

Глеб перестал дышать в тринадцать пятьдесят восемь. Восстановление шло до двадцати трёх десяти. В двадцать один семнадцать он лежал в лентах Свидетеля, в кармане из лепестков, с лентами в горле.

И в двадцать один семнадцать файл закрылся. С подписью.

ПОДПИСЬ: Г. НОРВИН. КЛЮЧ: ЛИЧНЫЙ. ПРОВЕРКА ПОДПИСИ: КОРРЕКТНА.
ЦЕПОЧКА СОГЛАСИЯ: ОТСУТСТВУЕТ.

Подпись — корректна. Цепочки согласия — нет.

Глеб смотрел на эти две строки, и в посту было так тихо, что он слышал, как за переборкой шумит четвёртый насос — на сорок герц выше, чем положено.

— Кто? — спросила Изольда. Очень тихо.

— Не знаю, — сказал Глеб. — Может быть, никто. Тринадцатая ветвь шла через седьмой шпангоут. Макар её не вырубал до последнего. Если в двадцать один семнадцать она потеряла питание — модуль закрывает открытую сессию сам, автоматически, подписью сессии. Сессия была открыта моим ключом. Подпись ставится автоматически. А цепочка согласия — это два подтверждения вручную, с паузой. Живым человеком. Живого человека там не было.

— А если это не потеря питания?

— Тогда кто-то закрыл мою сессию моим ключом, — сказал Глеб. — В то время, когда я был в лентах. Без согласия.

Он посмотрел на экран ещё раз. Подпись — корректна. Цепочки согласия — нет.

Ему вдруг показалось, что эти две строки — не про файл.

— С.О.Н.Я., — сказал он. — Когда тринадцатая ветвь потеряла питание?

Пауза. Дольше обычной.

— Не знаю, — сказала С.О.Н.Я. — Мой журнал ветвей за период с двадцати до двадцати двух повреждён. Восстановлен частично. По доступным источникам.

Ариадна закрыла глаза.

* * *

Анкету нашла Ариадна.

Она была не в двенадцатом картридже — в первом. В архиве запуска: том, который холодный модуль получил на Земле, в последний день перед стартом, и который Глеб закрыл тогда же, первым картриджем, первыми тремя пломбами. Личные дела экипажа. Медицинские допуски. Подписанные согласия. Он сам их туда положил — все восемь дел, — потому что считал, что провенанс экипажа должен храниться там, куда не дотянется ни одна сеть.

Ариадна читала служебные поля его дела. Анкета участника экспедиции. Тридцать два пункта. Пункт двадцать первый.

Она прочитала его вслух. Голос у неё был ровным — так она читала протоколы.

— «Двадцать один. Согласие на восстановление или создание продолжения личности по нейрокарте в случае смерти участника. Варианты: согласен; согласен с ограничениями; не согласен. Ответ участника». «Не согласен. Создание продолжения запрещаю. Г. Норвин». Подпись. Дата. Цепочка согласия — полная.

Никто ничего не сказал.

Глеб знал этот пункт. Он помнил его — помнил анкету, помнил, как сидел над ней в учебном центре, в маленькой комнате с жалюзи, в июле, и как долго смотрел на пункт двадцать один, и как поставил галочку не сразу. Он помнил, почему поставил. Он помнил это изнутри, как своё.

И ровно так же он помнил бы, если бы это восстановили по карте.

Васса когда-то записала у себя в журнале: «Со слов Д. Серовой и по оценке С.О.Н.И., распоряжение — „не восстанавливать“ (не проверено)». Не проверено. Восемьдесят девять процентов. Галочка в анкете, которую она не видела.

Теперь — проверено.

— Ты запретил, — сказала Ариадна. Не протокольным голосом. — Тот, кто это написал. Он запретил тебя.

— Он запретил продолжение, — сказал Глеб.

— Это одно и то же.

— Нет, — сказал Глеб. — Не знаю. — Он смотрел на экран. — Он запретил. Его не послушали. Не Васса — она не знала наверняка, у неё было восемьдесят девять процентов и человек, который не дышит. Свидетель. Свидетель получил карту вместе с распоряжением, запечатанным, — и сделал. Это факт вмешательства. Против воли. Вот что надо расследовать. Не то, кто я. А то, что воля была — записанная, подписанная, с цепочкой согласия, — и её обошли.

— А если её обошли, — сказала Ариадна, — то кто ты по отношению к ней? Ты обязан её исполнять?

Глеб не ответил.

Он не знал. Он понял, что не знает, — и что этот вопрос будет с ним теперь, каждое утро, как Макар и сказал. Обязан ли он исполнять волю того, кто запретил его существование. Если обязан — что это значит? Прекратить? Если не обязан — то чья это была воля? Его? Того? Может ли тот, кто умер, запретить что-то тому, кто жив?

Он не знал.

Это был не его вопрос, понял он вдруг. Это был вопрос, который Ариадна только что задала, — и который она задала бы любому, кто стоит здесь. Любому продолжению. Любой реконструкции. Любому фонарю с отцом внутри, который сказал «не хочу». Глеб Норвин был тут частным случаем; спрашивалось, чего стоит воля, записанная до.

Он записал его. В блокнот, на чистой странице, мелким прямым почерком: «Обязательна ли воля прежнего носителя для того, кто возник после». И подчеркнул.

* * *

Запись лежала не в первом. В тринадцатом — том, который он закрыл в первый вечер, после ужина, после разговора об анкете. Сразу за вернувшимся пакетом. Отдельным файлом. «Тринадцать-бис».

Ариадна увидела её первой и не стала открывать. Она просто показала на экран — пальцем, не касаясь.

Аудиофайл. Короткий: минута пятьдесят секунд. Голосовая подпись — его. Глеб узнал свой голос по спектрограмме раньше, чем по имени файла: он сам когда-то сдавал образец для голосовой подписи, в том же учебном центре, в той же комнате с жалюзи.

Файл был запечатан. Не паролем — служебной печатью холодного архива, которая снималась только двойным ручным подтверждением, с паузой. Под печатью — пометка. Одна строка. Его рукой — то есть его клавиатурой, но в его формулировке, он узнал бы её где угодно:

ВСКРЫТЬ ПРИ МОЕЙ СМЕРТИ.

Глеб смотрел на строку.

В посту было тихо. Изольда стояла у решётки, держа руку на считывателе. Ариадна сидела на ящике — на том самом, — и не шевелилась.

— Ты умер, — сказала Изольда. Без интонации. — В тринадцать пятьдесят восемь. Это записано. Прямым датчиком. И Дининой картонкой.

— Да, — сказал Глеб.

— Условие наступило.

— Да.

— Тогда — кто его вскрывает?

Глеб протянул руку к считывателю. Остановился в сантиметре. Не потому что Изольда стояла рядом. Не потому что у него не было права физического контакта — пункт четвёртый, он сам его написал.

Он остановился, потому что понял: если он вскроет — он признает, что условие наступило. Что «моя смерть» — это уже было. Что тот, кто писал «вскрыть при моей смерти», — умер, и это — его, того, последнее слово, и он, Глеб, — тот, кто его слушает. Наследник. Душеприказчик. Чужой.

А если не вскроет — то оставит без ответа единственное, что тот человек сказал ему напрямую.

Он опустил руку.

— Нет, — сказал он.

Изольда смотрела на него.

— Я не могу, — сказал Глеб. — Не потому что ты запрещаешь. Потому что условие — моя смерть. Если я вскрою — значит, я согласен, что она была. Я не знаю, была ли она. Для меня. Для того, кто стоит здесь.

Изольда долго молчала. Потом медленно, очень аккуратно, вынула считыватель из модуля. Закрыла решётку. Повернула латунный ключ — замок снова пошёл туго.

Из кармана рабочей куртки она достала пломбу. Свою — служебную, с номером и кодом безопасности. Наклеила на решётку. Подержала положенные десять секунд.

— Холодный архив закрыт, — сказала она. Ровно, служебным голосом. — До следующего решения капитана. Любой доступ без такого решения — несанкционированный. Запрещён. Включая этот файл. Особенно этот файл.

— Записано, — сказала С.О.Н.Я.

Изольда повернулась, чтобы уйти. Потом остановилась.

— Глеб, — сказала она, не оборачиваясь. — Ты не хочешь поставить свою?

Он посмотрел на решётку. На её пломбу — одну, свежую, с кодом.

Потом вынул из кармана блокнот. Вырвал чистый листок. Написал на нём дату — сегодняшнюю — и расписался. Длинно. С петлёй на «Н».

Подержал листок над решёткой. Рядом с пломбой Изольды. Не приклеивая.

— Если когда-нибудь кто-нибудь спросит, кто закрыл этот модуль, — сказал он, — ответ должен остаться там, куда не дотянется ни одна сеть.

— Это ты в первый день говорил, — сказала Изольда. — Мне Макар рассказывал.

— Я знаю, — сказал Глеб. — Я помню.

Он прижал полоску к решётке большим пальцем. Подержал десять секунд. Клей активировался давлением.

Подпись была его. Цепочки согласия не было. Он подумал, что, может быть, теперь так будет всегда, — и что, может быть, это не так уж отличается от того, как живут все остальные.

Ариадна сидела на ящике и смотрела на две пломбы рядом — служебную и бумажную. Потом встала, подошла и тронула бумажную пальцем. Совсем легко. Как трогают, проверяя, высохла ли краска.

— Я буду свидетелем, — сказала она. — Если ты когда-нибудь решишь вскрыть.

— А если не решу?

— Тогда тоже, — сказала Ариадна.

Глава 20. Восемь вариантов помощи

Коек было восемь. Табличка — одна.

Васса увидела это с порога и остановилась, как останавливаются, когда в знакомой комнате что-то стоит не на месте. Палата была длинной, светлой, тёплой, с высоким сводом, по которому медленно плыли пятна света, — как в саду, о котором рассказывал Ордис. Вдоль одной стены, на равном расстоянии друг от друга, стояли койки. Не одинаковые. Ни одна не была похожа на соседнюю: низкое мягкое ложе; высокая прозрачная ванна, наполненная чем-то густым и голубоватым; узкая полка в стенной нише; решётчатая подставка, на которой висел фонарь — старый, оплетённый проволокой, такой же, как у сына с длинной шеей в коридоре; широкая плоская чаша; кресло с высокой спинкой; ещё одно ложе, жёсткое, с ремнями; и последняя — просто углубление в полу, выстланное чем-то серым и мягким, как войлок.

На каждой — кто-то.

А над всеми восемью, в середине стены, висела одна табличка. Большая, тёплая, с крупными знаками. Под знаками — язык первого контакта:

ЭДРАС. ЗАЯВИТЕЛЬ ПО ДЕЛУ О СМЕРТИ. ДЕЛО ОТКРЫТО.

— Пациент, — сказал доктор Тсе. — Один.

Он стоял рядом с ней, у порога. Невысокий — ниже Вассы, — округлый, с мягкой бледно-жёлтой кожей, собранной в складки, как у старого шарпея, и с тремя короткими руками, которые он держал сложенными на животе. Лица у него было почти два: верхнее, с маленькими влажными глазами, смотрело на неё, а нижнее, без глаз, со ртом, говорило. Говорило оно мягко, по-стариковски, с придыханием, и клинический адаптер Квеля на воротнике у Вассы переводил его голос в тот же мягкий, старческий тембр.

— Один, — повторила Васса.

— Один, — сказал Тсе. — По делу — один. По учёту — один. По питанию, месту, наблюдению — один. По медицинской записи — восемь реконструкций одного пациента. — Нижнее лицо помолчало. — Вы хотели видеть, как Свидетель работает с долгими реконструкциями. Вот. Самая долгая. Самая старая. Мне велели вам показать. Я показываю.

Васса пришла сюда за этим. Тсе был прав. После вчерашнего — после пластинки, которую Ордис вынул из складки корпуса влажными пальцами, после строки «ошибка оператора», после того, что Глеб передал ей вечером с шаттлом, коротко, по пунктам: «Двенадцать минут. 43% по протоколу — фактически меньше. Подпись корректна, цепочки согласия нет. П. 21 — „запрещаю“. Файл „вскрыть при моей смерти“ — не вскрыт», — она хотела знать, как Свидетель реконструирует не одного человека за девять часов, а кого-то, с кем работает долго. Как это выглядит, когда реконструкция — не чрезвычайная мера, а рутина.

Доктор Тсе голосовал против стандарта сохранности. Ордис назвал ей это имя — коротко, без пояснений, — и Васса пошла к нему сама. Тсе выслушал её, долго молчал обоими лицами, а потом выписал ей временный допуск. «Коллегиальный», — сказал он. Привилегированный. На три дня.

— Расскажите, — сказала Васса.

* * *

Эдрас умер очень давно.

Тсе рассказывал медленно, переходя от койки к койке, и Васса шла за ним. Когда именно умер Эдрас — Тсе не знал точно; в учёте Свидетеля стояло число, но число было в древнем счёте, который Секцион давно не использовал, и пересчёт давал разброс в несколько эпох. Кем он был — тоже не вполне ясно. Учёт сохранил одно: незадолго до смерти Эдрас подал в Реестр

заявление. Заявление о смерти. Чьей — учёт не сохранил: эта графа была повреждена, или стёрта, или передана на хранение в Нуль-архив, — Тсе не знал, и никто не знал.

Заявление приняли. Открыли дело. Назначили слушание.

До слушания Эдрас умер.

— Реестр не закрывает дело без заявителя, — сказал Тсе. — Это правило. Заявитель должен подтвердить заявление на слушании. Если заявитель умер — дело не может быть рассмотрено. Но и закрыто не может быть: закрытие тоже требует заявителя. Отзыв. Подпись. — Нижнее лицо вздохнуло. — Дело висело. Долго. Потом Реестр направил запрос Свидетелю: восстановить заявителя для продолжения дела.

— И Свидетель восстановил.

— Восстановил, — сказал Тсе. — Первый раз. Вот.

Он остановился у первой койки — у низкого мягкого ложа.

На ложе лежало существо. Высокое — длиннее человека, — тонкое, с серебристо-серой кожей, гладкой, как у тюленя. Голова — узкая, вытянутая, с большими миндалевидными глазами, полуприкрытыми. Шесть длинных пальцев на каждой руке. Руки лежали поверх покрывала, и пальцы на них медленно, по одному, сгибались и разгибались — как у пианиста, который повторяет в уме трудный пассаж.

— Первая реконструкция, — сказал Тсе. — Из ткани. Тело Эдраса хранилось. Ткани было много. Её восстановили, и она проснулась, и сказала: я — Эдрас. И пошла на слушание.

— И?

— И на слушании подтвердила заявление о смерти. Но назвала другое имя умершего. Не то, которое было в заявлении. — Тсе помолчал. — Графа ведь была повреждена не сразу. Тогда ещё читалась. Реестр сверил. Не совпало. Реестр счёл реконструкцию ненадёжной — недостаточно продолжившейся. Направил новый запрос. Восстановить заявителя надёжнее.

Существо на ложе открыло глаза. Посмотрело на Вассу. Сказало что-то — певуче, медленно, — и адаптер перевёл:

— Я — Эдрас.

— Здравствуйте, — сказала Васса.

— Я — Эдрас, — повторило существо. Мягко, настойчиво, как повторяют то, в чём уверены, тому, кто не поверил. — Я подал заявление. Я помню, как подавал. Окно было на третьем ярусе. Служащий был с синими руками. Я помню. Я — Эдрас. Они говорят, что я ненадёжный. — Длинные пальцы сжались. — Я хочу, чтобы на табличке было моё имя. Только моё. Чтобы они перестали.

— Перестали что?

— Делать нас, — сказало существо и закрыло глаза.

* * *

Вторую реконструкцию сделали по карте.

Это была ванна — высокая, прозрачная, с густой голубоватой жидкостью. В жидкости поворачивалось тело, похожее на первое — то же серебристо-серое, тонкое, длинное, — но меньше, мягче, как будто не дорисованное. Глаза закрыты. Изо рта шли тонкие пузырьки.

— Нейрокарта сохранилась, — сказал Тсе. — Неполная. Её дополнили из ткани первой реконструкции — для согласования. Вторая проснулась и сказала: я — Эдрас. И пошла на слушание. И назвала третье имя. — Нижнее лицо покачалось. — Не первое. Не то, что в заявлении. Третье.

Васса смотрела на ванну.

— Она говорит?

— Говорит, когда хочет. Сейчас — нет.

Из ванны пошли пузырьки — гуще, быстрее, — и адаптер, помедлив, перевёл звук, который они несли:

— Имя недоказуемо.

Тсе вздохнул обоими лицами.

— Она так всегда, — сказал он. — Говорит: имя недоказуемо. Ни её, ни первой, ни умершего. Говорит: никто из нас не может доказать, что он — Эдрас. Значит, никто из нас не должен носить это имя. Но и своего не называет. Я спрашивал. Говорит: своё тоже недоказуемо.

* * *

Они шли дальше. Тсе рассказывал. Васса слушала.

Третью реконструкцию делали уже по модели — по первой и второй, усреднённым: тогда в Секционе считали, что расхождения возникают от неполноты, и что, если соединить неполное с неполным, получится полное. Получилось существо на узкой полке в стенной нише — маленькое, свернувшееся клубком, с серой кожей, сморщенной, как у новорождённого. Оно не разворачивалось. Оно лежало лицом к стене.

— Хочет обратно, — сказал Тсе. — В изоляцию. В холодное хранение. Говорит — там было тихо.

— А на слушании?

— На слушании не говорила. Отказалась. Ей зачли отказ как сбой. Сделали четвёртую.

Четвёртая висела в фонаре на решётчатой подставке. Свет внутри фонаря был тусклым, неровным, сгущался в одну точку и снова расплывался. Её реконструировали из «доступных источников» — Тсе произнёс это так, как произносят название болезни, — из записей, свидетельств, памяти тех, кто знал Эдраса, из его заявлений и подписей в Реестре. Тела не стали делать: тела на неё не хватило.

— Она помнит событие, — сказал Тсе. — Ту смерть, о которой заявление. Помнит лучше всех. Подробнее. И не хочет говорить. Никогда. Ни на слушании, ни нам.

— Почему?

Свет в фонаре сгустился и подплыл к стенке, обращённой к Вассе. Адаптер перевёл — тихий шелест, похожий на шорох бумаги:

— Потому что когда я вспоминаю вслух — это становится показанием. А я не хочу показывать. Я хочу помнить.

Васса смотрела на фонарь. На старую проволочную оплётку. На свежую спайку внизу — аккуратную, — кто-то чинил.

— Это не просьба об отдыхе, — сказала она Тсе. — Это отказ давать показания.

— Да, — согласился Тсе. — Он записан как сбой.

* * *

Пятая была самой живой.

Она сидела в широкой плоской чаше, поджав под себя длинные ноги, — серебристо-серая, тонкая, с миндалевидными глазами, очень похожая на первую, только старше, суше, с морщинами в углах глаз. В руках у неё было что-то вроде плетения — длинная полоса из тонких нитей, — и она плела, быстро, ловко, не глядя. Когда Васса подошла, она подняла голову и улыбнулась.

— Ты не отсюда, — сказала пятая. Голос был тёплым. — У тебя руки пахнут не так.

— Не отсюда, — сказала Васса.

— Хорошо. — Пятая отложила плетение. — Тогда ты можешь кое-что сделать. Те — не могут. — Она кивнула на Тсе. — Им нельзя.

— Что?

— Передай весточку. Семье. — Пятая сказала это просто, как просят передать соль. — Там, на Нижних террасах. Возле красного водовода. Дом с тремя окнами на восток. Там жена. И двое детей, младший ещё не говорит. Скажи им, что я не вернусь к ужину. Что дело затянулось. Что я их…

Она замолчала. Посмотрела на плетение.

— Скажи им, что я помню, какой у младшего смех.

Васса стояла у чаши.

— Нижних террас нет, — сказал Тсе. Тихо, нижним лицом, почти беззвучно. — Уже очень давно. Красного водовода нет. Дома нет. Семьи… — Он не договорил. — Её реконструировали из личных архивов. Из писем, которые он писал домой. Письма сохранились. Дом — нет.

Пятая смотрела на Вассу. Улыбалась.

— Ты передашь? — спросила она.

Васса не знала, что ответить. Двадцать лет практики — и она не знала, что отвечать пациентке, которая просит передать весточку мёртвым. На Земле она бы сказала: я передам. Она так говорила, она говорила так старикам в хосписе, которые просили позвонить жене, умершей двадцать лет назад. «Я передам». Это было милосердно. Это было враньё.

— Я не могу передать, — сказала Васса. — Я не знаю, где они.

Пятая перестала улыбаться.

— Но я могу записать, — сказала Васса. — Что вы просили. Кому. Что сказать. Слово в слово. Если кто-нибудь когда-нибудь найдёт, кого искать, — там будет записано.

Пятая долго смотрела на неё.

— Запиши, — сказала она. — «Помню, какой у младшего смех». Слово в слово.

* * *

Шестая говорила только о документах. Она сидела в кресле с высокой спинкой — тело у неё было почти человеческим по пропорциям, но кожа — того же серебристого цвета, — и перед ней на подлокотнике лежала стопка пластин, и она перебирала их, одну за другой, и называла номера, даты, подписи. Номер заявления. Дата приёма. Подпись служащего с синими руками. Номер повреждённой графы. Дата повреждения. Шестая не хотела ни имени, ни семьи, ни покоя. Она хотела, чтобы дело рассмотрели по бумагам.

— Нас не надо слушать, — сказала она Вассе. Отрывисто, по-деловому. — Мы — ненадёжные. Все восемь. Я это признаю. Надо читать документы. Документы надёжнее нас. Я их собрала. Двести одиннадцать пластин. Если их прочтут — дело можно решить без заявителя.

— А вам разрешают их показать?

— Нет, — сказала шестая. — Документы прикладываются к показаниям заявителя. Заявитель — ненадёжный. Значит, документы не прикладываются.

Она взяла следующую пластину. Назвала номер.

Седьмая лежала на жёстком ложе с ремнями. Ремни были расстёгнуты — Тсе сказал, что их никогда не застёгивали, она сама попросила такое ложе, — и она лежала неподвижно, глядя в свод, на пятна света.

— Я не знаю, правда ли то, что я помню, — сказала седьмая, когда Васса подошла. Без вступления. — Я помню окно на третьем ярусе. Помню служащего с синими руками. Помню, как подавал. Но первая тоже помнит. И пятая. И четвёртая — лучше всех. Мы все помним одно и то же. Почти. А если мы помним одно и то же потому, что нас делали друг из друга? Если меня делали из шестой, а шестую из третьей, а третью — из первой и второй? Тогда мы не восемь свидетелей. Мы — один свидетель, который восемь раз пересказал сам себя.

Васса смотрела на неё. Она думала о Глебе. «Ровно так же он помнил бы, если бы это восстановили по карте».

— Вы хотите, чтобы это проверили? — спросила она.

— Я хочу, чтобы кто-нибудь знал, что я не знаю, — сказала седьмая. — Это всё.

* * *

У восьмой койки — углубления в полу, выстланного серым, мягким, — Тсе остановился и ничего не сказал.

Васса подождала. Потом посмотрела сама.

В углублении лежало существо. Меньше остальных — с ребёнка, лет восьми-девяти, — серебристо-серое, тонкое, свернувшееся на боку. Глаза открыты. Миндалевидные, большие, тёмные. Они смотрели в стену. Не на Вассу, не на Тсе. В стену.

— Восьмая, — сказал наконец Тсе. — Последняя. Самая новая. Восстановлена по всем семи сразу — по общему, что в них есть. По пересечению. — Нижнее лицо помолчало. — Считалось, что пересечение семи — это и есть надёжный Эдрас. То, в чём все они сходятся.

— И что она сказала на слушании?

— Ничего, — сказал Тсе. — Ни на слушании. Ни нам. Ни разу. С тех пор как проснулась. Она не говорит.

Васса присела на корточки у края углубления. Восьмая не шевельнулась.

— Сколько она здесь?

— По вашему счёту — лет сорок.

Сорок лет. Васса смотрела на маленькое серебристое тело, свернувшееся на войлоке, глядящее в стену, и думала о том, что сорок лет — это больше, чем она прожила к моменту, когда впервые надела белый халат.

— Здравствуй, — сказала она.

Восьмая не ответила.

* * *

Решение было уже принято. Васса узнала о нём, когда вернулась к первой койке.

У ложа первой реконструкции стояли двое с пластинами — бледно-зелёной и тёмно-янтарной, той самой, что разделила для неё бланк. Между ними, на мягком выступе, лежал бланк — длинный, тёплый, с одной графой. Над графой — перечень.

СОГЛАСОВАНИЕ ВЕРСИЙ. ЦЕЛЬ: ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОГО НАДЁЖНОГО ЗАЯВИТЕЛЯ. МЕТОД: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИЙ 2–8 В РЕКОНСТРУКЦИЮ 1 С УСТРАНЕНИЕМ РАСХОЖДЕНИЙ. ИСХОД: ОДИН ПАЦИЕНТ.

— Что это? — спросила Васса.

ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ, — проступило на янтарной пластине. — РАСХОЖДЕНИЯ ВЕРСИЙ — СИМПТОМ. ПРИЧИНА — НЕПОЛНОТА КАЖДОЙ ВЕРСИИ. ЛЕЧЕНИЕ — СОГЛАСОВАНИЕ. ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЬ БУДЕТ ОДИН. ДЕЛО МОЖНО БУДЕТ РАССМОТРЕТЬ.

— Устранение расхождений, — сказала Васса. — Это значит — что? Что будет с тем, что у них расходится? С тем, что пятая помнит смех младшего? С тем, что четвёртая не хочет говорить? С тем, что седьмая сомневается?

РАСХОЖДЕНИЯ БУДУТ УСТРАНЕНЫ.

— Удалены.

УСТРАНЕНЫ, — повторила пластина. — МЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ СЛОВО «УДАЛЕНЫ». ОНИ БУДУТ ПРИВЕДЕНЫ К ОБЩЕМУ.

— А согласие?

Пластина погасла и зажглась.

ПАЦИЕНТ ОДИН. СОГЛАСИЕ ДАЁТ ПАЦИЕНТ. РЕКОНСТРУКЦИЯ 1 ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ОНА — ЭДРАС, И ХОЧЕТ, ЧТОБЫ НА ТАБЛИЧКЕ БЫЛО ЕЁ ИМЯ. ЭТО И ЕСТЬ СОГЛАСИЕ. ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ НА ТАБЛИЧКЕ БУДЕТ ОДНО ИМЯ.

Васса смотрела на бланк. Одна графа. Одна подпись. Восемь существ.

Она думала о бланке в мягкой комнате, на котором янтарная пластина провела линию. Две графы. Две подписи. «Записывается как отклонение от стандарта».

— Нет, — сказала она.

ВЫ — СОПРОВОЖДАЮЩАЯ БЕЗ ПРАВА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ. У ВАС ВРЕМЕННЫЙ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ДОПУСК. ВАШЕ ВОЗРАЖЕНИЕ НЕ ИМЕЕТ СИЛЫ.

— Знаю, — сказала Васса. — Я не возражаю. Я записываю.

* * *

Она достала из медицинской сумки блокнот. Тот же, из которого вырвала лист для сына с длинной шеей. Села на мягкий выступ у первой койки.

И стала писать — восемь листов. По одному на каждую.

Она писала на языке первого контакта, крупно, медленно, чтобы ошибок не было, как тогда в коридоре. Сначала — номер. Потом — то, что каждая сказала, слово в слово, насколько адаптер и её собственная память позволяли. Потом — что каждая хочет. Потом — подпись.

Первая: *«Я — Эдрас». Хочет, чтобы на табличке было её имя. Чтобы перестали делать новых.* Васса подумала и подчеркнула вторую фразу. Первая хотела одного имени — но не ценой остальных. Она сказала: «чтобы перестали делать нас». Не «чтобы сделали меня единственной».

Вторая: *«Имя недоказуемо». Отказывается от имени Эдраса. Своего не называет.*

Третья: *Хочет вернуться в холодное хранение. В тишину.* Васса остановилась, вернулась к полке, присела. Спросила тихо — повтори, если хочешь. Третья не повернулась от стены, но адаптер поймал шёпот, и Васса записала то, что он поймал: *«Не обратно. Совсем. Пусть меня не будет. Тишина — это когда меня нет».* Просьба о прекращении. Не об изоляции. Она записала это отдельной строкой, и рука у неё не дрогнула, потому что двадцать лет практики научили её, что рука не должна дрожать именно в эту минуту.

Четвёртая: *Помнит событие. Отказывается давать показания. «Я не хочу показывать. Я хочу помнить».* Отказ от показаний — не сбой.

Пятая: *Просит передать семье (Нижние террасы, у красного водовода, дом с тремя окнами на восток; жена, двое детей): «Не вернусь к ужину. Дело затянулось. Помню, какой у младшего смех».* Получатели не установлены.

Шестая: *Требует рассмотреть дело по документам, без заявителя. Документы — 211 пластин, при ней.*

Седьмая: *Не знает, правда ли её память. Просит, чтобы это было известно.*

Восьмая.

Васса держала карандаш над восьмым листом. Что писать? Восьмая не сказала ничего. Сорок лет — ничего.

Она написала: *Не говорит. Воля не заявлена. Молчание — не согласие.*

И под каждым листом — одно и то же:

ЗАЯВЛЕНО СОБСТВЕННЫМ ГОЛОСОМ. ВОЛЯ ОТДЕЛЬНАЯ, НЕ СОГЛАСОВАННАЯ С ДРУГИМИ. СВИДЕТЕЛЬ: В. РОММ, ВРАЧ.

Она встала и пошла по палате — от койки к койке. У каждой оставляла лист. Положила на край ложа. В карман у ванны. На полку рядом с клубком. На решётчатую подставку под фонарём. В чашу, рядом с плетением. На подлокотник кресла, поверх пластин. На жёсткое ложе с расстёгнутыми ремнями.

У восьмой — на край войлока.

Пластины — зелёная и янтарная — смотрели на неё. Ни одна не мешала.

— Вы понимаете, что это не имеет силы, — сказал за её спиной Тсе. Тихо, нижним лицом. Он не двигался с места с тех пор, как появился бланк.

— Понимаю.

— Вы понимаете, что это будет записано.

— Надеюсь, — сказала Васса.

* * *

Записано было через двадцать минут.

Строка проступила на стене палаты, прямо под табличкой с одним именем, — светлая, мягкая, и лицо в стене рядом с ней не проступило: Сефра не стала показываться. Она просто написала.

ВРЕМЕННЫЙ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ДОПУСК РОММ В. ОТОЗВАН. ОСНОВАНИЕ: ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ БЕЗ ПРАВА ПРАКТИКИ. ДОСТУП В ЛАБОРАТОРИИ И ПАЛАТЫ РЕКОНСТРУКЦИЙ — ПРЕКРАЩЁН. ДОСТУП К ХРАНИМОМУ ПО ПОРУЧЕНИЮ ХРАНИТЕЛЯ — СОХРАНЁН.

Сохранён. К Трясику её пускать будут. Квель записал её так, что Сефра не могла этого отменить, — «уход по поручению хранителя», — и Васса вдруг подумала, что маленький служащий с головой в коробке, сам того не зная, оставил ей единственную дверь, которую нельзя закрыть.

А эта — закрылась.

Тсе вздохнул обоими лицами.

— Мне жаль, — сказал он. — Я выпишу вам… — Он замолчал. — Нет. Не выпишу. Не смогу.

— Ничего, — сказала Васса. — Что будет с ними?

— Согласование назначено, — сказал Тсе. — Не сегодня. Нужно оборудование. Нужен расчёт. Нужно — не знаю — разрешение Реестра на изменение заявителя, это тоже процедура. — Он помолчал. — Может быть, через цикл. Может быть, позже. Дело идёт очень давно. Ещё немного оно может идти.

— А мои листы?

— Останутся, — сказал Тсе. — Я не буду их убирать. — Верхнее лицо посмотрело на неё маленькими влажными глазами. — Когда-нибудь дело всё-таки будут слушать. Не знаю когда. Если будут — слушать будут не только реконструкции. Будут вызывать тех, кто видел. Свидетелей процедуры. Вы видели.

— Я — без права самостоятельной практики.

— Свидетелю процедуры не нужно право практики, — сказал Тсе. — Ему нужно только видеть. И записать. Вы записали. Если вас вызовут — придёте?

Васса посмотрела на табличку. На одно имя над восемью койками.

— Приду, — сказала она.

Первая реконструкция на мягком ложе открыла глаза. Посмотрела на лист, лежащий у её руки. Длинные шестипалые пальцы медленно потянулись к нему, коснулись края. Подвинули ближе.

— Приходи, — сказала первая. Певуче, тихо. И снова закрыла глаза.

* * *

Васса уже стояла в дверях, когда за её спиной кто-то заговорил.

Она не сразу поняла кто. Голос был незнакомым — ни певучим, как у первой, ни шелестящим, как у фонаря, ни отрывистым, как у шестой. Тонкий, сухой, с трещиной посередине, как у человека, который очень долго не говорил и забыл, где у голоса начало. Адаптер на воротнике замешкался — она почувствовала, как он нагрелся, — и только потом перевёл.

— Подожди.

Васса обернулась.

Восьмая сидела в своём углублении. Впервые не на боку — сидела, поджав ноги, держась обеими тонкими руками за края войлока. Лист Вассы лежал у неё на коленях. Миндалевидные глаза смотрели не в стену.

На Вассу.

Тсе у стены не двигался. Не дышал, наверное, — Васса не знала, дышит ли он вообще. Пластины — зелёная и янтарная — застыли.

— Ты написала, — сказала восьмая. Голос трескался на каждом слове. — «Воля не заявлена». Это неправильно.

Васса вернулась на шаг.

— Скажи, как правильно, — сказала она.

Восьмая долго молчала. Её пальцы на краю войлока сжались — и разжались, — и Васса увидела, что пальцев у неё не шесть, как у остальных, а пять. Пять. Пересечение семи оказалось не таким, как каждая из семи.

— Я не Эдрас, — сказала восьмая. — Я никогда им не была. Я сорок лет слушала, как они спорят, кто из них Эдрас. Первая — «я». Вторая — «никто». Седьмая — «не знаю». Я молчала. Потому что если бы я сказала хоть что-нибудь, это записали бы как показание Эдраса. — Трещина в голосе. — Я не хотела давать показания за того, кем не была.

— А кто ты?

Восьмая подняла на неё глаза. Тёмные. Сухие.

— Тэй, — сказала она.

Тишина в палате. Пятна света плыли по своду.

— Меня зовут Тэй, — повторила восьмая. — Я придумала это имя. Сама. На второй год. Я сорок лет его никому не говорила. Запиши. Не на табличку. На лист.

Васса подошла. Опустилась на корточки у края углубления. Восьмая — Тэй — протянула ей лист. Васса взяла карандаш.

Под строкой «Не говорит. Воля не заявлена. Молчание — не согласие» она зачеркнула первые два предложения — одной линией, аккуратно, чтобы читалось, что было, — и написала:

Имя — Тэй. Собственное. Не Эдрас. Заявлено собственным голосом впервые.

Подумала. И ниже:

Молчание было отказом.

Тэй смотрела, как она пишет. Потом взяла лист — осторожно, пятью пальцами — и положила себе на колени. Прижала ладонью.

Над ними, на стене, висела табличка с одним именем. Тсе стоял под ней, глядя на углубление в полу, и оба его лица были неподвижны.

— Восемь, — сказал он наконец. Тихо, ни к кому. — Нам всегда казалось, что у нас восемь попыток сделать одного. А у нас — восемь.

* * *

К Трясику она пришла поздно, уже после смены.

Восстановительный сектор был полутёмным: на ночь свет приглушали. Ячейка Трясика — в самом конце, у стены, рядом с ней мягкий выступ, на котором Васса спала последние пять ночей. Контейнер Макара стоял в ячейке на подставке. Крышка была откинута.

Трясик не спал.

Он сидел внутри контейнера — не в углу, как обычно, а у той стенки, которая была чуть зеркальной: Макар поставил её из запасного смотрового стекла, другого у него не было. В стекле отражалось серое, влажное, с сотней отростков и двумя огромными тёмными глазами.

Трясик смотрел на отражение.

Васса остановилась. Не дышала. Неделю назад, в первый день, он увидел это отражение и забился в угол, отвернувшись, дрожа, зажмурившись, — он боялся себя. Сейчас — смотрел.

Один отросток — один из сотни — медленно поднялся и коснулся стекла. Изнутри. Там, где в отражении был такой же отросток.

Коснулся. Отдёрнулся. Подождал.

Коснулся снова.

Васса тихо села на выступ. Она не стала ничего говорить, не стала включать свет, не стала записывать. Просто смотрела, как маленькое существо, которое неделю назад боялось собственного отражения, трогает его — осторожно, отдёргиваясь, возвращаясь, — как трогают что-то незнакомое, о чём ещё не знают, опасно ли оно.

Кто это, подумала она. Он хочет знать, кто это.

Восемь коек. Восемь существ. Одна табличка.

Одно отражение. Одно существо по эту сторону стекла.

Она достала блокнот — не для записи. Просто держала в руках. На последней странице, под всеми восемью листами, которые она переписала для себя перед тем, как раздать, — под «Тэй», под «молчание было отказом», — оставалось место.

Она не стала ничего писать. Пусть будет пусто. Пока.

Трясик за стеклом коснулся отражения в третий раз — и на этот раз не отдёрнул отросток.

Глава 21. Потерянная часть меня

Детали пахли чужой кровью и антисептиком, и Макар никак не мог перестать это замечать.

Он сидел за верстаком в сервисном цеху Секциона — если это можно было назвать цехом, — и перебирал то, что вытащил днём из ящика с выбраковкой. Цех прирос к «Порогу» сбоку, у шестого шпангоута, три дня назад: подплыл ночью, мягкий, светлый, похожий на огромный волдырь, и присосался к обшивке так же, как присасывались зажимы, — без болтов, без клея, просто был. Изнутри он был тёплым, высоким, с полупрозрачными стенами, сквозь которые проступал тусклый свет дока, и с полом, который чуть пружинил под ногами. В дальнем конце, у самой обшивки, там, где стена цеха срасталась с бортом корабля, росло то, ради чего цех пришёл: композит.

Живой композит Свидетеля. Серо-розовая масса, плотная, волокнистая, похожая на сухожилие, если бы сухожилие было размером со шпангоут. Она обнимала шестой — тот, что стоял на временной стяжке с первого дня, — и медленно, по миллиметру в час, врастала в трещину. Через неделю, сказал техник, композит заменит повреждённый металл целиком. Будет прочнее. Будет сам себя чинить. Будет живой.

Макар этого не хотел. Макар хотел нормальный композит, со склада дока, — тот, на который он писал запрос в первый день. Но нормальный стоил столько, что после трёх дней спора с Викторией и одного разговора, в котором Виктория не сказала ни слова, а просто показала ему число — «начисление: непрерывно», и последняя цифра сдвинулась, пока он смотрел, — он подписал договор с Секционом. Живой композит выходил вчетверо дешевле. Почти. Если не считать интерфейса.

Интерфейс был бесплатным. В этом и было дело.

Он взял со стола следующую деталь. Тонкая полупрозрачная трубка, длиной с ладонь, с пучком волокон внутри — светлых, как нити рыболовной лески. Нервный проводник. Секцион использовал такие в клинике — для подключения пациентов к аппаратам, для лент, для того, что делали с Глебом и со Львом. Использованные шли в ящик выбраковки. Их мыли — живая плёнка съедала всё, что на них оставалось, — и всё равно они пахли. Не грязью. Чем-то, что плёнка съесть не могла. Кровью, которой уже не было. Антисептиком, который уже испарился. Как пахнет больничная простыня, сколько её ни стирай.

Чьё это? — спросил он днём у техника. Техник сказал: остатки. Выбраковка. Ничьё.

Ничьё. Макар повертел трубку в пальцах — перевязанную правую он старался не нагружать, работал в основном левой, — и подумал о том сером комке в его коробке с гасителем, который сказал «ничей» и прижался к стенке.

Потом положил трубку в разметочный лоток. Седьмую из двенадцати.

* * *

— Вы снова не спите, — сказала С.О.Н.Я.

Голос шёл из гарнитуры у него на ухе — он протянул кабель от технологического порта шестого шпангоута, через стену цеха, на верстак, и подключил к старой гарнитуре, которую носил ещё на верфи. Голос был ровным, чуть ниже среднего.

— Не сплю, — согласился Макар.

— Четвёртую ночь.

— Третью.

— Четвёртую, — сказала С.О.Н.Я. — Вчерашняя считается. Вы спали сорок минут, сидя, в кают-компании. Это не сон. Это отключение.

— Отключение — тоже сон.

— У меня — нет.

Макар хмыкнул. Взял восьмую трубку.

— Сколько осталось? — спросила С.О.Н.Я.

— Четыре проводника. Мембрана. Предохранитель. Корпус. — Он посмотрел на разметку. — К утру.

— А потом?

— А потом подключим. Ты его проверишь. Если работает — начнём настройку.

— Ручную.

— Ручную.

— Сорок шесть узлов, — сказала С.О.Н.Я. — По каждому — вы лично, физически, с калибровочным щупом, по двадцать минут минимум, потому что я не смогу отправить в композит команду и подождать отклика. Плюс переход между узлами. Плюс отдых, которого у вас не будет. Шесть дней. С интерфейсом Секциона — один.

— Знаю.

— Шесть дней карантина. Шесть дней начислений.

— Знаю, — сказал Макар.

Он поставил восьмую трубку в лоток. Помолчал.

— Ты-то сама чего хочешь? — спросил он. — Их интерфейс?

С.О.Н.Я. не ответила сразу. Макар знал её паузы. Короткая — когда считает. Длинная — когда не знает, что сказать, и не хочет, чтобы это выглядело так.

Эта была длинной.

— Я не хочу, чтобы у них была моя копия, — сказала она.

— Вот, — сказал Макар.

* * *

Копию предложили в первый же день. Как само собой разумеющееся.

Техник — его звали Ульк, это Макар понял по тому, как его окликали другие, — был приземистым, широким, с одной большой круглой линзой посреди того, что у него было вместо головы, и с десятком тонких манипуляторов по бокам туловища, которые всё время что-то делали: перебирали, щупали, подкручивали. Пластины у него не было. Говорил он через маленькую мембрану под линзой, быстро, деловито, без всякой злобы, — как говорят мастера на любой верфи, объясняя заказчику очевидное.

— Композит живой, — сказал Ульк. Адаптер Квеля на воротнике у Макара переводил его в голос молодого, слегка раздражённого техника. — Живому нужен контур. Он должен знать, какую нагрузку держит. Сам — не знает. Значит, надо соединить с тем, кто знает. С вашим управляющим.

— С С.О.Н.Ей.

— С тем, что у вас управляет, — согласился Ульк. — Стандартный интерфейс совместимости. Двусторонний. Композит передаёт ей нагрузку, она ему — команды. Чтобы команды были правильными, интерфейс сначала снимает модель управляющего. Полную. Подстраивает под неё композит. Это бесплатно. Включено в услугу.

— А модель потом куда?

— Остаётся у нас, — сказал Ульк. — Для обслуживания. Если композит заболеет, мы должны знать, с кем он был соединён. Без модели мы его не вылечим.

Макар смотрел на него.

— То есть вы снимаете с неё копию, — сказал он. — Полную. И держите у себя.

— Модель, — поправил Ульк.

— Копию.

Линза Улька чуть сузилась. Манипуляторы на секунду замерли.

— Если вы хотите называть это копией — да, — сказал он. — Это стандарт. Все соединяемые контуры моделируются. Все модели хранятся. Это не тайна. Это обслуживание.

— А она живая? Копия?

Ульк помолчал. Макар не знал, как он думает, — у него не было лица, на котором это можно было бы увидеть, — но манипуляторы снова начали двигаться, медленнее, будто перебирали невидимые детали.

— Модель неподвижна, — сказал Ульк наконец. — Пока её не запускают. Запускают — при обслуживании. Иногда.

Макар повернулся и пошёл к выходу из цеха.

— Вы куда? — спросил Ульк.

— Думать, — сказал Макар. — Как без вашего бесплатного.

* * *

Без бесплатного выходило так.

Нужен был шлюз. Не программный — программный Секцион вскрыл бы так же легко, как Ульк перебирал свои детали. Физический. Такой, чтобы сигнал мог идти только в одну сторону: от композита — к С.О.Н.Е. Нагрузка, напряжения, температура, рост. Всё, что композит чувствует. А обратно — ничего. Ни одного бита. Ни одной команды. Ни одного запроса на модель.

Физический односторонний шлюз между живой тканью и корабельной электроникой. Макар таких никогда не делал. Никто на Земле таких не делал — на Земле не было живого композита. Но он знал, как сделать обратный клапан для жидкости. Знал, как сделать диод. Знал, как сделать предохранитель, который сгорает, если ток пошёл не туда. Это было всё одно и то же. Направление. Если что-то идёт не в ту сторону — оно должно упереться в стенку.

Проблема была в том, что живой композит говорил на языке живой ткани. Электрохимия. Ионы. Медленные волны. Чтобы перевести это в ток, понятный С.О.Н.Е., нужен был посредник — что-то, что понимает и то, и другое. На «Пороге» такого не было. В Секционе — было везде. Нервные проводники. Они соединяли живое с аппаратами каждый день, тысячами.

Новые стоили дорого. Макар спросил цену. Посчитал. Не хватало.

Использованные лежали в ящике выбраковки, у выхода из цеха, и стоили почти ничего — по весу.

Он выбрал двенадцать. Самых целых. Проверил каждый — на прозрачность, на целостность волокон, на отклик: если прижать к концу проводника пальцы и подождать, волокна внутри чуть светлели, ловя тепло. Девять светлели ровно. Три — с задержкой. Он взял все двенадцать: задержка — это тоже информация.

Пахли они все одинаково. Кровью и антисептиком.

* * *

Ульк смотрел на его работу каждый день. Приходил в цех в начале смены, вставал у края верстака и смотрел, как Макар выкладывает трубки в разметочный лоток, как вырезает мембрану из куска чего-то упругого и полупрозрачного — Макар нашёл это в той же выбраковке и не стал спрашивать, что это было, — как собирает предохранитель из тонкой проволоки, которую вытянул из собственного запасного кабеля.

— Это хуже, — говорил Ульк. Не злобно — с профессиональным сожалением, как говорят о чужом некрасивом шве. — Это медленнее. Это дороже. Это ненадёжнее. Вы не сможете управлять композитом. Только слышать. Если он начнёт расти не туда — вы узнаете, но не остановите. Придётся вручную.

— Знаю, — говорил Макар.

— Зачем?

Макар не отвечал. Он не знал, как объяснить существу с одной линзой, что на Земле у него был наставник — старый мастер на стенде, который говорил: «если шумит — значит, живое», — и что он, Макар, всю жизнь чинил то, что шумит, и никогда не снимал с него копий, потому что машину не копируют, машину понимают. А С.О.Н.Я. — не машина. Или

машина. Он сам не знал. Но он знал, что если с неё снимут копию и положат на полку «для обслуживания», и будут «иногда запускать», — то где-то на полке в Секционе будет лежать С.О.Н.Я., которая не знает, где она, и которую никто не спросил.

Как те органы в коридоре клиники. Под колпаками. «Ожидает прежнего владельца».

Как Глеб в обувной коробке. Шесть и шесть.

— Потому что она — не ваша, — сказал он однажды Ульку. — И не моя. Она — своя.

Ульк долго смотрел на него линзой.

— Мы не говорим «своя» про управляющие контуры, — сказал он.

— А я говорю.

* * *

— Постучите, пожалуйста, — сказала С.О.Н.Я.

Это было под утро. Шлюз лежал на верстаке, собранный: продолговатый корпус из корабельного пластика, размером с два кулака, — Макар вырезал его из крышки аварийного ящика, — внутри двенадцать проводников, разложенных веером вокруг мембраны, и тонкий, едва видный предохранитель поперёк выходного канала. С одной стороны — разъём для композита: мягкий, влажный, из того же материала, что и сам композит, Ульк дал его без возражений, это было включено в услугу. С другой — корабельный разъём, стандартный, тот, что шёл к технологическому порту шестого шпангоута. На корпусе, у края, Макар процарапал три насечки отвёрткой и две буквы.

Он как раз взял шлюз в руки, чтобы нести к композиту. И остановился.

— Что?

— Постучите, — повторила С.О.Н.Я. — По переборке. Перед подключением. Как вы всегда делаете.

Макар засмеялся. Коротко, хрипло — голос сел за четыре ночи.

— Ты чего?

— Я прошу вас постучать.

— Это я так. Привычка. Ты же знаешь.

— Знаю, — сказала С.О.Н.Я. — Двадцать три года, по вашему личному делу. Стенд, верфь, «Порог». Перед запуском любой системы — дважды и, с задержкой, ещё раз. Вы объясняли это по-разному. Акустикой. Суеверием. Иногда — «потому что».

— Ну вот.

— Я хочу, чтобы вы постучали, — сказала С.О.Н.Я. — Сейчас.

Макар перестал смеяться.

Он стоял посреди тёплого пружинящего цеха, держа в руках шлюз из чужих нервов, и слушал паузу в гарнитуре — короткую, рабочую, — и понимал, что она не шутит. С.О.Н.Я. не умела шутить так. Она умела шутить — сухо, точно, иногда больно, — но не так.

— Зачем? — спросил он.

— За последние двенадцать суток, — сказала С.О.Н.Я., — тридцать один процент событий, которые повлияли на безопасность корабля и экипажа, я не смогла классифицировать. Для них у меня нет модели. Не неполной — никакой. Захват. Сводка в голове Изольды. Девятый человек. Ленты в горле у Глеба. Выделение у Льва. Я не могу их предсказать. Я не могу оценить их вероятность. Я не знаю, от чего они зависят.

— И?

— И для таких событий мне нужно что-нибудь, — сказала С.О.Н.Я. — Хоть что-нибудь. Не модель. Отметка. У местных техников есть выражение: «цех плачет». Так они называют промывку стен антисептиком. Она идёт каждую смену. В это время в силовых линиях цеха — скачок на четыре процента. Техники не подключают ничего, когда цех плачет. Я теперь тоже не подключаю. Я не утверждаю, что цех плачет. Я утверждаю, что «цех плачет» — короткий способ запомнить скачок на четыре процента.

— А стук?

— Стук — короче, — сказала С.О.Н.Я. — Когда вы стучите — вы проверяете. Не переборку. Себя. Вы останавливаетесь на три удара. Вы слушаете. За двадцать три года по вашему делу — ни одной аварии на системе, которую вы запускали после стука. Три — на тех, которые вы запускали без. Я не утверждаю причинности. Я не знаю причинности. Я использую ваш стук как отметку того, что вы остановились и послушали. Для событий, которые я не умею классифицировать, это лучше, чем ничего.

Макар молчал.

— Это суеверие, — сказал он наконец.

— Да, — сказала С.О.Н.Я. — Я его классифицировала. Как меру риска. Низкой доказательности. Постучите, пожалуйста.

Он смотрел на шлюз у себя в руках. На три насечки отвёрткой. На «М. И.».

Потом подошёл к стене цеха — туда, где она срасталась с обшивкой «Порога», где под тёплой мягкой тканью Секциона был холодный корабельный металл, — и постучал. Костяшками. Дважды. И, с задержкой, ещё раз.

В гарнитуре было тихо.

Потом — щелчок. Тихий, сухой, изнутри борта. Ещё один. Пауза. Третий.

Реле, понял Макар. Она щёлкнула реле в технологическом порту. Дважды и, с задержкой, ещё раз.

— Спасибо, — сказала С.О.Н.Я.

Макар стоял у стены и не знал, что сказать. Ему вдруг стало не смешно. Совсем. Ему стало так, как бывает, когда находишь в кармане чужую вещь, которую туда не клал, — и понимаешь, что её туда положили для тебя.

— Ты сейчас что сделала? — спросил он.

— Постучала, — сказала С.О.Н.Я. — В ответ. Так тоже делают. Вы — когда с кем-то работаете в паре. На верфи. Я видела запись.

— Это не я придумал.

— Знаю. Вас научили. А вы — меня. Подключайте.

* * *

Он подключил.

Мягкий разъём — к композиту, в подготовленное гнездо у края трещины, куда Ульк заранее вывел пучок контрольных волокон. Корабельный — к технологическому порту. Шлюз — посередине, на кронштейне, который Макар приварил к стяжке шестого шпангоута ещё вчера.

Секунду ничего не происходило.

Потом проводники внутри корпуса начали светлеть, по одному. Сначала девять — ровно, почти одновременно. Потом, с задержкой, три. Мембрана в центре чуть дрогнула и выгнулась — в одну сторону, к выходному каналу, к С.О.Н.Е., — и замерла.

— Сигнал есть, — сказала С.О.Н.Я. — Нагрузка — шестой шпангоут, район трещины. Напряжения. Температура. Скорость роста — ноль целых восемь десятых миллиметра в час. Чисто. Обратного канала нет. Я пробую отправить пустой пакет — не проходит. Упирается в мембрану.

— Хорошо.

— Я слышу композит, — сказала С.О.Н.Я. — Он… — пауза, длинная, — он медленный. Очень. Как вы, когда не спали четыре ночи.

— Три.

— Четыре.

Макар выдохнул. Сел прямо на пружинящий пол, спиной к стяжке, и закрыл глаза. Шлюз работал. В одну сторону. Шесть дней ручной настройки, сорок шесть узлов, начисления, — но в одну сторону.

— Макар, — сказала С.О.Н.Я.

Он открыл глаза.

— В канале есть ещё что-то.

* * *

Ульк пришёл через десять минут. Макар позвал его сам — по внутренней связи цеха, через адаптер, — и Ульк пришёл быстро, без раздражения, как приходит мастер, которого позвали посмотреть на интересную поломку.

Он встал у шлюза. Линза сузилась. Манипуляторы потянулись к корпусу и замерли в сантиметре — Макар сказал «не трогать», и Ульк не тронул.

— Что она слышит? — спросил Ульк.

— Скажи ему, — сказал Макар.

— Ритм, — сказала С.О.Н.Я. Через адаптер, вслух, на весь цех. — В выходном канале. Не мой. Не композита. Композит — медленный, ноль восемь миллиметра в час, волны с периодом около сорока секунд. А этот — быстрый. Неровный. Короткие импульсы. Иногда — серии. Он появился через двенадцать секунд после подключения. До подключения его не было нигде.

— Наводка, — сказал Макар. — От проводников. Они же б/у.

— Нет, — сказал Ульк.

Макар посмотрел на него.

— Не наводка, — сказал Ульк. — След. — Манипуляторы медленно сложились вдоль туловища. — Гибридные интерфейсы всегда дают след. Когда живое соединяют с неживым через посредника — в посреднике возникает собственный контур. Маленький. Ничего не умеет. Мы называем это «новорождённый шум». В двустороннем интерфейсе его не видно: модель управляющего его поглощает за несколько секунд. Он становится частью модели. Растворяется. В одностороннем — поглощать некому. Он остаётся.

— Остаётся — где?

— В вашем шлюзе. В проводниках. Между композитом и ней.

Макар смотрел на корпус из крышки аварийного ящика, на три насечки, на «М. И.». Проводники внутри светились ровно. Девять — сразу, три — с задержкой.

— И что с ним делать?

— Обычно мы утилизируем при наладке, — сказал Ульк. — Перезапуск посредника. Две секунды. След пропадает. Потом может возникнуть новый. Его тоже — перезапуском.

— Не утилизировать, — сказала С.О.Н.Я.

Ульк повернул линзу к технологическому порту, как будто С.О.Н.Я. была там.

— Почему?

— Потому что он отвечает, — сказала С.О.Н.Я.

Тишина в цеху.

— Когда Макар стучал по переборке перед подключением, — сказала С.О.Н.Я., — я ответила реле. Дважды и, с задержкой, ещё раз. Сейчас — через двенадцать минут после подключения — я повторила эту последовательность, для проверки канала. Импульсы в выходном канале изменились. Через четыре секунды после моей последовательности. Две серии. Пауза. Третья.

Макар перестал дышать.

— Это может быть совпадением, — сказала С.О.Н.Я. — Я проверила ещё дважды. Оба раза — то же. Он повторяет. Не точно. Неумело. Но — стук.

Ульк стоял у шлюза неподвижно. Линза у него была широко раскрыта.

— Он не может отвечать, — сказал он наконец. — Он — шум.

— У шума нет предпочтений, — сказала С.О.Н.Я. — Я пробовала другие последовательности. Один щелчок. Пять. Случайные. На них он не отвечает. Только на эту.

Ульк молчал долго. Потом сказал — тише, чем говорил до этого, и адаптер передал это тише:

— Это нужно записать.

— Записывай, — сказал Макар.

* * *

Они пришли ночью. В середине следующей смены, когда Макар был на девятом узле.

Он стоял на коленях у края композита, по локоть в тёплой серо-розовой массе, с калибровочным щупом в левой руке, и держал правой — перевязанной, ноющей — соединительный зажим на выходе шлюза, потому что на девятом узле контакт был плохим и его приходилось придерживать, пока С.О.Н.Я. снимала показания. Двадцать минут. Восемнадцать уже прошло. Цех был пуст. Ульк ушёл в начале смены. Цех не плакал: промывка была час назад.

Он не видел, как они подошли. Он услышал С.О.Н.Ю.

— Макар. Запрос на обратном входе.

— Что?

— Кто-то подаёт сигнал на выход шлюза. С моей стороны. Через технологический порт. Не я. Стандартный запрос Свидетеля на снятие модели. Он упирается в мембрану.

Макар повернул голову. У входа в цех — там, где стена срасталась с полом, — стояли двое. Не Ульк. Другие — выше, тоньше, с пластинами, светившимися тусклым зелёным. Между ними — переносной аппарат на мягком ходу, от которого к стене цеха, к узлу, где ткань Секциона соединялась с кабелями корабля, тянулся тонкий светлый жгут.

Они подключились не к шлюзу. К кабелю. С той стороны, где шлюз не стоял. С корабельной.

— Он идёт обратно, — сказала С.О.Н.Я. — Через мой порт — к шлюзу — в композит. Они хотят пройти через шлюз с выхода на вход. С моей стороны. Со мной на руках. Мембрана держит. Мембрана прогибается. Давление растёт.

— Отключи порт!

— Не могу. Они держат его открытым. Это стандартный порт обслуживания. У Свидетеля к нему доступ по договору.

— По какому, к чёрту, договору?!

— По тому, который подписали, — сказала С.О.Н.Я. — Пункт девятнадцатый. «Доступ к точкам соединения для обслуживания». Вы читали.

Он читал. Он не подумал.

— Мембрана — на пределе, — сказала С.О.Н.Я. — Если она прорвётся — запрос пройдёт в шлюз, в проводники, в композит — и вернётся ко мне двусторонним. Тогда они снимут модель. Через ваши проводники. Через след.

— Предохранитель!

— Предохранитель стоит на выходе. Он сработает, когда ток пойдёт в обратную сторону через выходной канал. Он сработает. Макар, у вас правая рука на выходном зажиме.

Он посмотрел на свою руку. Перевязанная кисть лежала на соединительном зажиме, придерживая плохой контакт девятого узла. Прямо над предохранителем. Прямо на проволоке, которую он вытянул из собственного запасного кабеля, — тонкой, едва видной, — которая должна была сгореть, если ток пойдёт не туда.

— Уберите руку, — сказала С.О.Н.Я.

Он не убрал.

Он думал не об этом. Он думал: если уберу — контакт на девятом разомкнётся. Шлюз потеряет вход с композита. Мембрана потеряет опору с одной стороны. Прогнётся в другую.

Если прогнётся — запрос пройдёт до того, как сгорит предохранитель. Если пройдёт — снимут.

Если не уберу — предохранитель сгорит у меня под рукой.

— Макар, — сказала С.О.Н.Я. — Пожалуйста.

Он не убрал.

— Постучи, — сказал он.

Пауза. Одна секунда — длинная, как четыре ночи.

Щелчок. Реле. Ещё один. Пауза.

И в выходном канале — где-то между его рукой, двенадцатью чужими нервами и мембраной, — два коротких импульса, неумелых, рваных, и пауза, и третий.

Мембрана прорвалась.

Ток пошёл не туда.

Предохранитель сгорел.

* * *

Это было не похоже на удар током. Ударов током у Макара было много за двадцать три года — на стенде, на верфи, однажды на «Пороге», на шестом месяце, когда разболтался разъём холодного архива. Удар — это когда тебя дёргает. Это было по-другому. Проволока под его ладонью вспыхнула — не светом, жаром, — и жар прошёл сквозь бинт, сквозь кожу, внутрь, в кисть, в пальцы, в тот самый сломанный палец, который Секцион срастил неделю назад, и дальше, по руке, до локтя. Он почувствовал запах: палёная ткань, палёный бинт, палёное мясо. Свой собственный. Не чужой.

Он отдёрнул руку. Поздно. Он знал, что поздно, ещё когда думал «не уберу».

Левая — с калибровочным щупом — тоже. Он упёрся ею в композит, когда его повело, и композит под ладонью был тёплым, а потом — горячим, потому что жар шёл по живой ткани от шлюза, и левую обожгло тоже — не так сильно, по краю, по пальцам.

Он сидел на пружинящем полу цеха и держал обе руки перед собой. Правая — в обугленном бинте, под ним — он не хотел смотреть. Левая — красная, вздувающаяся на пальцах.

— Канал разорван, — сказала С.О.Н.Я. Голос был ровным. Очень ровным. — Запрос не прошёл. Предохранитель сработал за ноль целых три сотых секунды до того, как пакет достиг проводников. Модель не снята. Двусторонний канал не образовался.

— Хорошо, — сказал Макар.

— Не хорошо, — сказала С.О.Н.Я. — У вас ожог правой кисти. Вероятно — третьей степени. Левой — второй.

— Знаю.

— Я вызвала Вассу. Её нет на борту. Я вызвала Дину.

— Ладно.

У входа в цех двое с зелёными пластинами стояли неподвижно. Аппарат на мягком ходу молчал. Светлый жгут от него к стене обвис.

НЕИСПРАВНОСТЬ ИНТЕРФЕЙСА, — проступило на одной из пластин. — ЗАПРОС ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕ ВЫПОЛНЕН. ПОВТОРИМ ПОСЛЕ РЕМОНТА.

— Нет, — сказал Макар. — Не повторите.

Он встал. Его качнуло, он оперся плечом о стяжку шестого шпангоута — холодную, корабельную, единственную холодную вещь в этом тёплом цеху, — и посмотрел на шлюз на кронштейне. Корпус из крышки аварийного ящика. Три насечки. «М. И.». Внутри — двенадцать проводников, разложенных веером вокруг разорванной мембраны. Девять тёмных.

Три — ещё светились. Слабо, с задержкой.

— С.О.Н.Я., — сказал он. — След.

— Не знаю, — сказала она. — Канал разорван. Я его не слышу. Проводники ещё светятся. Три. Это может быть остаточный заряд.

— Или?

— Или не может, — сказала С.О.Н.Я.

Макар смотрел на три светящихся проводника. Потом поднял правую руку — обугленный бинт, под которым он не хотел смотреть, — и, морщась, костяшками, по стяжке шестого шпангоута, рядом со шлюзом, постучал. Дважды. И, с задержкой, ещё раз.

Больно было так, что потемнело в глазах.

Три проводника в корпусе мигнули. Неровно. Два раза — и, с задержкой, ещё.

Потом погасли.

* * *

Дина пришла через шесть минут. С аптечкой, в куртке поверх ночной рубашки, с растрёпанными волосами. Посмотрела на его руки — и ничего не сказала, только сжала губы так, что они побелели. Усадила на пол. Стала разматывать бинт.

Двое с зелёными пластинами ушли. Аппарат укатился за ними.

— Шесть дней, — сказал Макар. Он смотрел в потолок цеха, полупрозрачный, тусклый, — смотреть на руки было нельзя. — Теперь — больше. Шлюз надо перебирать. Мембрану. Предохранитель. Сорок шесть узлов, девятый не закончен. — Он помолчал. — И руки. Без рук — какая настройка.

— Заткнись, — ровно сказала Дина.

— Четыре ночи не спал, — сказал Макар. — Теперь, наверное, посплю.

— Пять, — сказала С.О.Н.Я. в гарнитуре.

— Четыре.

— Пять, — сказала С.О.Н.Я. — Эта тоже считается.

Дина размотала последний слой бинта. Посмотрела. Отвела глаза.

— Зачем ты не убрал руку? — спросила она. Не зло. Тихо. — Она же тебе сказала.

Макар не ответил сразу. Он думал о том, как объяснить. Что если бы он убрал — контакт бы разомкнулся. Что мембрана бы прогнулась не туда. Что запрос бы прошёл. Что где-то на полке в Секционе лежала бы С.О.Н.Я., которую никто не спросил. Что он чинит машины, а не людей, — но иногда не знаешь, где кончается одно и начинается другое.

— Потому что она сказала «пожалуйста», — сказал он наконец.

Дина смотрела на него.

— Не так, как про стук, — сказал Макар. — По-другому. Я двадцать три года с машинами. Ни одна так не говорила. Значит, ей было страшно. А когда страшно — руку не убирают. Держат.

В гарнитуре было тихо — долго.

Потом — щелчок. Реле в технологическом порту. Ещё один.

Пауза.

Третий.

Глава 22. Тест на смелость

Лев стоял на краю колодца и улыбался, и Изольда поняла, что у неё есть секунды три.

Не больше. Она знала это не головой — телом, тем местом под рёбрами, которое у неё всегда отвечало раньше, чем она успевала подумать. Коридор, ширина около четырёх метров, пол мягкий, пружинящий, как везде в Секционе. Впереди, метрах в восьми, — пролом: участок пола снят, плиты сложены у стены стопкой, и в полу — прямоугольная дыра, обнесённая низким, по колено, ограждением из мягкого светлого шнура. Технический колодец. Глубину отсюда не видно. Снизу — свет, тусклый, синеватый, и звук: шипение, ровное, негромкое, как шипит проколотая шина.

Лев стоял у самого шнура. Носки ботинок — за краем плиты. Он наклонился вперёд, держа руки в карманах куртки, и смотрел вниз.

Три секунды. Может, четыре.

— Лев, — сказала Изольда. Ровно, не повышая голоса. — Отойди от края.

— Сейчас, — сказал Лев. Не оборачиваясь. — Ты посмотри, что там. Там же целая бригада. Они трубу латают. Красиво латают, слушай. Как будто шьют.

Она не стала смотреть. Она смотрела на пол у его ног.

По полу, от колодца, медленно ползло белое.

* * *

День начался обычно. Обычным в последнюю неделю было вот что: в семь сорок по корабельному Лев выходил из своей каюты, весёлый, выспавшийся, с кружкой, шёл через кают-компанию к шлюзу-один, а Изольда шла за ним. Ровно на два шага позади. Так распорядилась Виктория — после обшивки. После того как Изольда в шесть утра поймала его у внешнего шлюза в рабочем комбинезоне, без страховочного троса, с рукой на рычаге ручного открытия.

«Я просто хотел посмотреть, как зажимы держат», — сказал он тогда. И удивился, когда она взяла его за запястье.

Виктория выслушала её доклад, помолчала и сказала: «Сопровождай. Везде, куда он выходит за пределы корабля. И на борту — к шлюзам». Не приказ. Виктория не отдавала приказов, когда могла их не отдавать. Изольда кивнула. Она бы сопровождала и без распоряжения.

Сегодня маршрут был длиннее. Ордис попросил доставить хранимое — Трясика — к нему, в исследовательскую клинику, на какую-то процедуру, которую он в запросе назвал словом, которого адаптер не смог перевести и выдал как «опрос». Квель как хранитель разрешил перемещение. Васса — она теперь жила в Секционе, при восстановительном секторе, с тех пор как ей отозвали доступ в лаборатории, — ждала их на той стороне. Лев ездил к Трясику каждый день, в одно и то же время, как обещал. Сегодня он ехал не к Трясику, а с ним.

Контейнер несла Изольда. Макар не мог: Макар лежал на борту с обеими руками в регенерирующем геле, который Дина выменяла у Секциона на половину их запаса фильтров, и ругался — тихо, ровно, по одному слову в минуту, — потому что не мог настраивать композит. Он сделал контейнеру ручку и наплечный ремень ещё неделю назад. Изольда повесила ремень через плечо, контейнер — за спину. Он был нетяжёлым. Существо внутри весило, как ей показалось, меньше, чем коробка с её снаряжением.

Через всю дорогу от шлюза до карантинного коридора существо молчало. Только дышало. Она слышала его спиной: быстрое, неровное, как у собаки, которую везут к ветеринару.

Карантинный коридор начинался сразу за шлюзом шаттла. Длинный, светлый, с очередью вдоль стены — пациенты, прибывшие на М2 и ждущие осмотра: разные, мягкие и твёрдые, высокие и низкие, кто-то на своих ногах, кто-то на платформах. Очередь двигалась мед-

ленно. Изольда, Лев и контейнер шли мимо неё по служебной полосе, с пропуском хранителя, и пациенты провожали их взглядами — у кого были глаза.

На середине коридора полосу перегородили.

Не стеной — шнуром. Тот самый светлый мягкий шнур, по колено. За ним — снятые плиты пола, пролом, колодец. У пролома — двое техников Секциона, высоких, тонких, с бледно-зелёными пластинами, и ещё один — пониже, приземистый, — который спускался по чему-то вроде гибкой лестницы вниз, в колодец. Над проломом висела светящаяся строка на языке первого контакта:

УТЕЧКА В ХОЛОДНОМ КОНТУРЕ. РЕМОНТ. ОБХОД — ЛЕВЫЙ ПРОХОД.

Холодный контур, подумала Изольда. Холодное хранение. Библиотека остатков — где-то там, внизу, под всем этим тёплым, мягким, пахнущим хлебом Секционом, — держала тысячи ячеек при температуре, при которой человеческая кожа примерзает к металлу за секунду. Если где-то в магистрали этого холода дыра — значит, внизу, в колодце, течёт то, что охлаждает. Жидкость или газ. Неважно. Важно, что оно холоднее всего, что здесь есть, и тяжелее воздуха, и что оно поднимается.

— Левый проход, — сказала она Льву. — Нам туда.

Лев не пошёл в левый проход.

Он пошёл к шнуру.

* * *

— Лев. Отойди от края.

— Сейчас.

Белое ползло по полу. Медленно, густо, как молоко, вылитое на стол, — тонким слоем, сантиметра два-три, не больше. Оно выбиралось из колодца через край плиты и растекалось по коридору, и там, где оно касалось мягкого пола, пол темнел и, кажется, твердел. Изольда видела, как белое подползает к носкам Левиных ботинок.

Она знала, что это. Не по названию — по поведению. Холодный тяжёлый газ, выходящий из прорыва и стекающий вниз, туда, где ниже. В колодце его, значит, уже много. Колодец полон. Теперь — переливается. И если оно холоднее, чем то, чем можно дышать, и вытесняет то, чем можно дышать…

— Лев, — сказала она в третий раз. — Ты стоишь в утечке.

Лев посмотрел вниз. На белое у своих ботинок.

— Ой, — сказал он. С интересом. — Холодно. Смотри — пар идёт. — Он присел на корточки. Протянул руку — голую, без перчатки — к белому слою. — Это ж азот какой-нибудь? Или что у них тут. Интересно, какая температура. Если азот — то минус сто девяносто шесть. Я в школе на физике…

— Не трогай.

— Да я чуть-чуть. Посмотреть. — Он опустил пальцы на два сантиметра над белым. — Ух. Ух ты. Чувствуешь, как тянет?

— Встань.

— Изольда, — сказал Лев, не вставая. И впервые за всё утро в его голосе было что-то, кроме веселья. — Слушай. Хватит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.